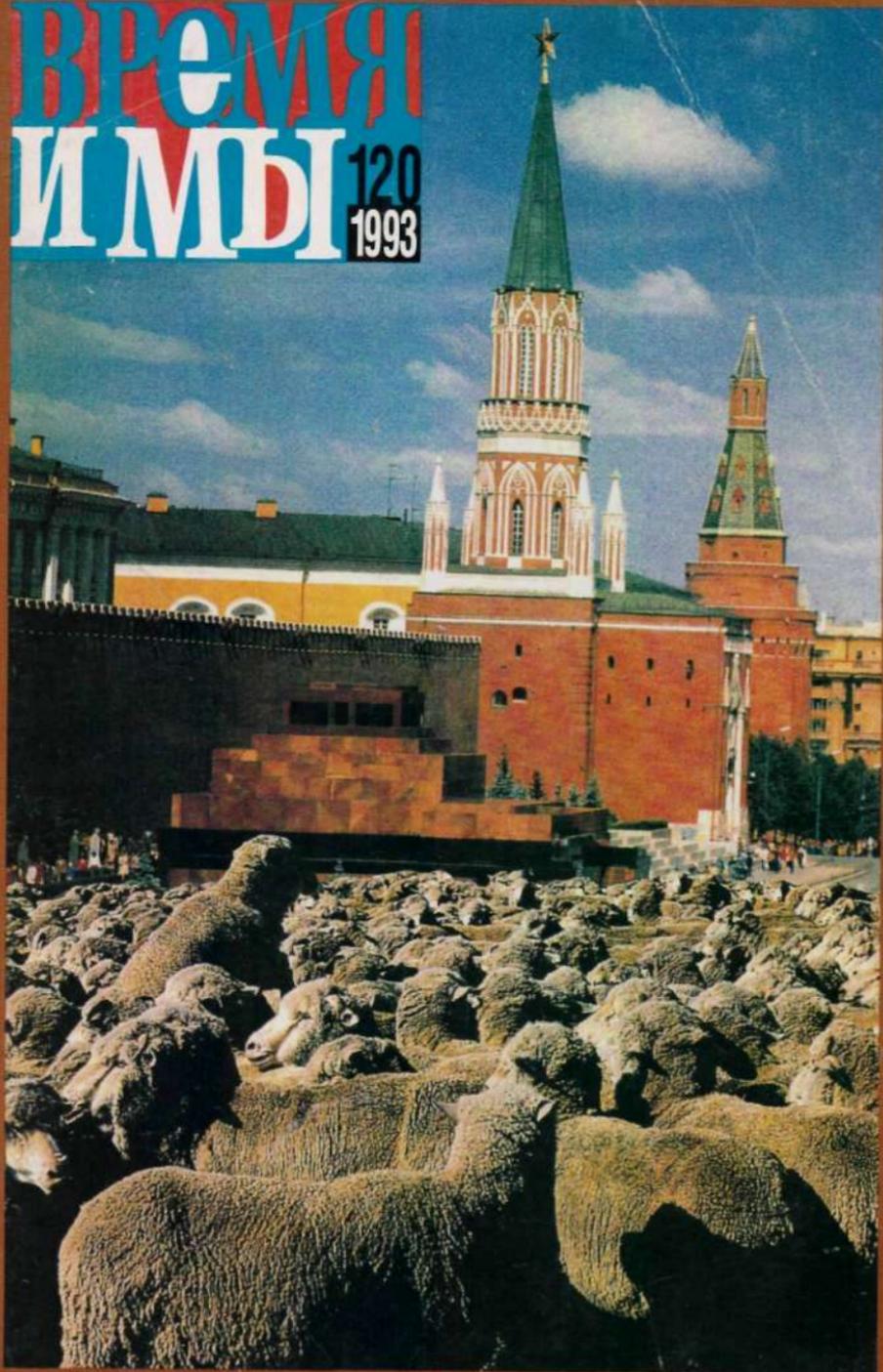


**ВРЕМЯ
И МЫ 120
1993**



ТРЕБУЕМ НОВЫЕ ВОРОТА

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Деятнадцатый год издания

Выходит один раз
в три месяца

120
1993

НЬЮ-ЙОРК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» — 1993

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН **ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН**
ЮРИЙ БРЕТЕЛЬ **ИЛЬЯ СУСЛОВ**
ДЖОН ГЛЭД **МОРИС ФРИДБЕРГ**
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ **ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ**
ЛЕВ НАВРОЗОВ **ЕФИМ ЭТКИНД (зам. гл. редактора)**
ГРИГОРИЙ ПОЛЯК

Московское отделение журнала "Время и мы"
Андрей Колесников
Адрес отделения: 121433, Москва,
Малая Филевская ул., 54, кв. 4
Тел.: 146-36-16

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot
mizrch" 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu"
92800
PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала в Западном Берлине
Manama Shmargon Shlosstr 30/30
1000 Berlin (West) 19

OCR и вычитка — Давид Титиевский, октябрь 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

Журнал и его читатели 5

ПРОЗА

Владимир *КАРЦЕВ*
Реготмас 10
Инна *ЛЕСОВАЯ*
Девочка с таксой 36
Я приду завтра 62

ПОЭЗИЯ

Лия *ВЛАДИМИРОВА*
Во всех вещах ты ищешь тайну 115

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

Виктор *ПЕРЕЛЬМАН*
Козлы отпущения в горящем лесу 121

Эраст *ГЛИНЕР*
Надежда 130

Юлий *ШРЕЙДЕР*
ПОСТМОДЕРНИСТСКОЕ БАРОККО 147

Лев *АННИНСКИЙ*
Меж евразией и азиопой 166

Лев *НАВРОЗОВ*
Статья "о Моцарте" или состояние
российской депрессии 176

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Николай *ЛЮБИМОВ*
Неувядаемый цвет 194

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Неизвестное письмо Н. Бухарина 273

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

В. *ПЕТРОВСКИЙ*
Аутсайдер 282

Этот номер журнала мог выйти в свет благодаря финансовой поддержке Дины и Георгия Вильдгрубе (Техас), Семена Когана (Калифорния), Виктории и Александра Сагал (Иллинойс) супругов Вовк (Мичиган), Любы и Бориса Блиндер (Бостон), Людмилы Новик (Калифорния), Александра Рабея (Филадельфия), Цили и Якова Гутман (Филадельфия), Тамары и Пьера Шенкман (Филадельфия), Давида и Эмиля Зильбермана (Нью-Йорк), Раисы Эпштейн (Нью-Йорк), Евгения Валлерштейна (Колорадо), Лоры Голдиной (Вирджиния), Жени Кипермана (Нью-Йорк), Полины Диановой (Калифорния), Яны Файтх (Мэрилэнд), Берты и Александра Акбурт (Нью-Йорк), Григория Винникова (Нью Джерси), Наталии Злотиной (Калифорния), Марины Меламед (Берлин), Александра Мотылера (Берлин), Ады Новиковской (Вена), Элеоноры Бейлиной (Берлин), Евы Лифшиц (Цюрих), супругов Каменц (Гамбург), Владимира Вайзберга и Вапничаняна (Берлин) и многих других подписчиков, помогающих журналу оставаться свободным и независимым изданием, несмотря на переживаемые им финансовые трудности.

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

© "Время и мы"
ISSN 0737-7061

ЖУРНАЛ И ЕГО ЧИТАТЕЛИ

От редакции

Ни для кого не секрет, что в Америку, по существу, прибыло две эмиграции из России. Одна массовая, насчитывающая десятки и сотни тысяч людей, для которых было не важно, куда бежать от советской нищеты. Другая, составляющая узкий круг новоприбывших, не просто спасалась от советской власти, но приехала в эту страну с ясно осознанной целью — жить в мире подлинной духовной свободы. Бессмысленно противопоставлять одну эмиграцию другой — нет ничего зазорного в желании человека жить хорошей, обеспеченной жизнью. Просто это совершенно разные типы людей. Для одних, независимо от их профессии и образования, печатное слово мало что значит в жизни. Мир книг попросту не существует для этих людей, даже если они привезли из России многотомные подписные издания, за которыми, следуя моде, простаивали ночами в очередях. Другие, в отличие от них, не мыслят своего существования без книги, (как, вероятно, без театра,

без консерватории, без художественных галерей.) Но, как уже сказано, таких абсолютное меньшинство, и в этом неумолимом факте кроется причина, почему у нашего журнала столь ограниченное число подписчиков.

"Время и мы" издается в сложном и противоречивом мире, когда само понятие независимости издания наполняется новым содержанием, — независимость не только от партий и идеологий, но нередко от самих идеалов общества.

Бизнес и конкуренция — главные ценности Америки, они сделали ее обществом поразительного изобилия и самой развитой в мире технологии. Парадокс, однако, в том, что в жизни человека стремление к изобилию может иметь и обратную сторону. За доллары в Америке можно приобрести все, при этом становится доступным такое, до чего не додуматься самой дерзкой и причудливой фантазии. В связи с этим в обществе возникает тот особый психологический климат, когда человек готов не просто много трудиться, но положить на заклание тело и душу, чтобы заработать свой миллион. Средство становится целью, остальное перестает что-то значить. Но без идеалов и веры трудно прожить человеку, не случайно мы так часто видим плачущие толпы на выступлениях бесчисленных проповедников — тревожные сигналы тупика и кризиса! Все мучительнее звучит вопрос: как остаться в ладу с Богом и с самим собой в этом сводящем с ума мире изобилия?

Нет смысла перечислять болезни нашего общества. Достаточно включить ремот-контроль телевизора, и взору откроется мир, чье нравственное падение, кажется, не в состоянии окупить никакие богатства и технологические достижения. Малоприятное наблюдение, но нам от него никуда не уйти на пороге третьего тысячелетия. На наших глазах возникают все новые проблемы, само появ-

ление которых становится горестным сюрпризом для современного общества. Конечно, масштабы нашего эмигрантского издания не простираются на мир и человечество, но, с другой стороны, сама эпоха как бы невольно напоминает о миссии журнала, носящего название "Время и мы". Здесь, может быть, к месту вспомнить девиз, публиковавшийся на обложках наших первых номеров: "Среди неверия и суеты, в мире, где грубая сила и ложь становятся нормой отношений между людьми, мы исполнены одной лишь цели — помочь читателю лучше разобраться во времени и в себе".

Наш журнал — трибуна свободной мысли и потому не навязывает читателю тотальных императивов. Любая публикация, будь она из области человеческой души, политики или морали, как бы выносятся на его рассмотрение, скажем даже так: на суд его мысли и совести. Это не громкие фразы, но реальные отношения редакции с людьми, мнение которых для нее должно быть превыше всего. (Нет ничего губительнее редакционного снобизма). С другой стороны, такие отношения не могут не повышать у читателя уважения к себе, если угодно, они рождают в нем ощущение интеллектуального избранничества. В мире, где столько жестокости и безразличия к человеку, (грустно сознавать, но в глазах правительств он прежде налогоплательщик, а уж потом человек!) — так вот, в этом равнодушном мире редакция рассматривает читателя как ближайшего помощника и партнера в работе, ждет от него больше писем, предложений и помощи. Именно за этот честный и уважительный подход подписчики и читатели ценят журнал "Время и мы". "В моей жизни, — пишет нам одна жительница Нью-Йорка, — этот журнал является "спасательным кругом", за который я считаю вправе цепляться, чтобы остаться на плаву в океане, где так легко потерять самого себя".

Кажется, в этом и состоит объяснение, почему

наши читатели, несмотря на нередкие просчеты журнала, проявляют верность в симпатиях к нему, видимо, понимая, как нелегко сохранять независимость в мире, где так много любителей заказывать музыку. И, если в течение стольких лет наше издание сумело выжить и не сдать своих позиций, то прежде всего благодаря тому, что "Время и мы" и его читатели составляют некий орден единомышленников, договорившихся о том, что духовные ценности, по крайней мере в их жизни, непреходяще важны и потому заслуживают всяческой поддержки. Вот и сейчас, в связи с исключительно тяжелым финансовым положением, мы снова обращаемся к нашим читателям-единомышленникам с просьбой поддержать "Время и мы", старейший на Западе русский литературный журнал. В этих целях, начиная с 120 номера, учреждается Фонд поддержки журнала. Средства, поступающие в этот фонд, будут направлены на то, чтобы в нынешних, чрезвычайно сложных экономических условиях гарантировать дальнейшее существование и развитие нашего независимого издания.

"Время и мы" выпускается девятнадцатый год. В журнале выступают выдающиеся литераторы современности. Его знает вся мыслящая Россия и выписывают 140 западных университетов. Сегодня журнал представляет собой мост между культурой России и Запада, значение которого так часто недооценивается. Тот факт, что, выходя в Америке, журнал издается на языке нашей бывшей родины, переживающей небывалый в своей истории кризис, лишь подчеркивает драматизм ситуации. Драматизм, который хорошо понимают читатели журнала, на собственном опыте пережившие трудности эмиграции. Содействие с их стороны станет свидетельством их высокой общественной и нравственной позиции, заслуживающей не менее благодарной оценки, чем помощь американских граждан своим институтам культуры. Помощь, наблюдаемую нами

повсеместно, хотя по понятным причинам эти институты существуют в совершенно иных условиях, чем "Время и мы". Вот почему о поддержке наших подписчиков и читателей мы будем извещать на первых страницах журнала, показывая, что каждый номер "Время и мы" является результатом воистину коллективных усилий редакции и тех, к кому обращена ее нелегкая деятельность.



Владимир КАРЦЕВ

РЕГОТМАС

Фрагменты из книги

... кто рассчитывает стяжать бессмертную славу, выпуская в свет книги... поглядите, как мучаются такие люди — прибавляют, изменяют, вычеркивают, переставляют, переделывают заново, показывают друзьям, а затем, лет эдак через десять, печатают, все еще недовольные собственным трудом, и покупают ценой стольких бдений (а сон всего слаще), стольких жертв и стольких мук лишь ничтожную награду в виде одобрения нескольких тонких ценителей. Прибавьте к этому расстроенное здоровье, увядшую красоту, близорукость, а то и совершенную слепоту, завистливость, воздержание, раннюю старость, преждевременную кончину, да всего и не перечислишь.

— так, кажется, говорил великий мудрец?

... с тихим шорохом, на каких-то слабых, микроскопических подшипничках, почти неслышно запускается в ход моя "Коломбина" — электрическая пишущая машинка хороших кровей. Кто предпочитает гусиное перо, кто — синий изгрызанный карандаш, кто — начальственный "Монблан", кто — компьютер. Мне ближе электрическая пишущая машинка, ее хлесткий удар, четкие литеры, что особенно приятно, когда бумага щершава и бела... сдержанный шум машинки таит ожидание...

Чувство ожидания ни с чем не сравнимо. Это ощущение неистраченных возможностей. Оно возникает, например, когда перед началом спектакля в хорошем театре с традициями оркестранты в яме настраивают инструменты. Бордовый бархат лож, разговоры вполголоса, нарядные красавицы декольте, щебечущие о суетном в какофонии несуществующей пока музыки. Возможно, такое чувство возникает, когда в тебя влюбляется девственница, и вся ночь — впереди...

... машинка мягко урчит и готова выполнить любое твоё желание. Она выстреливает буквы, как пули. Ровными очередями пропарывают они бумажный лист. Можно напечатать что-нибудь очень ясное и понятное, а можно и что-нибудь невразумительное — слово "РЕГОТМАС", например. Оно, конечно, бессмысленно, хотя, как это будет показано впоследствии, не совсем. Кстати, я открыл, и даже где-то об этом писал, что любое слово, напечатанное на машинке, внушает гораздо больше доверия, чем просто брошенное на ветер. Не говорю уже о типографских знаках — все, набранное ими, почти автоматически становится святой правдой. Это — "доказательство от Гуттенберга".

Я знавал советского человека, который свято верил всему, что напечатано — он был уверен, что

на пути к изданию стоит так много контролеров, что ничто, кроме правды, просочиться в свет не может. Когда на клетке слона он видел надпись "Буйвол", он верил, что перед ним — парнокопытное с хоботом, хотя подсознательно действующие надпочечники сваливали его с ног, включаемые страшным стрессом. Поговаривали, что он умер от опечатки. Это, конечно, крайний случай, но их было много.

Сразу замечу, что в этой книге автор отнюдь не претендует на знание истины в ее последней инстанции. Он, как и всякий человек, может кое-что и напутать. Было бы ошибкой, во всяком случае, использовать эту книгу как исторический документ, хотя вся она построена на фактах. Мы должны понимать, что и факты могут стать фантазмагорией, когда ты безнадежно пытаешься оглянуться назад, остановить быстротечное время и взглянуться в него.

Представляю также, сколько ядовитых стрел вопьется в меня из-за выбранного названия. Поймите, я пошел на это не от хорошей жизни. Могло бы быть и другое название, скажем, ЗАХКЕЛЕСУПР, но это было бы изгнанием Сатаны с помощью Вельзевула.

О муках заголовка знает каждый, кому приходилось помахать раздумчиво пером над девственной страницей, прикрывающей уже готовый текст. Как легко можно погубить все небрежным заголовком!

Все названия уже были, уверяю вас. Только очень крупный, неизобретательный или неиспорченный писатель может позволить себе роскошь пытаться что-то выжать из таких прекрасных понятий, как Любовь, Время и Жизнь. Остальным приходится выкручиваться. У меня были, конечно, варианты, часть из которых приведу:

ЧАСОМЕРЬЕ

ПРОРВАЛАСЬ И РАССЫПАЛАСЬ ПОДУШКА
ВОСПОМИНАНИЙ

Я НЕ ЗНАЮ, КАК ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ
НЕПРИГНАННЫЕ СТРАНИЦЫ

РОНДО ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПИЩУЩЕЙ
МАШИНКИ
БОГ ВРЕМЕНИ
ЗАХКЕЛЕСУПР
РЕГОТМАС.

Я выбрал меньшее из зол, причем самое короткое.
РЕГОТМАС.

* * *

А вот сюжет — должен он быть?

Спрашиваю опять: сюжет должен быть?

Должен быть сюжет?

Нет. Не обязательно.

Есть нечто и помимо сюжета, что способно заинтересовать нас и заставить не бросить книгу с первых ее страниц. (Это не означает, кстати, что мой читатель должен до конца дочитать эту книгу. Пусть бросает, как только надоест. Никакой обиды, никакой мести). Читаем же мы раннего Ларошфуко и позднего Катаева. Вообще-то, под хорошее умиротворенное настроение, сразу после обеда с добрым вином, я мог бы выдать вам тайны самого интересного чтения и показать места. Пока же дам лишь направление вашим мыслям. Энциклопедия.

Покончив с сюжетом, я собрался было поговорить и о форме, но тут уже пальцы зависают над клавишами, а "Коломбина" сама выдергивает шнур из розетки. Оставим это.

— Итак, после изложенного, начинаю, — такими словами предварил свой трактат истребитель лягушек, оживитель мертвых и славнейший житель Болоньи Луиджи Гальвани.

Другие ученые мужи, завершая предисловия к своим трудам, приветливо обращались к читателю: — Будь здоров! Так поступил, например, Уильям Гильберт, придворный врач королевы Елизаветы. Надо полагать, он желал представиться читателям

лучшим, чем он был на самом деле (от всех болезней лечил растертым магнитом), и немного к ним подлизаться.

Итак, будь здоров, читатель! А я, после изложенного, начинаю...

* * *

... меня, еще слишком юного, чтобы интересоваться запретным, волновали тогда простые слова, означающие обыденные, даже низкие понятия. Простые действия организма, его плотно и неплотно закупоренные протоки, способность напрягаться и расслабляться, удивительное свойство рук и ног производить сложные движения без какого-либо приказа: взмахнуть! идти! прыгнуть! — приводили душу в смятение и рождали океаны страстей. Вступление во владение собственным телом, собственной плотью оказалось волнующим и иногда жутковатым переживанием.

Однажды днем я лежал в своей мальчишечьей постели, купаясь в солнечных лучах, льющихся из окна, и размышлял о том, что каждое мгновение жизни тут же становится прошлым. Я лежал, говорю, в солнечных лучах и наблюдал, как солнце рождает тени от несомненно принадлежащих мне, тихо вздрагивающих от биения сердца и поднимающихся и опускающихся в такт мерному дыханию, нежных, чуть тронутых детским пушком мягких холмов, и понял вдруг, что как ни прекрасна жизнь в это мгновение самосозерцания, она будет неизбежно заменена иной жизнью и иным временем, и иным мной. Множественность миров, времен и жизней пугала меня, но в то же время и рождала надежду, что в этой неразберихе можно будет ускользнуть от неизбежной, как писали тогда, смерти. И я изобрел заклятье от смерти и шептал самому себе: Реготмас,

Реготмас... Это была надежда и приворот, уловка и мольба, обращенная к неведомому Богу времени.

* * *

Множество поколений сменилось передо мной, и я искал в прошлом мое подобие, другого меня, но не смог найти. Хотя род мой ведет в глубь веков, и первое упоминание о нем в хрониках восходит к царю Борису, самый древний из предков, о котором я могу что-то путно рассказать, был, стыдно признаться, щелкопером. Старый дагерротип работы Левицкого изображает стойка в длинном лапсердаке, изящно положившего правый локоть на укороченную коринфскую колонну. Сзади виден театральная занавес. Черты лица слегка напоминают наши фамильные, но в их суровом и беспрекословном варианте. Лишь цепочка, свисающая из жилетного карманчика, выдает его несомненную принадлежность к моему роду, ибо принадлежит она хорошо известным мне фамильным часам марки "Павел Буре", перешедшим в конце концов ко мне по наследству. Предок подвизался в бульварной самарской газетке "Волжский муравей" и гонялся за нехитрыми сенсациями Струковского сада. Он писал о неровнях-любовниках, убийцах и их несчастных жертвах (десять замерзших женских тел нашли в мясницком леднике) и страстно обличал купцов Шихобаловых — бывших каторжников, а ныне — хлебных извергов, жертвующих другой рукой тысячи целковых на нерукотворный образ Спасителя — и действительно нерукотворный, ибо писал его художник из крепостных, лишенный от природы рук и ног, лишь рот слушался его, и вот, зажав в зубах кисть...

Своему единственному другу, губернатору Свербееву, полусумасшедшему старику, посвятил он и единственный роман свой, написанный в тиши уеди-

нения, у одинокой свечи. И губернатор упивался "Содомом", пленен был его героиней — служительницей плоти и феей порока Сильфидой, и следил судьбу ея и сострадал ей. Но как мог стоик и примерный семьянин описать прихотливые буйства плоти? Не были ли это его запретные сны?

Другой, более близкий мне по времени, хотя и пра — пра — предок, пошел в услужение революционерам. Он покинул свой особняк в Оренбурге, напротив почты, рядом с губернаторским домом и караван-сараям и никогда уже не увидел его — туда поселили целую деревню, спасавшуюся в городе от голода и тифа. Сохранилась фотография дома и деда у его подъезда — выцветший отпечаток со стеклянного негатива. Пра — пра — прадеда отличали висящие книзу прокуренные усы, необъятный голый череп и золотое пинц — нэ. Что-то неуловимо знакомое проглядывало в его облике, подтверждаемое неизбежной цепочкой от золотых карманных часов "Павел Буре", которые в момент, когда я печатаю эту строчку, я могу легко достать из правого среднего ящика письменного стола, где они, с отскочившими стрелками и сломанной пружиной, ожидают новых владельцев вместе с другими семейными реликвиями — аттестатами зрелости с двуглавыми орлами, старинными монетами, кокардой, казначейскими и банковскими билетами с водяными знаками, давно потерявшими ценность бумажными деньгами с портретами Петра и Екатерины, потертыми запонками и открытками с видами Варшавы, куда обычно ездили в свадебные путешествия.

Пра — пра — предок, профессор, специалист по чешуекрылым, получил ответственное революционное задание: ИСТРЕБИТЬ! Истребить вместе с землеройками, сусликами, тушканчиками, изрытыми поля и плящиками бисерные глазки из всякой норы, также и саранчу, пожирающую хлеб. Бывшему тайному советнику выделен был вагон для жизни,

лаборатории и канцелярии, вагон метался вдоль Волги и иногда, через Эмбу, достигал даже и Ташкентского оазиса. В одну из поездок профессор приютил в вагоне семью, бредшую вдоль полотна на юг, в хлебные края, приютил, и как ему было впоследствии ясно доказано, пригрел. Семейство было оперативно расстреляно, а профессора в ожидании революционного суда запустили в заполненную басмачами камеру ташкентской глинобитной тюрьмы — той самой, мимо которой я всякий раз весело проходил, приплясывая от избытка детских сил, когда приходило время идти в поликлинику сдавать в спичечном коробке кал для пионерлагеря. Там, в ташкентской тюрьме, и окончилась научная карьера специалиста по чешуекрылым. Его сначала изнасиловали, а потом уж зарезали арбузным ножом.

* * *

... когда в моем одиноком дачном жилище... чаще под осень, но порой и ранней весной... и даже в разгар лета, особенно ненастного... когда холодный ветер резко захлопывает окна, а в камине начинает подвывать... а в стекла все сильнее бьются капли... Когда и днем приходится мириться с желтым электрическим светом, а старые липы шумят за окном...

тогда печаль возникает в душе, и начинают роиться мысли об извечном смысле, о судьбе и ее тенях, о тех, кто не поддался и сумел овладеть временем...

В такие минуты я вспоминаю Гарри.

У меня есть его снимок, сделанный в Нью-Йорке. Снимок называется "Золотой Гарри".

Один из богатейших людей Америки, издатель влиятельного журнала, сидит в своей студии. Золотой фон снимка образуется за счет закатного неба, заглядывающего в сплошное стекло стен, за счет

гигантского золотого глобуса, где отмечены владения в разных странах, за счет небольших золотых вещиц на столе — дырокола, бумажного ножа, за счет массивного золотого кольца на указательном пальце левой руки Гарри, время от времени, сообразно движениям маленькой руки, всегда в полете, добавляющего золота и сиянья в общую картину. Все светится золотом — светлоохристые стены, тускло-золотые корешки старых книг и переплетенных номеров журнала за сто с лишним лет его существования (первый номер, пожелтевший от старости, светится на стене — портрет Линкольна, первый американский паровоз, патент на автоматическую зубную щетку). Пылают золотом зеркала, двери присвечивают золотым, ярко сияет лысина Гарри, поблескивают его золотые зубы.

Золотой Гарри.

Он и вправду имеет золотой отблеск — отблеск его миллионов. Окна его апартаментов выходят на Централ-парк, громадная веранда нависла над зеленью — там так приятно сидеть вечером, когда в парке начинают перекликаться во сне птицы, а слуга в ливрее приносит под южное нью-йоркское небо с его мохнатыми звездами клубнику со сливками. Квартира слегка запущена — так принято и даже модно в научно-писательских кругах, к которым принадлежит меценат Гарри. Холсты малых голландцев висят слегка криво, а на рамах можно заметить некоторый — весьма фешенебельный — слой пыли. Скульптура руки Гудона поставлена слегка неудачно — ее до половины скрывает большой концертный рояль, на котором некогда играл Зилоти — прекрасный беккеровский рояль, слегка расстроенный.

Однажды ночью после посещения "Метрополитен-Опера" Гарри принимал меня по-свойски на кухне. Вечер, кроме музыки Верди, посвящен был тонким рейнским винам и истории его жизни.

Раньше он занимался чем-то совсем проза-

ическим, например, торговал рыбой или чем-то в этом духе. Дела шли неважно, и Гарри стал рыскать по деловому горизонту в поисках идей. Нужно было найти что-то уж очень соответствующее духу времени, найти что-то, что нужно другим. Скорее случайно он наткнулся на один умирающий журнал. И тут он начал рассуждать. То были первые послевоенные годы, когда подняла голову наука. Вдруг оказалось, что именно она определяет величие наций и благо людей. Атомная бомба взорвала старые представления о добре и зле, о ценности жизни. Интеллигентные юноши, десяток лет назад пошедшие бы в германскую филологию или историю Рима, ринулись в физику, стали решать уравнения Максвелла, конструировать синхротроны, они добровольно замуровывали себя в тайных лабораториях и упивались собственным никому не ведомым величием. ореол загадочности и мощи окружал молодых. Наступал научный бум. И публика, заинтригованная происходящим, жаждала знать больше. Ей нужен был журнал, способный объяснить непонятное. Гарри за бесценок купил умирающий журнал и превратил его в издание, которое публика хотела иметь. Гарри привлек в журнал самых таинственных, самых талантливых. Он платил им невиданные гонорары. Хлынула реклама. Астрономические инструменты, автомобили и электронные схемы перемежались в журнале с рекламой бурбона, фотографии обольстительных девиц накладывались на схемы электронных машин, химические формулы уверенно чувствовали себя в стране Мальборо. Гарри разбогател.

Оказалось, он обладал поразительным чутьем. Он поддерживал самые сумасбродные проекты, и они оказывались потом проектами века. Так, он пригласил нищего, и как многие считали, полусумасшедшего изобретателя, носящегося с идеей "мгновенного кино", — кино, которое можно было бы показывать

сразу после съемки. Он толковал о каких-то нелепых желеобразных проявителях и закрепителях. Его гнали с этой бредятиной со всех кинофабрик.

Но Гарри задумался... и остановил уже понуро уходящего изобретателя.

Он понял, чего не хватает миру.

Он понял, что отравляет жизнь каждого фотографа-любителя.

За краткое удовольствие съемки неизбежно расплачиваешься муками проявления.

Сотую долю секунды продолжается съемка, но несколько дней занимает проявочный процесс.

Результат появляется тогда, когда он теряет интерес остроты.

Любитель не желает ждать.

Он хочет иметь мгновенные снимки.

Снимки, вылетающие прямо из аппарата.

Желательно цветные. Любитель готов за это платить.

Любителей — миллионы.

Гораздо больше, чем киношников.

Нужна мгновенная фотография.

Никакое не кино.

Вот что посоветовал Гарри, и изобретатель его послушался. Сегодня это бизнес, приносящий миллиарды. Новые фотокамеры наводнили мир. Миллионы любителей купили недорогие фотоаппараты. И тут же попали в ловушку. Камеры дешевы, дорого стоят снимки! Каждый снимок — доллар. Я всегда помню об этом, когда нажимаю на спуск своего аппарата.

* * *

И снова — часы.

И шварцвальдская кукушка.

Ровный ход маятника в английском адмиралтейском хронометре.

Физики говорят, что у всех маятников на свете одинаковые свойства. Может быть, это сродство глубже, чем нам кажется? Не есть ли невидимые нити, соединяющие все маятники мира, все его часы, — некая сеть времени, в которой, колышась и неуловимой, пытаемся...

Легкая птичка, чугунная еловая шишка, игрушечные воротики, домик — пряник, одержимый беспокойством и трепетом времени, мышиною возней...

Под шварцвальдскими часами с кукушкой сидит в потертом авиационном кресле, сидит, все время взбадривая себя и мучая себя условностями, не позволяющими ему сомкнуть веки сразу после обеда, когда так хорошо и полезно спится, известный физик, лауреат. Я явился явно некстати, но прогнать меня неудобно — я редактор журнала, который его любит и прославляет. Со мной его многолетний в прошлом заместитель, так называемый "Сашка". Сашке — семьдесят пять лет, лауреату — восемьдесят, мне — сорок.

Николина гора. Дача лауреата. Шварцвальдская кукушка живет в гостиной, заполненной старинной мебелишкой. Видно, что здесь знавали времена и свежей побелки, и изыска в интерьере. Русская печь в петровских изразцах. Колотушка и гонг. Охотничий рог. Плакат выставки Шевченко.

Сашка, отцеловавшись при встрече, тут же пытается заинтересовать хозяина воспоминаниями.

— А помнишь?

А помнит ли, как уговаривал его — тогда еще не лауреата — сразу после войны подписаться на заем? Да, да, ты подписался, конечно, но только из расчета месячной зарплаты.

— А из чего же еще? — сонно отбивался лауреат.

— А Сталинскую премию забыли, а я вам тогда и говорю: не меньше, чем на половину премии надо бы подписаться! Сто тысяч, как одна копеечка! Вы и подписались.

Ясно было, что в букете воспоминаний поправлен не лучший цветок: лауреат начал клевать носом, его тонкий рот увлажнился. Я решил утешить его.

— Но ведь теперь, после выплаты займа, к вам все вернулось?

Тень удовлетворения мелькнула на его лице, потом погасла, а отрешенность возросла. Перед тем, как окончательно уйти в себя, он пробормотал:

— Без процентов.

О, великие люди, великие мудрецы! Как трогательно видеть малые и милые ваши слабости!

Разговор о крупных суммах, видимо, взволновал лауреата, он стал поживаться, затем поднял голову, устремил на меня чистый взгляд больших голубых глаз и промолвил:

— А за изобретение зажали.

Не зная, в чем дело, я стал ждать развития событий и постепенно, из отдельных слов и междометий, охов, вздохов и слабых проклятий выявилась жуткая картина.

Когда-то он сделал действительно крупное изобретение, принесшее хозяйству страны громадные доходы.

(— Триста пятьдесят миллионов. Два процента мои).

Согласно закону он, как изобретатель, должен был получить два процента прибыли, то есть семь миллионов рублей. Он подал дело в суд, и почти выиграл процесс — ему заплатили. Конечно, не семь миллионов, а двадцать тысяч.

— Вот и хорошо, что не семь миллионов. А то бы мучился, не знал бы, как истратить, — умиротворяла лауреата его милейшая жена.

— Не беспокойся.

Тем временем разговор коснулся одного памятного дня.

— А помните?

Он помнил. В тот день ему исполнилось пятьдесят

лет. Приглашены были друзья, сотрудники на традиционный обед. Но, как на горе, Сашка вспомнил, что в этот день состоится полное солнечное затмение, причем наблюдать его можно будет лишь в некоторых городах, но никак не в Москве. Лауреат страшно забеспокоился, что затмение состоится без него, тут же позвонил Главному маршалу авиации, чтобы выделил военный самолет. (Разговаривая, тут же набрасывал список членов экспедиции и оборудования, которое надо было взять). Маршал, довольный такими вольностями, повесил трубку, заявив, что самолетов нет и не будет. Но не на того напал. Разъяренный лауреат тут же позвонил по прямому проводу премьер-министру Маленкову и пожаловался на то, что маршал срывает давно запланированное важное научное мероприятие.

Через десять минут позвонил необычайно вежливый маршал и, извиняясь, сказал, что он, возможно, неправильно лауреата понял: думал, что нужно несколько самолетов. Так их, действительно, нет. А уж один самолет он, конечно, как-нибудь найдет.

Вылетели в Оренбург через три часа. До затмения оставалось всего ничего. На аэродроме в Оренбурге все печально наблюдали, как небо заволакивается тучами, одна чернее другой. Лауреат нервно вышагивал по полю аэродрома, прикидывал, что можно сделать. Наверное, можно взять маленький самолетик и подняться над облаками? И — оттуда посмотреть затмение?

Однако начальник аэропорта был непреклонен, и даже угрозу позвонить Маленкову проигнорировал.

— Маленков мне не начальник. Даже если Сталин прикажет, ни одного самолета в грозу не выпущу.

Сталину лауреат звонить не стал, поскольку имел с ним сложные отношения после отказа работать над секретным оружием.

Когда затмение, если судить по часам, действительно наступило, в Оренбурге шел сильный ливень.

Когда, согласно хронометру лауреата, затмение кончилось, он позвал летчиков и свою команду в летный ресторан, где закатил шикарный банкет, — конечно, в том понимании этого слова, которое было свойственно ему в первые послевоенные годы. Начальник аэропорта приглашен не был.

— С тех пор прошло уже лет десять, а, Сашка?

Он был не в ладах с низкой прозой времени. Шел восьмидесятый год, и жить ему оставалось совсем недолго.

* * *

Как-то в Центральном доме литераторов обсуждали книгу известного Писателя. Выступали, в основном, почитатели и друзья, соревнуясь, кто дольше Писателя знает: один — тридцать лет, другой — сорок, третий — десять с небольшим — этого и слушать не стали. Редактор с дружеским стажем в сорок лет заявил, что не скажет, что прочел, но пролистал, не скажет, что эту конкретную книгу, но другую и вследствие этого упрекнул Писателя в длиннотах и манерничаньи, свидетельствующих о недостатке доверия к читателю вечной отсылкой его подальше с помощью всевозможных "видится", "думается", "так себе и представляю..."

Писатель это с негодованием отмел.

Тогда все быстро разобрались, что нужно делать, и стали говорить о том, что все это — гениально. Морально. Нравственно. Уникально. Точно. Издать десятитомником все, что только он написал. Заставить его написать еще. Дать Государственную премию. Тут Писатель понял, что все идет как по маслу, заскучал и вышел покурить. Он давно и заслуженно пользовался признанием миллионов его читателей, и это составляло смысл и содержание его жизни.

Жить без признания невозможно.

Вспоминаю, как в ноябре семьдесят четвертого года несколько часов не работала третья программа московского телевидения. На самом телецентре жизнь, казалось, текла вполне нормально — авторы писали, дикторы читали, операторы наезжали камерами на пугающихся героев дня, те смотрели на себя в мониторы, потели под жарким светом дагов и дигов, звукооператоры священнодействовали с синтезаторами, режиссер выбирал лучшую из пяти картинок и запускал ее в эфир...

А на самом деле в эфир ничего не шло, так как был, грубо говоря, выключен рубильник, подающий сигнал на построенную Шуховым ажурную антенну. И это продолжалось до тех пор, пока оставшийся, увы, неизвестным московский школьник не позвонил на студию и не спросил, почему не работает его любимая третья программа. Олицетворяя признание, этот мальчик стал неизвестным героем Шаболовки.

Да, поистине счастлив тот, к кому пришла слава.

Вот стоит он, радостный и счастливый, честь отдает, на груди вспыхивает по-синему орден "Виртути милитари", фалды фрака трещат на ветру... Из края в край площади, заполненной горожанами, как океанская волна, как раскатистое "ура" на войсковых парадах, как гулкое горное эхо разносится: "слава ему, слава!" И один край площади ропщет другому: "любуйтесь, любуйтесь!", "вот он, герой!"

* * *

Один известный Литератор сделал испытание ВСЕГО своей жизненной философией. Однажды он приехал ко мне на "Скорой помощи" с одной из своих поклонниц.

"Скорая помощь" неслась по улицам со включенной сиреной. Неистово метался свет проблескового маячка, спугивая стайки запоздалых прохожих, расчищая впереди перекрестки. В карете скорой

помощи везли тяжелобольного, но шофер, врач и медбратья, увидев, что голосует знаменитый Литератор, решили не пропустить случая и подвезти его, сделав крюк чуть не в пол-Москвы. Наверное, они и сейчас рассказывают друзьям об этой поездке.

Однако Литератор был взбешен. Ему представлялась возможность испытать нечто новое, а он этого сделать не мог. Санитары и шофер все время глазили на него и его даму в зеркальце, и дама стеснялась. А ведь речь шла об уникальном шансе испытать радость любви в бешено несущейся скорой помощи под сирену и хрипы умирающего. Он досадовал, что этот штрих жизни был утерян для него безвозвратно.

Шейлоковская жадность к жизни и ее все новым ощущениям приводила к тому, что его поклонниц упомнить было невозможно, — они менялись ежедневно, и он использовал квартиры приятелей для своих мимолетных рандеву. Он рассказывал, что у него, как у какого-то африканского царька, уже есть тысяча детей, причем по крайней мере часть из них — настоящие, его.

Возможно, это была перекомпенсация, связанная с его стерильностью.

Обилие связей рождало проблемы семейного и медицинского характера. Он не стеснялся признаваться в любовных болезнях, точно указывая их число, приводя полный анамнез и конкретных виновниц.

— И каждый раз это были самые верные, самые надежные, самые любящие, свои, родные, — сокрушался он.

* * *

Художник жив еще, но имя его принадлежит истории живописи. Иосиф Бродский назвал Олега Целкова лучшим русским художником послевоенного

периода. Знаменитые галереи и меценаты или уже имеют, или прицениваются к его холстам.

Он продавал когда-то свои работы на квадратные сантиметры, из расчета зарабатывать триста рублей в месяц — хорошая инженерская зарплата. Он высчитывал точную площадь всего, произведенного им за месяц, делил триста рублей на общую сумму квадратных сантиметров и получал стоимость каждой картины. Когда он производил их мало — а это случалось во времена бывших тогда у него запоев — стоимость возрастала. Когда он был полон творческой энергии и творил дни и ночи без усталости, картины стоили смехотворно мало. Одна из его картин, купленных мною тогда, имела цену — 107 рублей 40 копеек — так он высчитал, исходя из своих затрат. Я настаивал, что живопись не может иметь цены, выраженной столь точно, и он уступил мне вещь за 110 рублей.

На картине был изображен его любимый персонаж с тупой рожей, узким лбом, малюсенькими глазами и толстыми щеками. По левой щеке полз жук — по моему заказу. Он предлагал написать бабочку — наловчился писать их цветастые платя — я настаивал на жуке — бабочка уже была, и картина с тем же типом и бабочкой стала визитной карточкой советского авангардизма. Жук получился на славу — Олег долго читал Брема и Кафку — многоногий, со тщательно выписанными члениками и усищами, хитиновым панцирем, отливающий коричневым.

Жук сидел на щеке и кусался. Персонаж изображен был анфас, рук у него не было, согнать жука он не мог, и ему приходилось движениями мышц лица защищать глаза. Рожа его от напряжения налилась кровью.

Страшная была вещь. Висела у меня в спальне. Сейчас она, по слухам, висит в иерусалимском музее.

Как-то я сидел у Олега в мастерской, он работал

с большим холстом — тем, что впоследствии станет знаменитыми "Олимпийцами", что в коллекции Жени Нутовича — совсем небогатого фотографа, дружившего с молодыми художниками, любившего их, помогавшего им и в результате собравшего дивную галерею советского авангарда, стоящую сейчас миллионы, да, возможно, и вообще не имеющую цены. Олег то приближался к холсту, как бы обнюхивая его, то отходил подальше, отгибаясь назад для создания должной перспективы, то быстро подбегал к картине и что-то подправлял кистью или мастихином. В то же самое время он размышлял вслух, и это были не только междометия, касающиеся сиюминутного процесса как такового, но и его воззрения на все на свете, так или иначе связанное с главным — живописью. Его героем был Рембрандт, и он мечтал когда-нибудь написать свой автопортрет с Рембрандтом, причем в состоянии хорошего подпития, душевного разговора и взаимопочтения. Эта картина была в конце концов написана и прославлена, в том числе в известной статье Евгения Александровича Евтушенко в "Литературной газете", не случайно названной "Кто сильнее на этой картине?". Поэт всегда был большим почитателем Целкова, и на одном из тех дней рождений (сорокалетию) назвал даже себя "поэтом, жившим во времена художника Целкова". И это не было позой или какой-то аллавердой. В тот день рождения почти не пили, поскольку накануне было объявлено повышение цен на шампанское и коньяк, и обстановка требовала акции протеста. Единственная бутылка болгарского столового вина (не подорожавшего) стояла на столе, покрытом алым кумачом, стибренным с избирательного участка. То был вечер трезвости, вызова и даже политического акта. Так что заявлениям того дня можно доверять.

Так вот, Олег работал, я сидел, смотрел, курил и прислушивался к тому, что Олег бормотал как бы

про себя, но в то же время понимая, что у него есть и слушатель.

— Сюда немного кадмия желтого... залессурируем... кстати, Лактионов был хорош, большой технарь, настоящий художник, мало таких сейчас. Где-то краски находил, холст по-своему грунтовал. Меня многие спрашивают — где краски берешь, как холст грунтуешь? Отвечаем: краски из лавки при МОСХе, откуда еще, оттуда же и кисти, иногда бывает хороший колонок, грунтую, да, по-своему, готов каждому показать, секретов нет, но вот пусть он попробует сделать, как я — хуй ему. Кстати, что это девки в нем находят — медом, что ли намазан? Вчера опять из-за меня мои бабы передрались — пришлось милицию вызывать — забрали обеих... левее, левее, закругляем, оп! Отлично получилось. Володя, принеси пивка из кухни — в леднике стоит, не сочти за труд. Отлично. Отлично. Помнишь, в Ленинграде были бары-рестораны? "З добой бойдем мы в дестодана бад, надьем вина в сведкающий бокад..." Помнишь? И закусочка из автомата — бутербродики с икрой за полтинник, говна-пирога, а никто не брал — дорого... Счастье, что я в Ленинграде учился у Акимова... вообще, в Ленинграде была плеяда... Миша Шемякин... Бродский, Женя Рейн, Толя Найман... Кстати, Толя или Ахматова будут тебе звонить, чтобы договориться, как в Москву подъехать... Мне тоже обещали установить телефон — в следующей пятилетке. Дожить бы. У нас тоже, конечно, поэты есть, здесь, в Москве. О Жене уже не говорю. А Ребров? А Холин? Генрих Сапгир?..

... Тут в дверь застучали, заколошматили, я бросился открывать, думал — милиция, но там оказалась большая и пестрая толпа, предводительствуемая самим Евгением Александровичем. Толпа прибывала и прибывала, люди поднимались и поднимались по лестнице, и в той толпе я узнал Артура Миллера с женой, а также нескольких извес-

тных московских хипарей. На их пестром битническом фоне Миллер с женой выглядели закоснелыми ретроградами — он в костюме и при галстукке, она — в концертном платье, Евгений Александрович, как обычно, был одет необычно — черный пиджак в белую полоску и белые брюки в черную полоску.

Когда приветственные вопли поутихли, и Олег выяснил отношения с соседями первых трех этажей, толпа расселась кто на чем, и из сумочек посыпались — водка, чинцано, джин, все из "Березки", напитков было столько, что стало ясно — добром это кончиться не может, Миллер пугливо озирался.

Олег, однако, быстро, по-хозяйски смел напитки со стола и отнес их в холодильник. Взамен он принес две строгие поллитровки и сельдь из магазина на Химкинском бульваре. Граненые стаканы. Все аккуратно разложил на вчерашнем номере "Правды". Получилось стильно. Все выпили, закусили и стали осматриваться. Центральное место на стене занимала картина "Едоки арбузов". Пять красноножих молодцов, каждый — с острым ножом, плотоядно смотрели на разложенные на столе сочные арбузные дольки. Каждое зернышко было выписано — так, как это умеет только Целков, краски буйствовали на холсте, и Миллер сразу запал.

— Я бы хотел это купить, — сдавленным голосом произнес он, — Продается? Сколько стоит?

— Сейчас подсчитаю, — просто сказал Олег и углубился в свои обычные расчеты — рабочие дни, квадратные сантиметры, инженерская зарплата и, наконец, рубли. Считал он медленно, чиркая и перечеркивая карандашом цифры на полях газетного листа, перепроверял, пересчитывал, и, наконец, вышел с результатом:

— Девятьсот восемьдесят семь рублей шестьдесят копеек.

Научность и строгая беспрекословность процедуры несколько смутили Миллера, и он стал напо-

минать своего героя — коммивояжера, который вынужден говорить о деньгах, когда надо говорить о возвышенном. Но долг американского покупателя напомнил о себе, и он стал торговаться.

— Это дорого.

(А у самого подбородок так и прыгал от волнения, которое было невозможно скрыть.)

— Уступить не могу, — угрюмо сказал Целков, жить на что-то надо.

— Что ж, понимаю ваше положение. По рукам. Сколько это будет в долларах? У меня с собой полторы тысячи.

Олег даже поперхнулся.

— Доллары мне ни к чему. Мне нужно девятьсот восемьдесят семь рублей шестьдесят копеек.

Олег был страшно разочарован. Ему нужны были деньги, а ему предлагали доллары.

Хипари меж тем оживились.

— А знаете, — сказал один из них, кто — не помню, возможно даже знаменитый впоследствии поэт, заново переведший на русский язык "Гамлета" в полном фонетическом соответствии с английским звучанием оригинала (Там "ту би ор нот ту би? Зис ис зе квещен" превратилось в затейливое "Иль быть, иль нет — не быть? Вот ведь вопрос в чем.") — я, пожалуй, смогу вас выручить. Если вы, конечно, согласны подождать полтора часа.

Все были согласны подождать полтора часа, и Гамлет, забрав с собой никому не нужные доллары, растаял в ночи. Миллер со вполне обоснованным подозрением смотрел ему вслед.

На столе появились припрятанные ранее запасы, натянутость потонула в океане выпитого вина, жена Миллера — известная фотография пугала всех вспышками своего "Хассельблада" — чувствовалось, что она оправдывает вечер даже в том случае, если деньги и пропадут.

Но деньги не пропали. Минута в минуту появился

Гамлет. Он устало сбросил пальтецо на рыбьем меху, смахнул с головы кролика, а с мокрых ног — летние туфли, которые тут же положил сушиться на батарею вместе с носками недельной свежести.

Затем он вынул из внутреннего кармана пиджака-клифта хрустящие сто- и пятидесятирублевки, уже не такие свежие четвертные билеты и червонцы и совсем уже истертые и пахнущие деньгами пятерки, трешки и рубли. Из кармана брюк извлечена была также горсть мелочи.

— Девятьсот восемьдесят семь рублей шестьдесят копеек, — торжественно возгласил он.

Каждый получил то, что хотел.

* * *

...представьте себе мальчишку лет тринадцати с черными невымытыми волосами, спадающими на верблюжью шею, он в шароварах, в расстегнутой на груди рубашке, из-под которой видна чуть ли не тельняшка. Теперь слегка проредите волосы, добавьте седины и морщин — станет некрасиво. Теперь ко всему растягивайте ему долго рот к ушам, пока не закричит, что больно. Теперь хватит. Перед вами — знаменитый физик, бегун, резвун, хохотунчик, пятьдесят лет ему. Он выступает на писательском семинаре, все время отбиваясь от изобретателя, придумавшего способ опровержения теории относительности.

* * *

Вспоминаю начало своей писательской карьеры. Москва шестидесятых. Аспирантские годы. Безденежье. Безумные планы разбогатеть.

Вечерние разговоры на кухне о виртуозах бизнеса, людях удачи: врачах, открывших гончарные мастерские, инженерах, обивающих двери дермантином, учителях, шьющих спортивные костюмы с целью не-

законной наживы, изобретателях, придумавших нечто, принесшее миллионы, перемноженные на кубометры и непостижимые с точки зрения здравого советского смысла заработки скульпторов, умопомрачительные гонорары поэтов-песенников, по поясу заваленные деньгами писатели...

На этой теме я смежил веки, и наутро я подумал о писательстве. Система — прежде всего, и справочник издательств с легкомысленно предоставленными в распоряжение графоманов телефонами нетерпеливо пролистывался мной прямо в постели.

Я начал названивать.

— Нас эта тема не интересует.

— Переполнен портфель.

— Как ваша фамилия? Карцев? Вот что я скажу вам, Карцев. Займитесь делом и не отрывайте занятых людей от работы.

— А пошли бы вы к чертовой матери!

— Приезжайте по адресу.

— Как? Приезжайте по адресу? Я вам нужен?

Издательство "Знание" находилось, видимо, в крутом прорыве, если согласилось заключить со мной договор без всяких предварительных условий. Договор на написание книги. Чудеса случаются. Переговоры со мной вел старый брюзгливый еврей Файнбойм, гениальный редактор и большой души человек, как это выяснилось впоследствии. У Файнбойма цензура зарезала сразу две книги, план горел, и он решил заткнуть дыру в плане пусть даже и Карцевым. Фокус был в том, что книгу надо было сделать быстро.

Через три месяца я положил книгу на редакторский стол. Не нужно пояснять, что до того момента я живых рукописей в глаза не видел, и представлял их себе весьма смутно. Моя, в частности, была напечатана на обеих сторонах листа через один интервал на портативной машинке. Текст фигурно

огибал картинки, вклеенные мной в рукопись по ходу дела.

И даже это не смутило выдавшего виды Файнбойма. Он внимательно взглянул мне в лицо, тяжело вздохнул и погрузился в чтение. Время от времени он отвлекался от этого занятия, отрывая приклеенные резиновым клеем иллюстрации и бросая их в мусорную корзину.

Он читал два часа, не отрываясь.

Когда последняя страница была перевернута, и более того, прочитана с оборотной стороны (там текст красиво, треугольником, как в старинных изданиях, сходил на-нет), старик Файнбойм вперил в меня свои большие бесцветные глаза с громадными синими мешками под ними.

— Ну и дерьмо, — произнес он зловеще.

Моя выжидательная улыбка погасла.

— Ну и дерьмо, — повторил он с некоторым даже сладострастием.

Глаза мои потухли. Меж тем Файнбойм, как бы очнувшись, бодро произнес:

— Но это — то самое дерьмо, которое мне нужно!

Он был настоящий редактор и уже предвкушал удовольствие от грядущего кромсания рукописи. Совершенные рукописи настоящим редакторам неинтересны.

Так получила путевку в жизнь моя первая книжка, моя первая тщеславная гордость...

Теперь Файнбойма уже нет в живых. На похороны я принес букет гвоздик, одна из которых, положенная на его парадный венгерский пиджак, оказалась ломаной.

Теперь он мертв. А был, конечно, жив.

Его я вспомнил, насвистав мотив

Из Брехта, "Мекки-Нож", творенье Эллы.

Его я извлекал тогда из недр

Могучего магнитофона "Днепр"

Тогда, мой друг, был счет на децибелы

— так сказал по другому, но печально сходному поводу один ленинградский поэт, оказавший, говорят, известное влияние на самого Иосифа Бродского.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

Комедийно-философское повествование о моих двух эмиграциях. Опыт антимеруаров

СОДЕРЖАНИЕ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; «Свободный мир»; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП «АВРОРЫ»

Инженер Сэм Житницкий", «Оплот Израиля»; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака.

Книгу можно заказать в редакции «Время и мы».

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel. (201) 592-6155**

Цена книги 10 долларов.
В книге 254 стр.



Инна ЛЕСОВАЯ

ДЕВОЧКА С ТАКСОЙ

Как жаль эту девочку! Хоть и видно сразу, что она не ангел. Светлая головка склонена набок с недетской кокетливой свободой. Прозрачность далеко расставленных глаз порочна. И еще челка, для семилетнего ребенка неестественно прямая и гладкая.

А, может, все это: и свобода и "порочность" — просто случайное движение перед нацеленным фотоаппаратом, истеричный отблеск вспышки. В любом случае жалко. Знала бы она, в какую превратится бабу... с крашеными волосами, мужской папиросой в углу рта, высокими щеками, набухшими от водки, и кривой после перелома ног.

Хорошо, что в детстве нельзя достать из сумки треснувшую фотографию и показать соседке: "Вот какая я буду в пятьдесят". Вряд ли захотелось бы карабкаться к такому финалу. Жить и знать, что когда-нибудь будешь блевать над раковиной в мах-

ровом халате умершей дочери, натянутом поверх грязной ночной рубахи... Нет, просто счастье, что память у нас работает только в одном направлении — задним ходом. Впрочем, есть еще одно устройство — предчувствие, но этим мало кто владеет. Да и обмануть себя можно, сказать себе: "Что это за дурацкие фантазии! Вот у меня какое симпатичное личико! С ямочками, с милыми колючими уголками! Мама заказывает платья у лучшей в городе портнихи. С вышивкой, с мережкой! Папа из командировки тащит полный чемодан подарков. "Закрой глаза!.. Открывай!" "Ах!" Ах... И на шею к нему! Белая рубашка, тоненько вышитая по вороту и манжетам, влажная от жары и дороги. "Пусти! Я сначала умоюсь". Нет, ни за что! Не пущу! Так бы и остаться навсегда, и висеть, как обезьяна, обнимающая дерево. "Купи мне обезьяну!.. Нет, не такую! Это резиновая, а мне настоящую!" — "Закрой глаза! Открой рот!" — "Нет! Обезьяну!" — "Открой глаза!" — "С ума сошел, Николай! Мне только собаки в доме не хватало! Мало мне кухни, стирки, уборки..." — "А что же Катерина делает, если и стирка, и все прочее на тебе?! Может, откажем Катерине, раз от нее нет толку?" Дверь хлопнула с размаху в комнате! В коридоре! И последняя, входная. Ну и пусть. Они будут жить вдвоем с папой. И такса с ними. Ляля сама сумеет принимать гостей, резать торт. Будет водить в дом кого захочет. Хоть дворничкину Женьку!

Конечно же, девочка больше любит отца. Это сразу заметно. Стоит только взглянуть на фотографию. Возможно, она даже ревнует отца к матери. И как не раздражаться на такую мать? Не старая, но вся какая-то одутловатая и студенистая, а волосы зачесаны кверху и выступают вперед, как носик у кувшина. Да еще заставляет есть овсянку и приучает к аккуратности.

Но если бы девочка услышала, как она будет орать

на толстую, дряблую старуху! Дряблую и рыхлую, как саквояж... Среди ночи. В синей темноте, плещущей в четыре стены тесного двора. При умышленно распахнутом окне. "Почему ты пачкаешь мое доброе имя! Ты сидишь у меня на шее, ты объедаешь меня с самого детства. Эксплуатируешь! и еще смеешь порочить меня перед людьми! Почему! Почему весь дом считает, что здесь происходит проституция?!" Нет. Девочка не поверила бы, что это ее собственный голос. Но она вполне могла бы опознать визг своей матери: в нем до конца сохранялся густой галантерейный привкус, предательский привкус обеспеченного прошлого. "Ля-а-ля-а!! Прости-и! Ля-а-ля!" И непонятно, откуда такая страсть раскаяться. От безумного испуга? Или это спектакль, вдохновенно сымпровизированный среди пьяной ночи? Ради спасения Лялиной репутации в глазах разбуженных соседей. Как бы случайно приоткрывшаяся людям правда. Людям, которые знали Лялю еще школьницей с кокетливым белым фартучком, сшитым из роскошной занавески царских времен.

Что-что — а одеться со вкусом и выдумкой мамаша умела в любых обстоятельствах. И когда не стало средств на услуги лучшей портнихи, начала шить сама. И очень прилично. Не так, чтобы заиметь серьезных клиентов, но для себя, для ребенка — вполне. И еще халтурила для базара. В крестьянском вкусе. В финотдел она не платила и поэтому избегала вступать в откровенные беседы с соседками. Подходя к парадному, всегда делала вид, что спешит, опаздывает. Когда появилась Ниночка, уводила ее за ручку в сад, тащила подальше от многолюдных аллей, не щадя отекавших ног и сдающего сердца. Там, в отрадной летней тишине, старуха однажды задремала, и привокзальные проходимцы украли у нее девочку. Милиция нашла ребенка чудом. В общем вагоне отходящего на Харьков поезда. А главное — быстро, так что Ляля узнала

об этом происшествии задним числом. Не видела, как разбился граненый милицейский стакан на стучащих зубах матери, не слышала ее визга, рвущего уши: "Я не вернусь домой без ребенка! Дочка меня убьет!" Она не вызвала особого сочувствия, так как боялась прежде всего за себя. И это, конечно, характеризует ее не самым выгодным образом. Но следует учесть и ее страх перед Лялей, тайно тлевший еще тогда, когда старуха была видной дамой, невысокой, но крупной, большелицей, в настоящем кимоно, которое муж, инженер-энергетик с незапятнанным происхождением, привез из-за границы, — страх, пышно разгоревшийся, когда старуха осталась с восемнадцатирублевой пенсией, а Ляля начала вполне прилично зарабатывать. Она печатала быстро и без ошибок. И если бы не подводила со сроками и не врала при этом униженно противно, ей бы цены не было. Она и со всеми своими недостатками служила не в какой-нибудь жилстройконторе, а в уважаемом журнале, где сверх своей работы или вместо нее перепечатывала романы про шпионов и разведчиков. Ляля гордилась своим знакомством с авторами, всячески афишировала во дворе их славные имена и подчеркивала деловой характер отношений. Но соседи видели, когда они пришли, когда ушли и что распирало их карманы и портфели. Бывало и пение за полночь. И тошнотворный рев из душника, выходящего на лестницу, и милиция, и "скорая помощь": у кого-то с перепою начинался сердечный приступ. Телефона у Ляли не было, звонила она от соседей. Или кто-нибудь из гостей стучался и деликатно просил вызвать "скорую". Соседи заботливо встречали врачей, сочувственно провожали. Любопытно же, что там случилось. И вообще... какой-никакой — а человек, нельзя в беде оставить. "Надо же! Допиться до инфаркта!" "Дома! на ровном месте! так сломать ногу! Кости с

двух сторон торчали! Держалось чуть не на чулке. Ужас!"

Бедная, бедная девочка! И это с ней-то, с ней такое случится! С ее весело болтающимися ножками, косолапо повернутыми друг к другу, как два целующихся зверька. И это она, разросшаяся, разбухшая, в лопнувшей на груди блузке, будет сидеть, откинувшись на перепуганного сморчка, который безуспешно попытается застегнуть эту дурацкую блузку и скажет врачу, готовящему шину, что он — "муж пострадавшей". "Муж? Какой ты мне к черту муж?!" — и уже другим, властным, но трезвым и полным достоинства голосом: "Доктор! Мы праздновали День артиллерии..."

Ляля всегда держалась с достоинством. Строго. Губы и нос напряжены, вся фигура подтянута, как у актрисы перед выходом на сцену, только в предвкушении выпивки радостно размокала. Глаза блестя под толстыми стеклами в интеллигентной золотой оправе. Пожалуй, из нее и вправду вышло бы что-нибудь путное, если бы отца не забрали в ту проклятую ночь. А еще толкуем о предчувствии! Не было никакого предчувствия. Вот они улыбаются с фотографии, трое. И собака в центре — обожаемая, гордость семьи, чистопородная такса. Вот у таксы-то, может, и было предчувствие. У таксы глаза глядят покорностью и бедой, и кажется, что она гораздо умнее своего хозяина-энергетика и его широкой жены. И уж, конечно, умнее девочки, хотя и девочка вроде бы не глупа. Но ничего не предчувствует. Улыбается, как будто и завтра, и через год сидеть им вот так же хорошо вокруг таксы, под картиной, изображающей деревенский пейзаж с телегой, в светлой-пресветлой комнате — таких и не будет никогда больше. Казалось бы... В такие страшные годы — откуда такой свет? Почему сейчас в этой комнате так тяжело и душно? Ведь это та же комната. И липа за окном та же. Только выросла,

раздалась. Война, голод — а липа та же, и обрюзгшая пьяная тетка со сломанной ногой — та же Лялочка, которая проснулась ночью и увидела, что в соседней комнате горит лампа, и там топчутся чужие люди... Вот тут уже было предчувствие! Она сразу поняла, что отца уведут навсегда, и бросилась на него, не издав ни звука, вцепилась руками и ногами, как зверушка вцепляется в спасительный ствол дерева. Не хотела ничего этого, ничего, что будет дальше: платьев, сшитых и проданных тайком от финотдела, немецких вечеринок, чертова "Дня артиллерии"... Они отдирали ее пальцы с клочками отцовской одежды, по одному, отцепляли руку, а другая рука успевала наново вцепиться. И все без звука. "Вот гадость!" — выругался один из них, а другой добавил: "Сатана!" Она отлетела в дальний конец коридора, ударилась спиной об угол сундука, а копчиком об пол. И заплакала.

Так что стоило, стоило Клаве пригласить ее на новоселье, когда она оказалась за дверью, празднично дрожащая, с фарфоровой собачкой в руках, с локотками, нетерпеливо прижатыми к бокам. А уж помочь ей одеться, помочь медсестре толково заполнить документы, проводить носилки до кареты скорой помощи — тут и говорить нечего. Такая крутая, узкая лестница! Приступки, повороты. Главное — темно. Разбили лампочку на втором этаже. Хулиганы! "Пожалуйста, осторожнее. Здесь ямка. Я вам посвечу." — "Лучше бы мне уже убиться к черту и не терпеть такие муки! За что, за что, я вас спрашиваю?!" — "Держитесь, Ляля! Что делать, Ляля! Потерпите. Все будет хорошо. Скоро вернетесь сюда своим ходом." — "Нет. Помните, как маму унесли навсегда — так и меня. Мама умерла, и я умру." Она впервые заплакала о матери, впервые почувствовала, как страшно было этой рыхлой горе колыхаться на узких носилках, возноситься наискось над перилами, срезая угол, оползая вниз по сколь-

зкой коже носилок и бояться попросить об осторожности, о сочувствии. Ведь знала же бедная мама, что никому, никому ее не жалко. А Ляле — меньше, чем всем. Даже наоборот. Только о том и думала, что втащить ее наверх будет еще труднее. А ходить за ней? Мыть? Носить горшки? Слушать, как она кряхтит, стонет, харкает. И ничем она не заслужила, чтобы Ляля угробила на нее остаток молодости. Ну, водила к портнихе, покупала пирожные — так ведь за папины деньги. Продавала на базаре платья. Но в этих платьях было больше Лялиного труда. А потом что? Сидела себе в садике с ребенком целый день на свежем воздухе. Может, впервые Ляля почувствовала к ней благодарность и даже нежность, когда она умерла. Ей-богу, ничего она в жизни не сделала разумнее и своевременнее. Ляля плакала над ней совершенно искренне. Плакала слезами освобождения над гробом, поставленным на две табуретки перед парадным. Куда там тащить еще наверх! А тут хоть соседи подошли, постояли. Родственников-то нет никого. И с работы мало кто выбрался. Как раз сдавали номер. Но все прошло прилично. Особенно — поминки. Ляле не устроят таких поминок. "Клавочка! Я вас прошу! Помогите Ниночке с похоронами, если я умру." — "Не хочу даже слушать такие разговоры!" — кругами опускался голос с третьего этажа, а навстречу ему с первого — затаивший стон: "Пожалуйста! Завтра... позвоните ко мне... на работу... Только обязательно — не позже девяти-и... Вы же телефон зна-а-ете-е..."

Еще бы Клаве не знать! Чуть не каждую неделю звонила по этому телефону и врала: "Любовь Николаевна просила меня сообщить, что сегодня немного задержится. У нее сердечный приступ. Острое отравление. Вирусный грипп." Ляля согласно кивала, надувала зоб, глаза силились выбраться из-за сизых похмельных мешков. Жались в тапочках озябшие голые ноги, и ночная рубаха свисала ИЗ-

под пальто в полпервого дня... "Ага! Сердечный приступ на этот раз!" — издевались над невинной Клавой сотрудницы редакции. А раза два даже обругали ее. И это Клаву! Которая не выносила лжи! И Лялю не выносила. Но так уж вышло, что при обмене прежние жильцы не предупредили ее об образе жизни ближайшей соседки — и прежде, чем Клава разобралась, что и как, Ляля уже повадилась к ней. Не только из-за телефона — она обрадовалась новому человеку с непредвзятым мнением и поспешила произвести хорошее впечатление, пока правдолюбивые соседки не наболтали о ней, как когда-то капитану-"еврейчику", которого Ляля привезла с фронта, из Австрии. Пожалели парня, доброжелательницы! Пусть бы лучше рассказали ему, как в сорок первом бросились растаскивать еврейские подушки — не успели двери захлопнуться за дорогими соседями. Молились богу, чтоб те не вернулись и не потребовали назад свое барахло. А в сорок четвертом стояли в подъезде и трусились, выглядывали, как волки из логова. Обижались, что не все ушли в Бабий яр. Ляля еще поняла бы, если бы ему на нее евреи наговорили. Но евреи ничего такого знать не могли. Для них Ляля была фронтовичка. С медалями за победу, за взятие Будапешта и Вены на выпяченной далеко вперед гимнастерке. Правда, курила. И с капитаном своим жила нерасписанная, но ведь кругом было такое. Война — это вам не институт благородных девиц. Сарка Козачок увидела из окна, как она идет через дорогу со своими медалями, с желтыми кудряшками, заколотыми наверх в круглую клумбочку на темени, увидела ее сапоги, и лаковые чемоданы в руках цыганистого капитана — ошалела от радости и бросилась е й навстречу в рваном халате и с обвязанной головой, воняющей керосином: набрала-таки в дороге вшей! И Ляля не побрезговала обняться с подружкой детства. И обе плакали. "Лялечка! Ты

знаешь — папа погиб. И Женин папа — тоже. Теперь мы все трое — сироты, Лялечка!" И снова что-то о Женьке.

А Женька Ляли сторонилась. Сарка все не могла понять, что за кошка между ними пробежала. Но когда стихли баталии из-за подушек и захваченных кладовок, когда еврейки плюнули на эти поганые подушки и начали потихоньку разговаривать с соседками, задерживаться с ними у парадного и доверительно шептаться на лавках — Сарка Козачок стала опускать глаза, обходить и Женьку, и Лялю. Капитан уже бросил Лялю к этому времени. Ляля его не осуждала: у человека немцы уничтожили всю семью, невесту убили... а он сошелся с "немецкой подстилкой". Главное — сам все толковал: "Гуманизм! Бетховен и Бах — тоже немцы! И Маркс с Энгельсом!" И еще про какого-то Себастьяна Стефановича, который отказался от пайка фольксдойча и умер от голода.

Ляля не сделала аборт. Думала: успокоится, узнает о ребенке, вернется. Но он не вернулся. И неудивительно. Одиноких женщин вокруг было полно. И с хорошими комнатами. Без мамы, которая всю ночь вздыхает и скрипит кроватью, как какой-то слон. А комната узкая, темная. Окно упирается прямо в кирпичную стену, каждый шовчик виден. При папе это у них считался коридор. Разве создашь уют в такой конуре? Да еще две заколоченные двери, через которые слышно все, что делается у соседей. Еврейское карканье в детской и пьяное мычание в столовой. Пока Ляля была на фронте, в их столовую вселили мелкого начальника с железной дороги. Мать и пикнуть побоялась. А ведь Ляля, можно сказать, только ради этой комнаты и гуляла с немцами! Впрочем — нет. Просто была молодая, а парни подобрались все красивые, воспитанные. "Битте, данке" на каждом шагу. Да Сарка бы с ума сошла от радости, если бы в такую компанию попа-

ла! У них и до войны не было такой хорошей компании. А уж после войны... Ицык-Шмыцык... День артиллерии... Надо было сделать, как Женька! Такая пройдоха! Она, видишь ли, партизанка была! Она "собирала сведения"! Какие сведения, когда она по-немецки двух слов не понимала?! И главное — свидетелей выставила! Это они ей поручение дали! Какое поручение? Может, это по поручению партизан Женька надорвала Ляле ухо, когда застала ее с Вилли? И так завралась, что сама поверила, стала воротить нос хуже, чем Сарка. Партизанка! Забыла, как ломала руки, когда немцы уходили из города! "Девочки, девочки, надо с ними убежать! Ляля! Попроси Ангута, чтоб нас взяли!" Ляля и не подумала просить. Как только город освободили, явилась в комендатуру и потребовала, чтобы ее сейчас же отправили на фронт. И воевала честно, жизнью рисковала. Пока Женька тут искала свидетелей-партизан, чтобы потом по санаториям ездить и квартиру в центре получить. А Ляля за свою собственную комнату боролась всю жизнь. С той самой ночи, как увели отца, а Ляле с матерью оставили темный коридорчик. Ляля постоянно видела во сне, как возвращается в свою большую светлую комнату. Лицо отца становилось все туманнее, все больше забывалось, а комната все светлела, все милее казался каждый ее уголок, возрождаемый памятью. Это было очень тяжело — спать под заколоченной дверью и слушать, как скрипит под чужими ногами твой паркет, вопросительно стонет дверь, и радио поет про утреннюю прохладу и речной ветер. А тебе туда никак не попасть. Там живет, спит, ест Таська. Подружка, которая оставляет тебя ждать за дверью, выбитой прямо на лестницу, пока сама сходит на горшок или возьмет хлеб с сахаром. О детской, куда вселилась Сарка с родителями, Ляля почему-то не вспоминала. Только о столовой, где тогда сфотографировались. Может, и не комнату она помнила, а

тот самый снимок? Ляля до самой войны не знала, что он хранится у матери. А где был тайник, так и не узнала — и потому подозревала, что мать прятала там и кое-что более существенное.

Вилли показывал Ляле фотографии своей семьи. "Майне муттер, майн брудер, майн фатер небен зайнем бюро. Майне grosмуттер унд grosфатер." Потом галантно протянул снимки "дер бэеригтер фрау". "Фрау" покивала. Вышла. И вернулась с этой фотографией; Вилли не мог понять, отчего Ляля с такой горячностью вырвала ее из рук матери. Даже уголок сломался. Она прижимала карточку к груди, снова смотрела на нее, снова прижимала. Вилли не понял, но прослезился. И еще раз прослезился, когда Ляля объяснила: это мой отец. Майн фатер. Его комунистен гешторбен! Их нихт зэен это фото цэйн ярэн. Видишь, как мы жили? Дас ист унзэрэ циммер." И Ляля объяснила с помощью жестов, что эта комната, этот утерянный рай находится здесь же, за дверью. Пустует! Вилли сказал: "О-о!" Конечно. Большая, хорошо обставленная комната, благополучная семья. Отец — интеллигентный мужчина. В пенсне. Мать — холеная, томная дама. Собака замечательно породистая. Выдвинула навстречу фотоаппарату морду, так что морда кажется размером с лошадиную. Прелесть! И вот это все пропало...

Действительно, красивая фотография. Девочка сидит, улыбается. Не знает, что папу ее скоро убьют, а ее выкурят в коридорчик, где и домработница не спала. Только складывала в кованом сундуке письма из деревни и хозяйские обноски. Домработницу тоже жаль: убежит она из чумного дома да так и не решится зайти за своими сокровищами. К счастью для Ляли и ее мамы. Ткани были добротные, несношенные. Их еще и после войны будут лицевать и перешивать на Лялю и Лялину дочку. А такса очень скоро сдохнет. Отравится чем-то на мусорнике. Го-

лодать не привыкла... В общем... если бы жизнь можно было остановить, как киноленту! Лялину жизнь стоило бы затормозить именно на этом месте. Пусть бы так и улыбалась вечно возле своей таксы, с цветущей липой за окном. Потому что дальше не будет ничего хорошего. Ну, отвоюет Ляля комнату с помощью начальника Вилли. Конечно, радость. Там даже мебель окажется прежняя, их собственная, правда, вдрызг испорченная Таськиными родителями-алкоголиками. В пыльной тряпке, вытащенной из-под дивана, мать опознает останки вышитой собственными руками скатерти. Но ведь это только на два года! Потанцевать под патефон, поесть немецкой колбасы за просторным дубовым столом. Но разве ж это веселье! Хоть и воспитанные — а враги, никогда не знаешь, чего от них ждать в конечном счете. А от своих-то — знаешь, чего ждать? Знаешь, и очень хорошо. Мать дня через два после законного вселения в комнату, принадлежавшую еще ее деду, мануфактурщику, начнет двигать туда-сюда мебель: все, что получше — в темную каморку. Буфет, этажерочку. Картины. Пыльные, серые, с засохшими клопами вдоль рамок. "Мама! Куда ты их тащишь? Их на растопку пора!" Мать подождет губы и кусочком лука протрет в уголке темно-зеленый чистый кружок. "Это ж "Ночь в березовой роще". Папина любимая. Пусть так побудет, а то еще и м понравится. Ей цены нет!"

Второй раз Ляля отвоюет комнату много лет спустя. Как дочь реабилитированного. Возьмет документы, ходатайство, выпрошенное в редакции. И фотографию эту самую прихватит. Прихлопнет ее ладонью к столу секретаря райкома партии как главный аргумент. Смотрите, во что превратили семью! Для того отец делал революцию, для того проектировал Днепрогэс, чтобы его дочка днем сидела при электричестве и грела электроплиткой сырую комнату?! Мама умерла от сырости, совсем молодая

женщина! задохнулась от грудной жабы! Ей, Ляле, тоже недолго осталось (и, в подтверждение — таблетка под язык). Не для себя, для дочки, у которой больное сердце и крутит суставы! А теперь еще с мужем развелась. Конечно, разве можно сохранить семью, когда ютишься в одной каморке с матерью! А куда ей деваться, Ляле? Пойти утопиться в Днепре? И стоило бы: из-за этой чертовой конуры и она не устроила свою личную жизнь! Одиннадцать метров при ширине полтора! При отце там спала собака! И это в то время, когда за стеной уже год пустует комната, которая по праву принадлежит ей, Ляле.

Как ни странно, секретарь пожалеет Лялю. Маленькую Лялю. С фотографии. Почему-то почувствует себя лично виноватым в том, что эта балованная девчушка превратилась в прокуренную бабу с трясущимися с похмелья щеками. Если бы Ляля принесла еще и фотографию дочери... Впрочем, и так ведь все уладится. Ляле присудят комнату, которую второй Лялин зять, Алеша, уже вскрыл самовольно. Вытащил клещами здоровенные гвозди эпохи послевоенного строительства, налег боксерским плечом на дверь... Ляля мяла перед грудью нетерпеливые ручки и радостно ерзала плечами, как в предвкушении хорошей выпивки... А Ниночка ждала, как Буратино, что за дверью, зашпаклеванной двадцатилетней паутиной, и мумиями послевоенных клопов, тараканов, мух, их яиц, и помета, и еще какой-то неведомой гадости — воссияет золотая страна. Но ничего там, разумеется, не было. Даже комната оказалась меньше, чем ожидали. И это естественно, раз от нее отхватили кусок для установки газовой плиты. А там, где, судя по запаху, жильцы держали помойное ведро, Ляля обнаружила засохший столетник, а под ним — ржавое блюдце со следами японской росписи...

"Боже мой! Как же мы тогда не заметили! Смотри, Ниночка, это блюдце от нашего сервиза! Вот

придурки: испортить такую ценную вещь! А квартиру до чего довели!" Ниночка брезгливо морщилась, Алеша пообещал сделать ремонт, как только Ляля получит ордер. И Ляля спешила, чтобы успеть до того, как он уйдет в армию.

Но ремонт сделает уже Сережа, первый зять. Ниночка снова сойдется с ним, когда Алеша уйдет в армию. Так что Ляля напрасно наболтала соседкам, что Сережа — импотент, когда Ниночка бросила его. Впрочем, соседки допускали, что Ляля выдумала это, чтобы оправдать поступок дочери. Чтоб не думали, будто Ниночка — какая-нибудь легкомысленная вертихвостка.

Ляля всю жизнь пеклась о приличиях, особенно там, где дело касалось Ниночки. Хорошо одевала ее. Модно. Шила, конечно, сама. Не очень аккуратно, но эффектно. Одного из своих сожителей, того самого Ицыка-Шмыцыка, чуть было не выставила за то, что он неуважительно отозвался о Лялином втором зяте: "И что это вдруг еврею дали имя Алеша? Назвали бы каким-нибудь Ицыком-Шмыцыком..." — "Детей не смей оскорблять! — орала Ляля на весь двор глубоким возмущенным голосом, не совсем верным, будто вода расколыхалась и билась в бутылки. — Я человек конченный! Мне Сталин сломал всю мою жизнь! Пусть! Но дети!.. Моих детей не касайся своими грязными лапами, бездарь!" Несмотря на весь этот гнев, она не выставила Ицыка-Шмыцыка. Но кличка сохранилась за ним до конца его скромных дней, и даже после того, как он упал навзничь вместе со стулом в той самой комнате, отремонтированной первым зятем, который к тому времени уже выявился из Лялиной квартиры и выявил Виолетту, дочь покойной Ниночки. "Клава! Скажи мне, что это за квартира такая, где случаются одни несчастья?! Почему он не грохнулся где-то на улице? Или у себя дома?!" Клава вызвала скорую помощь. Те приехали, вызвали милицию. Вскрытие показало

обширный инфаркт, и Ляля поспешила сообщить об этом Клаве.

Наутро после похорон в Лялину дверь стучалась старуха. Стучалась часа два подряд и скулила монотонно: "Ляля! У него ж пятьсот рублей было в кармане! Верни хоть половину-у!" Никто не отвечал, только собака выла за дверью, Лялин облезлый Таксик. "Ля-а-ля-а! Хоть сто рублей!" Потом старуха позвонила к Клаве, и Клаве пришлось выслушать плач старухи о пятистах рублях и о сыне, который, оказывается, написал когда-то книгу о шпионах, ее вся страна читала запоем. "Может, и вы читали?" "Реки шумят в апреле."

А перед самым отселением Клаве пришлось отпаивать валерьянкой мужчину в кожанке. "Этой ночью мою дочь обесчестили в сорок первой квартире. Ее напоили на именинах и привезли сюда! Вы должны были слышать какой-нибудь шум! Хотя бы лай собаки!" — "Да эта проклятая собака днем и ночью воет!" — "Мне нужны свидетели! — напирал мужчина. — Здесь за выпивку сдают комнату для свиданий! Впрочем, что с вами говорить! Соседи предупреждали, что вы ее подружка!" Господи! Да Клава спала и видела, когда дом пойдет на снос! Пусть даже без телефона! Клава и так мечтала отключить телефон. Но не решалась. А вдруг скорую вызвать? Да и без телефона ее бы не оставили в покое. И это с первого дня! То Лялька прибежит на мать жаловаться, что она ее детство отравила, всю жизнь на шее у нее сидит и еще строит против нее козни. То притащится старуха плакать невесть о чем — Клава и не прислушивалась. Во всяком случае о Ляле мамаша и слова плохого не сказала. Напрасно Ляля считала, что та ее оговаривает. Чего тут еще рассказывать? Люди же не слепые, не глухие. Дом — как колодец: стены толстенные, а все насквозь слышно. Где поют, где ругаются, где посу-

да звенит... Да и Ниночка много чего говорила подружкам, а те своим матерям, а те...

Ниночка даже из дому уходила несколько раз. Ночевала у Галины Макаровны на первом этаже. Пару раз у Тамары Бобровской. Все было жалко девочку. Хорошенькая. Воспитанная. Сразу видно: бабка вырастила. Не мать. В доме теснота, вертеп. "Тетя Тамара! Можно, я у вас уроки сделаю?" — "Конечно, детка." — "Я уйду, когда гости разойдутся. За мной бабушка придет." Темнеет. Совсем темно становится за окном. Тамара давит губами подступающий зев. "Ложись уже. У меня заночуешь." Наверху звенит, толчется отупевшее веселье, сиплые голоса карабкаются перекрыть друг друга. "Ну и пусть! Пусть я не Толстой! Толстого в магазине полно, а ты попробуй меня купить! Меня разбирают за полчаса!" — "Толстого не тронь! Не тронь Толстого! У Толстого есть такие вещи..." Тамара укрывает девочку пледом. "Спи" — "А вы?" — "Я еще почитаю. Вдруг бабушка твоя придет. Или... мама." — "Бабушка уже спит. На кухне. Сидя. А ей — все равно. Она и бабушку не любит. И меня." — "А ты ее любишь?" — не сдерживает любопытства Тамара. — "У нас дедушка был очень хороший," — шепчет Ниночка в мечтательном восторге.

Дедушка... Трудно сказать, что он был за человек. Пенсне. А так — очень обыкновенный для того времени. Волосы назад, рубашка апаш. Взгляд со светлой сумасшедшинкой. Но это на всех фотографиях тех лет такой взгляд. Видно так освещали. Или особое качество пленки. Если быть объективным, о нем ничего не известно, кроме командировок, подарков и таксы. С таким лицом можно быть и плохим, и хорошим человеком. Даже в маленькой Лялечке характер угадывается куда яснее. Можно поверить в то, что эта девочка, так мило скосолапившая ножки в тапочках, не будет любить свою дочь, единственный плод беспутной жизни. Всматриваешься, пыта-

ешься угадать правду. Будет любить, не будет... Поставить бы две фотографии друг против друга — эту и Ниночкину. Зеркала же ставят. И говорят, что иногда... Нет. Страшно. Фотографии — это еще страшнее, чем зеркала. Кажется, что в каждой продолжает жить увековеченная секунда, изъятая из общего движения. И можно ли сталкивать эти секунды? Что такое для этой девочки взрослая Нина в оранжево-черном костюме? Чужая тетенька. Нина в школьном передничке — соперница, девочка, которая гораздо красивее... А вот этого пупса на подушке, уверенно держащего голову, она бы наверняка любила. Куда больше, чем таксу. Наверное, Ляля была одной из тех девочек, в которых инстинкт материнства просыпается чуть ли не с младенчества, а годам к тринадцати угасает. Тогда выходит, что весь запас Лялиной материнской страсти был истрачен на собаку и на мечту об обезьяне. Для Ниночки ничего не осталось. К тому же надо помнить и о том, что Ляля "сохранила" ее как приманку, как ниточку, за которую надеялась притянуть чернявого капитана. Но капитан не вернулся, а Ниночка превратилась в один из главных Лялиных недостатков наряду с темной комнатой, старухой-матерью без стажа и пенсии и сомнительными слухами об инженере-отце. К моменту, когда Ляля станет гордо рассказывать о нем и о собственной схватке с чекистами, всех мужчин уже разберут. Так что Лялю можно и понять, и пожалеть. А с другой стороны — стоит ли доверять словам ревливой обиженной Ниночки? Каждый любит, чем умеет. Один жалостью, другой нежностью. Возможно, Ляля любила дочку гордостью.

"Кажется! Одинаковые ж формы, одинаковые передники! Посмотришь на Саркину Нэльку — страшилище! А Нинка моя — кукла, и все! Ее ж у меня чуть не украли в детстве! Мама покойная затащила в дебри в безлюдные, — голос начинает расхо-

диться, как вода в бутылки, — а сама заснула! Хорошо, что милиция вовремя кинулась на вокзал! Там какие-то кугуты уже сели в вагон! — а ребенок у них красивый, городской!" — И возмущенно втыкается в угол рта папироса...

"Главное, надо ж так на глаз посчитать, сколько этих салфеток пойдет на костюм! Прямо тютелька в тютельку получилось! Тамара просит его продать для своей Ленки. Девяносто рублей дает! Но мне не надо. Чем ее Ленка-уродина будет носить за девяносто, лучше пусть моя Нинка красивая носит за двадцать! Все думают — импорт. Она пошла в ресторан в этом костюме. " Мама, — говорит, — ну просто проходу не было! Не давали спокойно посидеть! Один за другим, один за другим приглашают! Ты бы видела, сколько было в зале красивых женщин! А они чуть не в очередь стали возле нашего столика. Просто не понимаю!" — У Ляли триумфально выдувается жир из подбородка и розовеют щеки. — Пойдем, Клава, я покажу тебе, как получилось."

Слабохарактерная Клава шла. Костюм был плотный, черный, с широкими полосами вытканного оранжевой пряжей орнамента. Он должен был эффектно подчеркивать Ниночкины темно-карие глаза и прямые волосы с темной рыжинкой. Сидел он свободно, очень удачно скрывая все, что Ниночке не стоило выставлять. Собственно, кроме маленьких крепких ножек и чудной головки, внимания стоил только маникюр. Слегка вытягивали ее и стройнили высочайшие каблуки-шпильки, высочайший узел на затылке. Да, надо признать, что сложена она была хуже, чем Ляля, и Ляля часто говорила об этом с неподкупной объективностью: "У нее плечи широкие". И, с некоторой долей злорадства: "А талии практически никакой". Будто брала реванш над дочерью. Хоть в этом.

Пожалуй, она не сознавала, что завидует. Что-то

такое было в Ниночке... счастливое. Неотразимое для мужчин. Необычная порода, особая, порой достающаяся полукровкам. Какие-то черты взяла она и от Ляли, той, маленькой, с фотографии, но все это было ярче, острее, благороднее. Темные и невнимательные, чуть раскосые глаза с подрисованными кверху стрелочками, отрешенный разлет бровей, вдохновенно напряженный носик, беспокойно сжатые губки. Ресторанные знатоки находили все это многообещающим. Но главное, от чего они вскипали и стояли в очереди у чужого столика под ненавидящими взглядами своих покинутых спутниц, — был лоб. Вызывающе открытый, овальный и чуть выпуклый.

И с этим-то лбом, с этим норовистым носиком, при такой мамаше! — Ниночка до восемнадцати лет ни с кем не встречалась. И этим Ляля особенно гордилась. Она останавливалась с соседками, с которыми не разговаривала годами, и, выдвигая вперед плечи, поворачивая в профиль голову, украшенную на затылке черным шарфиком, вынимала из угла рта папиросу и горячо возмущалась: "Как вам нравится Лена? С ума сойти! В семнадцать лет — такое поведение! Я Ниночке сказала: чтоб твоей ноги в их доме не было!" Иногда добавляла: "Ну пусть уж мы, старшее поколение, у нас так жизнь сложилась. Пусть. Но они?!"

А вообще-то каялась Ляля очень редко — и исключительно в состоянии алкогольного энтузиазма, когда не в состоянии была заметить ироническое к себе отношение. Этого она не выносила. Трезвая — Ляля всегда была необщительна и строга. Ниночка как-то в детстве сказала Клаве, что, мол, больше любит, "когда мама веселая". Веселая! А что она могла понять в то время? Ее мать не валялась в подъезде, не шаталась, не пела на улице, не приставала к прохожим. Это уже когда Ниночка подросла, ей опротивел родной дом, нестройное веселье, пруж-

щее из окон во двор, как пена из пивной кружки, утробный рык и винный запах блевотины, пробивающийся сквозь душник на лестницу. Ниночкин поклонник стоял под этим самым злополучным душником и не понимал, откуда идет этот мерзкий запах, но все не выпускал ее пальчики и умолял словами и глазами из-под старомодной шляпы.

Свадьбу сыграли в доме жениха. Никого из соседей не звали. И Ниночка очень долго не появлялась у матери. Полагали, что для того она и поспешила выйти замуж. Когда же через некоторое время молодые перебрались к Ляле, заговорили о том, что вот, мол, плохая мать все-таки лучше хорошей свекрови.

— Она ж кугутка! у Ляли лицо тряслось от ненависти к свахе. — Разве можно жить с такой под одной крышей?! Я забрала их к себе, чтобы сохранить семью!

Через год семья все-таки распалась. "Он был импотент, — доверительно вздыхала Ляля, и глаза выглядывали сбоку, из фиолетовых послепохмельных глазниц. — Почему ж молодая женщина должна принести себя в жертву? Ей же тоже хочется жить по-людски! А вот это уже — настоящий мужчина! — хвасталась Ляля вторым своим зятем. — Другое дело!" — и подбородок прижимался к груди, а щеки, как когда-то у матери, ложились на воротник.

Алеша ей нравился. Он как бы ухаживал за обеими сразу. Не смотрел на Лялю так, будто она грязное стекло, не то что первый зять. Мог и цветочки принести. Без всякого повода, без праздника. И Ниночка при нем как-то смягчилась. Заскочат к Ляле вечером, телевизор посмотрят. Ляле нравилось, как они переглядываются, переговариваются без слов, одними глазами: "Ну что, поедем домой?" — "Поедем." Ляля выходила провожать в накинутом на плечи пальто и наблюдала с удовольствием, как они ловят такси. Алеша сорил деньгами. Не то что пер-

вый, Сергей. А из себя Алеша был гораздо интереснее, здоровый, с накачанными мышцами, хоть и парикмахер. В армию его взяли в десантные войска. Неудачно вышло. Если бы не умерла его мать-инвалид, не забрали бы Алешу в армию и Сергей ни за что не смог бы снова подкатиться к Ниночке. Вдруг появился! В пыжиковой шапке, в дубленке. Очень похорошевший и мужественный. Додумался отпустить усы. Вера Жилко пошутила, что усы, видно, помогают от импотенции. А Марья Николаевна уточнила, что от этого помогает шуба. Он купил Ниночке мутоновую шубу. И еще появился арабский диван. Ниночка уволилась с работы и весь день сидела дома в роскошном махровом халате. Такого ни до, ни после никто не видел: шелковистый, с густым бордово-синим узором, на вид тяжеленный, как ковер, но Ляля хвастала всем: пушинка! Ляля спокойно смотреть не могла на этот халат, прямо руки дрожали. А Ниночка ходила в нем небрежно запахнутая, сонная. И шубу свою носила как-то лениво. И весь вид ее был такой, что невольно вспоминались Лялины откровения об импотенции, хоть никто и не принимал их всерьез. Знали ее манеру все толковать по-благородному. Ушла дочка от мужа — не потому, что вертихвостка, а потому что импотент. Сошлась с ним снова не потому, что стал чинить машины спортсменам и артистам, а потому, что — первая любовь. "Первая любовь, Клавочка — великая вещь. Никуда не денешься!"

Любовь так любовь. Клаве-то что за дело! Что ей всматриваться в расплывшееся от равнодушия Ниночкино личико! Это беременность такая. Поздний токсикоз. Вон уже шуба на животе не сходится. Без каблуков Ниночка совсем крошка, а такого ребенка раскормила!

"Да он же ей, Клавочка, каждый день, как идет с работы, несет пирожные! У меня ж уже ругаться с ними нету никаких сил!" И очки прыгают на разбух-

шем носу, чуть не слетают от праведного гнева. Пополам с завистью, и еще гордость впридачу. "Виноград "дамские пальчики"! По двадцать рублей кило!" — "К чему ей сейчас виноград, Ляля! Виноград же пучит! Она ж у тебя и так задыхается!"

И зачем это Клаве?! Зачем вмешиваться? Зачем эти разговоры по душам? То один, то другой. Ответишь неосмотрительно — и выслушивай потом целую биографию, все претензии к жизни и родственникам. Будто это Клавина должность. "Вы извините, Клавдия Михайловна, что я вас беспокою, но я хочу, чтобы вы знали, с кем имеете дело! — протягивает длинный список. Счет. — Это она посчитала, сколько истратила на передачу! Посмотрите только! Посчитала даже два голубца! По столовской цене, наверное. Разве это мать?! Нет! Вы мне ответьте!" — "Да бог с вами, Сережа! Она такой человек..." — "Нет. Но разве можно..." И это после целого дня телефонных звонков и хлопанья дверей. "Марья Ивановна! Это Ляля говорит! Ляля! Я опоздаю сегодня. Марья Ивановна! Я звоню с больницы... Марья Ивановна! У меня Ниночка только что родила! Девочку. Так что я теперь бабушка... Да. С больницы. — Ночная рубаха, косо вылезаящая из-под запахнутого халата, посиневшие пятнами ноги. — Я буду где-то к трем. Что? Четыре двести! Да! Пятьдесят пять! Да! Врач говорит: баскетболистка будет!" — и от гордости выдувается грудь.

А девочка не станет баскетболисткой. Будет она маленькая, слабенькая, как Ниночка, но совсем не такая красивая. Вырастет без матери. И без бабки: Сергей еле терпел Лялю, живя в ее доме, а уж на своей территории — и говорить нечего.

Казалось бы, такое горе должно было всех примирить! Когда до Клавы дошло, что случилось, она все забыла! Она готова была броситься к Ляле и утешать, жалеть ее, как сестру. Она почувствовала даже злорадное удовлетворение, когда на чей-то

вопрос с ироническим стоном: "А-а, Лялина соседка? И что там у нее снова?" — ответила: "У нее умерла дочь." — "Вы шутите?!" — вскрикнули на том конце провода. — "Так не шутят." — строго ответила Клава и хотела повесить трубку: пусть сами едут, пусть сами звонят. Но к трубке потянулась Ляля и замычала, захрипела, как отравленная: "Катенька! Это ты-ы?... Да... Да... В морге. Неизвестно, Катенька! Говорят, она вчера вяленькая была. Я ей голубцы приготовила, а она их назад отдала, не было аппетита. Слышишь, Катя! Вы там соберитесь, помогите мне с похоронами! Да. Спасибо, Катя! Да. А то я одна, Катя! Серезу по всему городу ловит милиция. Он, Катя, сел в машину и носится по городу, убится хочет! Ой, Катя! А Алешу в больницу забрали: он себе голову разбил об стену, когда узнал. Да, Катя, вернулся. Уже два месяца, как вернулся. Я ж тебе говорила. Говорила... Я точно помню... Еще ты сказала: хоть бы скандала не было... Я же лучше помню..."

Клава вышла на лестницу. Там уже Дуся ходила по этажам со списком, собирала на венок. Давали помногу. "Господи прости! Я ночью слышала гвалт и подумала, что она внучку празднует, а это вон что было!" Соседи расступились, пропуская Лялину сваху. Старуха истошно визжала и причитала по-деревенски. Еще шире расступились, пропуская Лялю. Она висела на руках у Сары Козачок и ее беременной Нэльки. Шла, согнувшись, как от тошноты, и громко стонала. В дверях Ляля остановилась, прислушалась к сватыному вою и обиженно отчитала Нэльку: "Видишь, что ты сделала? Напичкали меня таблетками, теперь люди подумают, что она больше переживает. А она ж, язва, еще вчера поругалась с Ниночкой из-за имени! Виолетта ей не подходило! Ей Хиврю надо было!" — "Хай будет Фиоле-е-ета-а! Як ты хотела, так усе будэ-э!" — доносилось из глубины квартиры, из отвоеванной комнаты, где

когда-то сфотографировался инженер Бобров с женой, собакой и дочкой Лялей...

Лялечка-Лялечка! Тот же дом, под которым ты каталась на санках. Те же липы, только погрузневшие, раздавленные ввысь и вширь. Деревья хорошеют от старости, и так их красит снег, залегший в развилках! А ты вон какая станешь... Вон та, у изголовья гроба... В черном платке, с мокрыми щеками, провисшими, как два мешка, от воспаленных глаз до жирной груди. Не опавшей с горя, а наоборот, как бы выдувшейся от переполняющего чувства собственной важной роли в происходящем. Не лучше ли вот так: лежать среди белых сугробов, сиять чистым лбом, светиться в белом свадебном платье, сквозь кружево которого видна нежная кожа спокойно сложенных рук... В пене белого тюля, припорошенного снегом. Две непрерывные снежные гряды от конца до конца улицы растут на глазах, светлеют, принимая на себя светлое вдохновение смерти, продлевая до весны зыбкую память о Ниночке. Что ей до всех этих людей, до этих грязнящих точек? Возьются, суетятся, поглядывают из-за чужих спин... Что ей за дело до сердечного приступа первого мужа, до рассеченной брови второго...

Заживет. Уже через несколько дней Сергей позвонит в Клавину дверь, убитый, но не внушающий опасения, — и станет рассказывать про диван, про шубу, которую Ляля поспешила продать сотруднице. А халат носит сама. "Напялила на второй же день! Вы представляете?! И это мать?!" Что могла ответить Клава? Ее тоже шокировало удовольствие, с которым Ляля куталась в халат дочери. "Мне ничего не нужно, Клавдия Михайловна! Я просто хотел собрать деньги на памятник. Это же не человек, а черт знает что! Говорит, что у Нины этот халат был до меня! Пусть им подавится, этим халатом! Я просто хочу, чтобы вы сказали, кто купил этот

халат!" — "Вы, Сережа. Конечно, вы. Я помню." Он кивнул с облегчением, надел шапку. Снова задержался. "Вот я все время думаю: разве можно, чтобы ребенок общался с таким человеком? Моя бы воля — она бы и не узнала, что у нее есть такая бабушка. Вот вы мне можете сказать о ней хоть что-то хорошее? Хоть кому-нибудь этот человек сделал добро?" И, наконец, ушел.

Клава задумалась. Собака? Другой бы на Лялином месте давно отнес ее на усыпление. Этот Таксик и щенком был невозможно уродливым, а теперь... Облезлый, с лысиной на весь бок. А главное — его вечный нестерпимый вой! Правда, слышно, как иногда она дает ему пинка, но его бы и святой не выдержал. А может, и нет никаких пинков. Просто наступит на лапу спяну... Во всяком случае, кормит его, как на убой. Сзади посмотреть — ужас: свинья пятнистая! С собачьим хвостом. И пузо везет по земле. Если бы Ляля столько с матерью возилась, та еще жила бы и жила. Но это говорить легко. Легко другим указывать, как надо.

Клава вспомнила эти слова Сергея, когда Ляля стала помогать ей присматривать за брошенной старухой Фридманшей. Двое детей Фридманши и приемный сын были людьми уже пожилыми. Они считали, что мать, скандалистка, которой они всю жизнь стыдились, здоровее их всех. И до какого-то момента так оно и было. Но в конце концов она выжила из ума. Стала подниматься по ночам с какой-нибудь естественной или неестественной целью, падала — и лежала бы до утра на холодном линолеуме, если бы Клава, живущая квартирой ниже, не просыпалась от этого дровяного грохота. Дети Фридманши не придумали ничего лучше, чем доверить Клаве ключи от квартиры матери. Когда муж Клавы окончательно отказался возиться со старухой, Клава обратилась к Ляле, и та с неожиданной горячностью взялась помогать. Она по несколько раз

на день поднималась на пятый этаж, поила старуху, охотно разговаривала с ней, хотя Фридманша понимала ее не больше, чем Таксик. С особым чувством все это делалось при свидетелях. "Вот это и я буду лежать когда-то. Может, и ко мне кто-то подойдет, пожалеет. Разве ж Ниночка моя бросила бы меня так, если б она не умерла! — Ляля быстро встряхивала отеки лицом, левый глаз не в лад моргал. Пейте, пейте Фридошка Наумовна. Давайте, я вам подушку поправлю. Раз дети такие жестокие, чужие люди помогут." И чай, и взбитая подушка положения в целом не спасали. Но Клава была благодарна Ляле, хотя в Лялиной доброте было много картинного. Даже что-то нехорошее, злорадное: Фридманша, хоть и неряха была и скандальная баба, а детей своих любила самозабвенно, только для них и жила, возила в санатории, учила в институтах, не Ляле в пример. А награда выходила одна — что за то, что за это.

Клава и не осуждала Лялю за это удовольствие. Наоборот, поддерживала. "Вот она, жизнь..." — "Ниночка б никогда со мной так не поступила." — "Конечно, Ляля. О чем говорить!" Хотя и не была Клава в этом убеждена. Кому это важно: искренность — неискренность... Клава искренне жалела и Фридманшу, и Лялю, и Лялиного пса. Но псу она желала сдохнуть, Фридманше попасть в богадельню, а себе — выселиться поскорее из этого дома, разрушающегося на глазах. Получить квартиру в какой угодно дыре, подальше от всего этого, главное — от Ляли! От ее замусолившегося халата, от "Ночи в березовой роще", которую Ляля подарила Ниночке на свадьбу, а потом пыталась продать Клаве. От этой фотографии, осточертевшей за столько лет!

Клава ушла в первую же предложенную ей квартиру. Прогодала, конечно. Другие соседи выхлопотали себе получше. Но не жалела. Ей приятно было,

что вокруг, в доме, во всем районе нет ни одного знакомого лица.

Где-то через год Клаву навестили приятели из Москвы. Она забыла сообщить им новый адрес, и они прямо с вокзала заехали в старый дом. "Там уже никто не живет, все стекла повывбиты. Хорошо, одна старая баба вышла, объяснила нам, как тебя искать." — "Какая баба?" — "Да здоровенная такая, будто водой накачанная. С папирсой. Все, говорит, разъехались, а я тут и сдохну."

Клава решила сходить к Ляле, хоть и не хотелось. Но так и не выбралась: занималась гостями, обкладывала кафелем ванную...

Ну и что из всего этого? Ничего. Просто девочку жаль. Хорошенькая девочка. Не ангел. Склонила светлую головку, улыбается. А ничего в ее жизни не будет такого, о чем бы стоило рассказать. Эта девочка умрет. Ее найдут в пустой комнате, туманной от запылившейся паутины. Опухшую, в замызганном махровом халате.

Неправда!

Не может этого быть!

г. Киев, 1992 г.

Я ПРИДУ ЗАВТРА

1.

Пусть бы первое слово плюхнулось на страницу увесисто, но не тяжело, как Зина увесисто опускалась на пол, на круглую подушку собственного зада. Ее коротенькие босые ножки вытягивались и жмурились на солнечном квадрате, появлявшемся в центре моего подвала после полудня. Дни были длинные,

и квадрат этот медленно отползал к стене, затем начинал карабкаться вверх, все быстрее, пока не умирал, едва успев коснуться потолка. По этим "солнечным часам" Зина распределяла свое рабочее время. Она не любила торопиться. Особенно в благостные часы, когда комната наливалась теплым светом, солнце полоскалось в алюминиевой миске, и на потолке ходило его беспокойное отражение. Зина с удовольствием топала по комнате, оставляя на пыльных нагретых досках коричневые мокрые следы, круглые и тупые, как следы медведя.

— У нас був такой пол, — шурилась Зина на некрашенные доски, как щурятся на бывшую собственность, успев за давностью лет привыкнуть к утрате. — От такой самый пол!

Давно уже она исчезла, потерялась в сумерках очужевого города — но и сейчас, стоит мне коснуться веником некрашенных досок мастерской — и я вспоминаю, что у Зины в доме был такой же пол. Что дом был большой, а отец Зины был главный начальник в Миргороде.

— Он у Мыгоход был хлавный начанык, мой папа!

Мыгоход... Как бы это изобразить ее невысокий козий голосок с резкой назидательной ноткой и першащим в горле украинских "г", которое служило Зине и вместо "р", и в других самых неожиданных случаях? Нет для него специальной буквы...

— Мни сэтха чилася на гимназий! Мни бхат був знаешь хто? Мни бхат був — читэлы!

У Зины все строже сдвигались брови, все туже поджимались губы.

— Мни нэвэська была, — приберегала она для окончательного триумфа, — знаешь хто? Хуська! Халя!

И дышала победоносно. Затем мрачнела как-то сразу и с гневным достоинством добавляла:

— А мни была дэцька болесь! Нэ вехыш? Спхосы ув Фани!

— Ну почему же не верю? Я верю, Зина.

— Сэ хавно спхосы! — наступала Зина. — Шоб нэ думала, шо я бхэшеш!

Видно, кто-то подтрунивал над ней, изображая недоверие к рассказам о счастливой жизни в "Мыгоходе", где трава была "аж посуды" — и яблоки, которые валились на землю с громким стуком, приходилось долго искать, а русская невестка плела для Зины венки из лютиков, маков и васильков. Господи! И у кого же это хватало жестокости! У кого хватало глупости объяснять ей, что главный бухгалтер райисполкома не слишком уж большой начальник, а Миргород — просто большая дыра, в которой только и есть примечательного, что знаменитая лужа... Нет. Не верю, что такой нашелся. Ну там спросить, когда она собирается замуж, похвалить сверх меры дорогое старомодное пальто... Или медную брошь со стекляшками.

— Хэто мни дали от одын евхэйка, — с готовностью поясняла Зина каждому встречному, проявившему интерес к ее обновкам. И одобрительно добавляла: — Мучылася два годы, а тэпэх умэхла... На Подоле жила. Хадом дэ шнэдэхка*. Болила, болила — и пфф!

Зина громко пукала губами и удивленно моргала, будто только что на ее глазах лопнул шарик.

— Вот. И пэхчатки мни дали. Бэз дыхка!

— Покажи-ка!

Царственная старуха Фаня Лазаревна хорошо разбиралась в вещах. Она деловито выворачивала варежку наизнанку и находила там какой-нибудь скрученный ярлычок с иностранными буквами.

— Ну вот! Я же сразу увидела! Такой пух!

* Портниха (искаж. евр.)

Зина терпеливо ждала, сбоку кося прищуренным глазом на чернобурковый воротник старухино пальто. Приценивалась.

2

Фаня Лазаревна уже не отходила от дома. Тяжко наваливаясь на перила, спускалась с высокого крыльца, покрывала гобеленовым ковриком колченогий "уличный" стул и водворялась на нем перед небогатым старинным фасадом пыльно-желтого цвета, в тени тополя, косо проросшего из-под крыльца. Сидела целый день как полномочная представительница дома и каждого его окна, и в каждом окне занавески были накрахмалены ее способом, наливка бродила по ее рецепту, а столетник был прямым потомком того, что Фаня Лазаревна привезла когда-то с курорта, из Анапы. Сидела в ожидании собеседника. Встречала и провожала взглядом вприпрыжку проносящиеся грузовики. Пугала прохожих ясными черными глазами и угольными бровями вразлет на полном обрюзгшем лице. Фаня Лазаревна до самой смерти оставалась красивой. Она без раздражения принимала оценивающий взгляд Зины. Чего там... Знала: и пальто, и шарф полосатый китайский — сорок рублей переплатили спекулянтке! — все достанется Зине. И атласный, почти не ношенный халат, свисающий из-под пальто до самой земли, присыпанной первыми крупинками снега... Конечно, Зине. Не золовке же за то, что бросила их на произвол судьбы! А Зина... жалко ее, несчастную. Все-таки землячка, выросла на глазах. Такая была красивая девочка!

— Если бы вы знали, какой это был красивый ребенок! — обращалась Фаня Лазаревна к кому-нибудь из остановившихся поболтать соседей. — Вы бы не поверили! Не девочка, а кукла!

— Гай! — Зина отворачивалась, выражая своим

лицом полное безразличие к похвалам. Даже некоторую досаду.

— Она из очень хорошей семьи! — продолжала Фаня Лазаревна, с грустной лаской глядя на Зину. — Отец был главный бухгалтер в райисполкоме.

Зина каменела от скромности.

— Мать не работала, но она была очень образованная женщина. Сестра училась в гимназии, молоде же меня на два класса. А брат... тут и говорить нечего. Такой удачный парень... Правда, он хромал, но в него влюбилась самая красивая девушка в городе. Какая это была пара! Они все время ходили за ручку, как дети! Он преподавал математику и физику, а она — географию. Она освобождалась раньше, но всегда его ждала, чтобы вместе вернуться домой.

— Она была хуська! — ревниво спешила вставить Зина.

— Украинка, — покладисто уточняла Фаня Лазаревна.

— Кхаинка — хэто тоже хуська! — поучала Зина свысока.

Ей лучше знать. Это же ее невестка, а не Фани Лазаревны.

— Хона мни давала кхашэнэ яйцо. Такэ кхасывэ! Хона мни венки хобыла. На голову, — на секунду расцветала Зина и указывала на свой толстый крестьянский платок, повязанный поверх белой ситцевой косыночки. Голова крутилась в платке, как в коробке, оборачивалась к слушателям то носом, то невозможно длинным ухом с большущей серьгой из желтого стекла.

— Да-а... — вглядывалась в прошлое Фаня Лазаревна, окидывала Зину затуманенным взглядом, как милую реликвию. — Она с ней много возилась, Галя. У них почему-то не было своих детей.

— Не было дитэй, бо их немцы побилы! — обижалась за родню Зина и сварливо расходилась. — Мни

усих немцы побилы! Папа побилы! Мама побилы! Бабушка стахэнька! Бхат побилы. И хуська нэвэська — тожэ побилы! Халя! Сех жалко! Папа нэ жалко? Жалко. И мама жалко! Сех жалко! Но Халя синее жалко! Папа побилы — бо он евхэй. Мама побилы — бо он евхэй. А Халя зачем побилы?! Га? — сурово допытывалась Зина у слушателей.

Всем было неловко: хотелось смеяться.

— Я нэ скажу за бхат! Бхат — евхэй! И мамыны сэстхы — евхэй... Их пхавыльно побилы, — все больше горячилась Зина. — А почему побилы нэвэська хуська?!

— Это такая трагедия! — Фаню Лазаревну тоже оскорблял неуместный юмористический оборот беседы. Ничего смешного тут не было. — Бедная женщина! Она ушла с ним по приказу. Пошла в гетто. А потом под расстрел. Вот так, за ручку... как они всегда ходили...

Фаня Лазаревна сжимала губы и легонько раскачивалась, чтобы удержать навернувшиеся слезы.

— Что же он не отослал ее? — досадовали слушатели; им больше не было смешно.

— Конечно, он ее уговаривал! И его родители умоляли ее уйти. Они ее любили... И людей просили, чтоб отговорили ее. Но она никого не слушала. Ее мать бежала за колонной и рвала на себе волосы... Несчастливая женщина! Наверное, думала: вот, погибла дочка из-за еврея, да еще хромого. Она и сразу не была в восторге от этого брака.

— Вот видишь, — укоризненно обращался к Зине Роман Петрович, старик с гладким, как у лилипута, лицом, занявший после инсульта постоянное место рядом с Фаней Лазаревной. — Видишь, какая у тебя хорошая невестка была! А ты не хочешь работать у русских. Моя Катя сколько раз просила, чтобы ты пришла ей помочь, а ты...

Фаня Лазаревна пыталась вставить слово, но он

не давал, останавливал прикосновением трясущейся от тайного смеха руки.

— Что же это ты, Зина — националистка? Подвергаешь нас дискриминации, а?

— А ну тебе! — досадливо передергивала плечами Зина, будто к ней приставали с сальностями. И, пожалуй, была права: где-то в глубине этих шуточек таилась беспомощная и гаденькая стариковская чувственность. Фаня Лазаревна ничего такого не замечала, но спешила прервать разговор, пока Зина не раскипятится и не выложит Роману Петровичу, что он "духэнь".

— Иди, Зина, поднимись наверх, скажи Люсику, чтобы дал тебе апельсин и кусок бабки. Там рисовая бабка стоит в духовке.

Зина уже поднималась по лестнице и весть о том, что Роман Петрович — дурак, доверяла гудящей пустоте парадного. Останавливаясь на очередной площадке отдышаться, встряхивала головой, быстро потеющей в тепле под дубовым крестьянским платком. "Вот духак какой-то." В последний раз она произносила это уже под дверь Фани Лазаревны, пухлой дверью, обитой настоящей светло-бежевой кожей, с гвоздями, глубоко вдавленными в мякоть. Как пупы.

Зина с удовлетворением отмечала, что дверь пора вымыть, хотя давно уже не любила мылить и обмывать эти выпуклости, истыканные ножичками и гвоздями. Она находила в них что-то неприличное. Фаня Лазаревна считала, что это "дело рук хулиганов". Но Зина знала каким-то непонятным образом, что гвоздиками тычет Люсик.

— От духак!

И Зина нажимала кнопку.

Люсик. Приветственная улыбочка выныривала бочком из-под его длинного неровного носа, щеки краснели под несбритым шелковистым пухом, седеющим пятнами.

— Фаня сказали дай мне пыльсын и бабки с духовка.

Зина вешала пальто на спинку кухонного стула, садилась, распахивала свой тяжеленный платок, разворачивала парные концы косынки и привычным движением перекладывала все это на плечи с мокрой после бани головы.

Баный день имел свой особый ритуал. С утра Зина ехала к "шнедерке", и та ее стригла: собирала в кулак отросшие волосы и одним движением ножниц их отрезала. После чего Зина отправлялась в баню, а оттуда заходила к кому-нибудь, кто жил поближе — обсохнуть. Долго сидела, не очень разговорчивая, блаженно ощущая на себе свежештопаные чулки, просторные желтые трико, бирюзовую мужскую майку и пушистый незастиранный халат из байки. Она то и дело прилизывала волосы круглой гребенкой, так что прическа ее выглядела, как мужская стрижка. Но, подсыхая, волосы на затылке трогательно поднимались торчком наподобие одуванчика.

Люсик никогда не оставлял без внимания столь значительное событие.

— Что, в бане была?

Зина не достаивала его ответом.

— У тебя же дома ванна.

— Хэты нэ моя! Хэты ванна соседыв.

Разговоры раздражали Зину, но она не торопила Люсика. С подчеркнутым безразличием следила за неуклюжими действиями перестарка. Как он распахнул духовку, а сам полез в тумбочку доставать ее, Зинину, специальную посуду. Хорошо хоть не забыл, где она лежит. И Зина на всякий случай напоминала ему, зачем это делается.

— Мни надо давать отдельный тахэлка. Бо у мни хлысты.

Тон был наставительный: тебя, мол, дурака, учить и учить!

Впрочем, Зина и в других домах любила поговорить на эту тему. В каждой семье держали для нее специальную посуду. У нас это были серая эмалированная тарелка и кружечка с птичкой. После визита Зины и тарелку, и кружечку подолгу вываривали, но и много лет спустя не употребляли для еды.

Тарелка существует и поныне, в нее наливают кипяток, когда ставят горчичники. И стоит мне опустить желтую бумажку в горячую воду — я сразу вспоминаю, что у Зины были глисты просто-таки необыкновенные!

— От таки о! — Зина по-рыбацки разводила руки. — А товсты-ы!.. О! От як гэтый палець! Нэ вехыш? — азартно допытывалась она. — Спхосы ув Фани, как они мни лезалы с хота! Уэ-е... — она добавляла несколько характерных движений для большего правдоподобия и заглядывала в лица слушателей, восхищаясь произведенным эффектом.

Ради Люсика она не старалась. Знала о нем кое-что... Ела себе бабку с треснутой кузнецовской тарелки и запивала чаем из японской чашечки с отбитой ручкой. Ела строго, крепко сжимая вытянутые трубочкой губы. Жевала передними зубами, чуть кумкая протезом. Протезом она гордилась не меньше, чем глистами.

А Люсик громко сёрбал. Но его чашке был нарисован Кремль, и таких чашек было в доме очень много.

— Мни нэ можно давать Кхэмль! — уточняла Зина, поглядывая на яркую чашечку Люсика. — Тогда всим будут хлысты!

Этого Зина не желала даже Люсику.

— Ты что протезами стучишь! — пытался заигрывать с ней Люсик. — Они у тебя на пол не выпадут?

— Нэ твое дило, — коротко, но с напором отбривала Зина неуместные шуточки.

Отец его тоже шутил. Но то было совсем другое. То было давно. Когда Фаня ходила по дому в нарядных платьях с широкими плечами, а Исаак — в военной форме, высокий, пышноволосяй, с вгоняющим в краску взглядом голубых близко посаженных глаз. Таких же, как у Люсика.

Зина помнила, каким старик был раньше, до того, как начал плакать. От его шуток она всегда хихикала и ерзала на табуретке.

"Ну-ка, честно признавайся: ты не беременная? Ты нам тут сейчас ляльку не обронишь?" — "Та ну вас!" И рьяно хваталась что-нибудь скоблить и драить. Кому же не приятно внимание красивого мужчины!

3

В те годы она всегда была беременна и никогда не знала, скоро ли ей рожать. Беременность почти не отражалась на ее внешнем виде. Вся эта коротенькая фигурка состояла исключительно из атрибутов женственности. Никаких там боков, спины: зад начинался прямо под мышками и необъятно пышел книзу, узенькие плечи были совершенно круглые и как бы держащиеся без помощи костей. Плечи очень ловко перетекали в две увесистые груди, из-под которых вываливался вздутый живот. И все это выглядело замечательно ладно. Несмотря на тоненькую шейку, делавшую ее похожей на туго завязанный мешочек, несмотря на коротенькие пузырчатые ножки, на которых она шустро ковыляла, не удосуживаясь их сгибать, — видно, от привычки ходить в валенках, которые всегда приходились ей выше колен.

Этот маленький детородный комплекс раз в году разводил свои негнущиеся ножки и легко выдав-

ливал из себя младенца, который тут же исчезал в неизвестности, как исчезал выделившийся на минуту из человеческой безликой толчеи его отец.

Зина находила их в городском транспорте. Должно быть, притиснутый в троллейбусной давке к этому уютному куску пованивающей уксусом плоти, мужчина тут же ощущал ее нетерпеливый трепет, замечал горячую краску, заливающую ее смешное личико — смесь просьбы и отказа, и заведомого знания, что и как будет.

Где и как это происходило: в парадных? за кустами? на заброшенной стройке? Кому доставался этот неожиданный подарок? Опустившемуся алкоголику... солдатику в увольнительной... порядочному семьянину с диссертацией в портфеле... Трудно сказать, ибо знали об этом только от самой Зины, а она судила об общественном положении своего сообщника исключительно по головному убору. Где-то ходят-бродят по земле взрослые люди: дети Зины и мятой кепки, дети Зины и велюровой шляпы. А один — так и вовсе от генеральской папахи... Человек десять, а, может, и больше — с того дня, как муж бросил Зину, и до того, как сестра ее додумалась попросить врачей... Живут себе и не ведают, сколько у них по миру братьев и сестер.

Братья и сестры! Оглянитесь, поищите глазами друг друга. В ваших лицах должно быть что-то общее. У женщины, которая вас родила, лоб был большой и просторный, сдавленный в висках, так что лицо напоминало корпус скрипки. Может, и стала бы с таким лбом умницей-разумницей, если бы не "дэцька болесь". Будем надеяться, что вы не унаследовали коротенькие молящие брови, ее нос — тонкий и длинный, с колючим кончиком и размашистыми запятыми ноздрей, а также подбородок, составляющий единую прямую линию с окладистыми щеками. Вот только — голубизна сияющих

глаз... Впрочем, так же бессмысленно сияли ее стеклянные сережки. Но вы ошибетесь, если решите, что ваша мать — уродина. Я часто ее рисовала, и могу сказать, что все это аккуратно вылеплено. Когда она бывала больна или обижена, глаза ее теряли свой обычный блеск, темнели, и мне казалось, что я угадываю в ее облике красоту первоначального замысла. Впрочем, тут, возможно, сказывалось влияние Фани Лазаревны, которая уверяла, что была Зина ослепительно красивым ребенком, вечно стояла у ворот, сложив на груди пухлые ручки и приветливо склонив набок кудрявую головку в венке из лютиков и ромашек, — их плела для нее "русская невестка" Галя.

Так вот, если вы нашли в овале своего лица что-то от скрипки, если наружные уголки ваших глаз сильно оттянуты книзу, если у вас есть чудная и редкая привычка — удивляясь, вытягивать вперед губы, так что они образуют нечто, по форме напоминающее бинокль, — знайте: Галя — ваша тетка. Жена вашего дяди, хромого учителя, которого она так любила, что пошла с ним под расстрел, хотя могла бы еще жить и жить, потому что была украинкой. И уж она-то никогда бы не бросила маленькую Зину, которая стала дурочкой после "детской болезни". Менингит, наверное. А Фаня Лазаревна говорила: сглаз. Она, Галя, никогда не допустила бы, чтобы Зина, та, бывшая куколка в веночке, спала у нее в коридоре на коротком даже для Зины сундуке, не плакала бы в райисполкоме, что Зина может принести в дом сифилис, как плакала собственная родная сестра Зины. Она не позволила бы Зине отдать в чужие руки новорожденных младенцев... Правда, большинству из вас не появиться бы тогда на свет. Да и вообще... разве вернешь этими разговорами Галю? И сестру, вашу родную тетку, можно понять: то, что не было сифилиса — это же просто чудо. В доме трое детей, комната — двадцать метров... А

благодаря стараниям сестры Зина сама получила шестнадцать в коммуналке. Все вы родились до этого, а то бы она обязательно оставила себе одно-го... Она потом очень жалела, что так вышло. Когда стала старая. Но вряд ли такой вариант был бы для вас слишком удачным.

Впрочем, был еще один вариант. Это когда муж Фани Лазаревны стал плакать и заходить не в то парадное, а сама она перенесла первый инфаркт и оставила мечту о скромной пересидевшей девушке из бедной еврейской семьи. Никто не захотел Люсика даже впридачу к котиковой шубе, кольцу с бриллиантом и черной икре по воскресеньям. Фаня Лазаревна чувствовала, что день ото дня слабеет, и стала присматриваться к женщинам постарше, не имеющим жилья. Ближе всех оказалась Зина. Зина, правда, не могла бы распорядиться добром, которое Фаня Лазаревна и ее муж нажили ценой большого труда и вечного страха, но вполне способна была содержать в порядке квартиру и готовить жаркое. К тому же Зина по выкладкам Фани Лазаревны была снова беременна, и это очень устраивало Фаню Лазаревну. Новая идея прямо-таки окрылила бедную женщину. Когда-то, во время эвакуации, она видела первого ребенка Зины, плод ее кратковременного законного брака. Совершенно нормальная девочка. Она умерла от скарлатины. Фаня Лазаревна была уверена, что и этот ребенок родится вполне здоровым и нормальным. Такие дети всегда получаются удачными. А Фаня Лазаревна постарается обеспечить ему наилучшее воспитание, и если она продержится еще четырнадцать-пятнадцать лет, то сумеет передать родителей на попечение этого ребенка, а если...

Так вот, если бы Люсик не раскапризничался и не заявил, что Зина для него старая, был бы у кого-то из вас отчим, обрастающий шелковистой юношеской щетиной, с длинным недолепленным носом и мок-

рой красной нижней губой, обвисающей при разговоре наподобие петли. И, надо сказать, далеко не такой глупый, как полагала ваша мать.

У вас была бы роскошная бабушка! Властная, но безгранично преданная и щедрая. У вас был бы дед, лысый и молчаливый, как привидение, моргающий из темной спальни глазами ночной птицы и топчущий босыми ногами потерянные кальсоны. Ах, да! И еще громадная и шумная родня в Одессе. Ездили бы туда в отпуск...

И всего этого вы лишились по милости незрелого Люсика, который тыкал гвоздиком в пухлую кожаную дверь и Зину, как гвоздиком, протыкал своим нечистым взглядом. Он лишил вас также печки с вмурованными у самого потолка золотыми червонцами с профилем бородатого царя. Но об этом уж точно можете не жалеть: червонцы никому не принесли удачи. Даже наоборот.

А вот материнской нежности в том, возможном прошлом я вам не гарантирую. На детей Зина умилялась, но как-то сторонилась их. Часто вспоминала свою умершую дочку, но это не была самостоятельная тема, она составляла одну из обвинительных речей против мужа. "Я была чесны девушки! Мни муж спохтыл! А я была чесны девушки! Он мни побхосал! На Самхаканди! Дочки умыхал — и он мни побхосал!"

Автобиография Зины состояла из шести-семи подобных отрывков. Их краткость возмещалась непрерывностью повторов. "Усэ муж виноватый. Хэто он мни спохтыл! А я! была! чесны девушки!" И умолкала на некоторое время. Дожевывала обиду, пока возила по полу тряпкой, возила легко, будто стоять, согнувшись, развалистым задом кверху и головой вниз, — самая для нее естественная поза. Не признавала никаких швабр. Сгибалась пополам, как тряпичная кукла — и, как отпущенная пружинка, разгибалась. Макала тряпку в таз, крепко выкру-

чивала и с суровым напором продолжала: "Я была чесны девушки!! Мни спохтыл муж!" Может быть, ненависть к мужу помогала ей лучше выжать воду. Почему-то именно половая тряпка заставляла ее вспоминать своего благоверного. На вопросы о подробностях она отвечала неопределенным движением носа.

И вот стоит мне окунуть в воду тряпку, а потом выкрутить ее — и я вспоминаю, что Зина была честная девушка. Стоит мне взяться вешать занавеси — вспоминаю, как любила Зину "русская невестка". Белое кружево шуршит от крахмала, и мне кажется, что я правильно представляю себе эту женщину, эту особенную и редкую разновидность украинской женской доброты.

Конечно, если хорошо поискать, всему можно найти объяснение, в том числе и самым неожиданным Зининым ассоциациям. Зина любила мыть окна. Совершенно не боялась высоты, несмотря на свою комплекцию. Забиралась на подоконник легко, как медвежонок, и оттуда командовала: "Нэсы новы вода! Дай дхугый газэта! Давай, нэсы занавеска!" И тут завязывалась цепочка: невестка — невеста — фата... Или просто Галя вешала когда-то занавески...

Или так: она заводит палку глубоко под диван, шарит по углам, вдоль плинтусов, наконец выгребает оттуда засохший каштан, давно пропавшую катушку шелковых ниток, сломанную запонку и, высвобождая нужное из мшистых клочьев пыли, вспоминает о тщательно скрывавшихся тайнах Фани Лазаревны, о том, что Люсик был у нее вторым ребенком... "А пегвый в ний ходывся звех! Хон був досюды (до груди) собака. Все нохи — шехсть! Хон умех, — добавляла Зина со сложным выражением. — И мохды была, як собака! В нэи уси диты погани! — И свысока: — Люсик хэтый тоже... им

надо было хопэхаций хэзать на пыска. А Фаня нэ давала!"

Можно предположить, что ее рассказы о первом ребенке — отзвук услышанных в детстве разговоров про "волчью пасть". А впрочем... Кто знает! То, что касалось Люсика, в точности соответствовало действительности. И всю жизнь мне вспоминать о неудачных детях Фани Лазаревны — стоит только протянуть руку за закатившимся карандашом или монеткой. "Кохошо, шо вин умэх! Пхавда? Тут — человек, а тут — собака. Он пхавыльно умэх! Если он нэ умэх, с него будэт се смеяться!"

Этот сюжет Зина повторяла не более трех раз подряд: мусор не мог долго оставаться среди комнаты, его полагалось собрать и вынести. И еще показать всем домашним, как много накопилось в квартире пыли и грязи. Зина очень гордилась зримыми результатами своего труда. Она заявлялась на кухню, где кто-нибудь как раз наспех обедал, и чуть ли не в тарелку совала охапку пыльной бумаги, сорванной с оконных рам, а то и какую-нибудь слизистую гадость на ноже, соскобленную в унитазе или под ванной. "Видишь, как я делаешь? Я сэ делаешь по-хозяйски!" Зина нуждалась в похвалах.

4

К тому времени, когда мы въехали в дом на Богуславской, она была вполне еще крепенькая, но уже халтурила. Подолгу возилась с какой-нибудь ерундой, так что хозяйка не выдерживала и сама домывала, дочищала, вытряхивала под неровным надзором Зиной. Оставаясь без присмотра, Зина подолгу отдыхала, сидя на полу. Посматривала в окно: скоро ли стемнеет. Брала она деньги не за выполненную работу, а за потраченное время. "Хо! Уже скохо ночь!" И кое-как домывала пол в передней. Переодевалась, чинно ужинала на кухне. Строго

принимала от хозяйки заработанную пятерку или трешницу, заворачивала ее в платок и прятала глубоко на дно кошелки, под черный сарафан и рабочее белье. Там же хозяйка могла заметить и собственную ложечку. Или какую-нибудь бутылочку с остатком одеколона. Но из-за этого не стоило беспокоиться: после того, как Зина, долго вздыхая и кряхтя, натягивала стеганные валенки, заматывала платки, попадала в рукава пальто (очередной умершей еврейки) и застегивала растянутые петли, эта самая ложечка (или половинка мыльницы, или ленточка от подарочных конфет) оказывалась на тумбочке у дверей или на полочке в ванной. А Зина прощалась с большим достоинством, довольная своей честностью. "Бувайтэ мни здохованьки! Я скохо будет заходить до Фани. Будэтэ Фане сказать за стихка." Даже если оплата ее разочаровывала. Она никогда не торговалась, так как знала, что ей легко можно найти замену.

В дом на Рейтарской к нам приходила Зоя. Здоровенная шумная баба, едва уместившаяся в оконном проеме. Работала она быстрее — и брала не больше. Правда, Зоя ложечки так и не выкладывала. А воняло от них обеих — хоть нос затыкай! У Зои тоже была своя "история" — как она "жила с офицером". "Знаете, как живет холостяк: ни сесть некуда, ни положить что-то. А я нанесла со склада ящиков, составила один на один, марлей понакрывала, а сверху — зеркало, пару открыток, бутылочки с-лод одеколона — совсем другой вид!"

Зоя тоже повторялась, но разве это сравнить с непрерывным стрекотом Зины! После каждого "рабочего" визита Зины папа обещал, что отныне сам будет мыть окна, натирать пол мастикой — что угодно! "А как же! — иронизировала мама. — Да ты на любое дежурство побежишь, лишь бы не помочь по дому! И мне не надо твоей помощи! Я за то и плачу человеку, чтобы не возиться!" — "Ты же отпа-

хала день с ней наравне, а без нее бы все сделала в два раза быстрее!" — "Ничего подобного! — спорила мама. — Я бы с такой уборкой и за три дня не справилась. Она для меня — как буксир. Я знаю, что копать нельзя, надо кончить до вечера. И вообще! Это — мицва..." — неловко произносила мама слово, перенятое у Фани Лазаревны. — "Если ты хочешь делать "а мыцвы"* (насмешливо), подари ей пять рублей и позови Зою."

Но тут уж папа был не прав. Знал ведь, что Зина милостыню не берет. Одежду, белье от покойника, развалюху-тумбочку из покидаемого подвала. Но не деньги. Деньги она только зарабатывала. В то время, может быть, лучшее для нее время. (Кроме, конечно, Миргорода с его яблоками и венками). Зина тогда считала, что удача валит к ней со всех сторон, и непрерывно хвастала.

5

Впервые я увидела ее в день своего возвращения из санатория, где провела почти год. За этот год новую квартиру отремонтировали и обжили. Я восхищенно разглядывала новый буфет, узоры на стенах комнат, маленьких, как коробочки. В комнатах было темновато из-за деревьев, подступающих к самым окнам, очень чисто, торжественно и тихо. И тут пришла Зина. Пришла в гости по случаю субботы. Она сидела боком к столу и говорила, она посматривала на меня, как свой посматривает на гостя, особенно заинтересованная моими костылями. "Почему йий там нэ спхавылы хэта нога?" — наконец не выдержала она. Мама вся напряглась и ответила: "Заболеть легко. А вылечиться — надо много времени." — "Ха-а... — Зина потянула кверху подбо-

* Благодееание (искаж. евр.)

родок, собрала губы, понятливо покивала. — Навэхно, надо хэзать хопэхаций!"

Поскольку дело происходило в субботу, Зина не начала тогда же рассуждать о Люсике, и его пипке, и о ребенке с собачьими ногами. Все это она сообщила мне позднее. По субботам у нее были другие разговоры, по субботам полагались новости.

— Я на вэчэх пиду до шнэдэхка! Шнэдэхка шидэсят год!

— А-а! Вот в чем дело! То-то ты такая нарядная!

— Не. Я дхугэ плате буду девать.

Зина с подчеркнутым пренебрежением оглядела свой креп-сатиновый черный балахон с богатой вышивкой вокруг выреза и наискось по юбке.

— А что? Красивое платье. Знаешь, сколько стоит этот материал?!

Зина окинула платье теплеющим взглядом.

— Хоно большое мни.

— Ну так пусть твоя "шнедерка" уберет в плечах.

Плечи с ватными подушечками и правда были слишком для Зины широки. Свисали чуть ли не до локтей — крепкая, видно, была женщина. Но прочим Зина ей не уступала: грудь туго натягивала вырез, и серебряная брошка с гранатами покоилась на положенном месте.

— Мэни ще лучше е! — все больше воодушевлялась Зина. — Хэто вмэхла одын евхэйка. Хона жила дэ Фхыда. Знаешь Фхыда? Шо до Фани ходы.

— Фрида умерла?!

— Та ни! — рассердилась на мамину непонятливость Зина. — Женчина. Евхэйка! Такой був здоховы! Нэ хаз нэ болил! Хоп! — и повмыхал! — заключила она радостно, будто показала удачный фокус.

— А брошку кто дал?

— Так была, — пренебрежительно кивнула на брошку Зина и осудила. — А пальто нэ давалы. Нычехо! Мни есь пальто! Мни се е. Мни е тхы новы

подияныки. И тхы пхостынь! Вчеха купыла на вехмак. Мни се е! Мни Фаня сказала: надо бхать постель!

— Ты взяла деньги с книжки? — удивилась мама, и Зина впала в гнев:

— На бехкаса деньги бхать нэ можно! На бехкаса будет для стахось! Хто мни будэ давать для стахось, ха? Мни нету диты! — и все не могла остановиться.

— Кому нэма деньги, той будет на постахэлый дом!

— Где же ты взяла деньги, чтобы купить постель? — вклинился папа, изображая удивление. — Это же целое приданое!

— Хэто мни дали пэнций! — выложила Зина, как козырную карту, и с удовольствием понаблюдала за произведенным впечатлением. — Хэто мни давалы валиднось! — разрешила она наконец наше недоумение, а потом еще уточнила вскользь, как о чем-то, в чем все равно не разобраться обычному человеку. — Мни одын женчина, евхэйка, ходил поликлиника, мни делали хазный комиссий: хэнген, с палец кхов. Мни тэпэх будэ девятнатый хублей мисяць!

— Не много, — огорчилась мама.

— Мни хватит, — обиделась Зина. — Мни схазу давал дви пэнций. Фаня сказал: надо бхать дом постель!

— А что это за женщина с тобой ходила?

— Я не знаешь, — покривилась Зина. — Я в ний нэ хаботал. Следучи пэнций я будэш бхать соби туфли.

Тут мама вспомнила:

— Зина, я же говорила тебе десять раз! Сходи к Юлии Павловне! У нее есть для тебя прекрасные туфли! Она их не может носить после перелома. Совсем новые! Из натуральной кожи! Ты не купишь таких!

Зина поджала губы, поджала у груди сложенные ручки, помолчала напряженно и, выждав положенное время, отчитала маму:

— Мни сэ есь! Я нэ хочешь бхать хуськи туфли!

— Но почему же?

— Вона мни потом будэ звать хаботать!

— Ну и что? — раскипятилась мама. — Помыла бы пол, помогла бы больному человеку. Это же не бесплатно — за деньги. Какая тебе разница, где работать?

— В хуський — нет, — категорически отрезала Зина и пошла наступать на маму. — Мни есь хабота! На кхесене я помогать шнэдэхке! На понеденьк я иду до Хани. На сэхэду стихка в Мани. Хэта, шо сын ходит на ститут. На чэтвэх...

Зина сбилась, но не растерялась. Зачерпнула из кармана горсть скомканных записочек: "Читай."

Доверие было оказано мне. Я прочла: "В пятницу стирка у Шуры. Улица Богуславская, дом..." Это был наш адрес. Зину очень развеселило совпадение. "Ха! Бачиш? Твой адхес! А хэто куды?" — и приготовилась слушать. "Фрида Черноморская..." — "Не. Хэто надо выбхосать. — Скомкала записку и сердито сунула в другой карман. — Хэто Фхыда — быстхо-быстхо. Это поханый Фхыда. Я нэ будэш ходить до хэта Фхыда. Зина, быстхо! Зина, быстхо! — тоненько передразнила Зина. — Мни нэ надо Фхыда!"

— А знаешь, — сказал папа, когда Зина, наконец, ушла, и мама взялась вываривать ее посуду. — У нее, наверное, скопилась уже порядочная сумма на книжке. Она работает практически каждый день. Питается у хозяев. Я уверен, что она у себя дома даже чай не пьет утром. Одежду она не покупает. Ей этих девятнадцати рублей хватит на все расходы.

6

Папа был совершенно прав. Даже по субботам и в те редкие дни, когда у нее не было работы, Зина тоже не тратилась. Она ходила в гости, посещала

знакомые дома, и там ее кормили: где завтраком, где обедом. За доброту свою хозяева выслушивали в течение двух-трех часов историю про шнедерку, которая пригласила Зину на свадьбу дочери. И даже оставила у себя ночевать, потому что было поздно. Зина не могла уснуть на непривычном месте, но притворялась, что крепко спит, чтобы не огорчать хозяев. "Я нахочно гхомко ххапел! — радовалась своему великодушию Зина. — Люды мни ставылы ночевать. Зина, тэби кохошо? Да, мни кохошо. Мни — кохошо! И ка-ак нахочно — ххапил!"

Вторая история — про то, как сестра Зины выдала свою дочку замуж за инженера, а Зину не позвала на свадьбу — по ритуалу шла вслед за первой. "А мни свадьбы нэ звал. Я сэ хавно нэ будэш ходыть хэта свадьба! Зять — иженэх. Но звать мни надо! Я — сэстха! Я подахык хотил бхать на вэхмак! Я сам нэ будэш ходыть на свадьбы до иженэх! Тэпэх мни нэма сэстха!"

— Мни бильше нэма сэстха!

— У кого же ты теперь держишь свою книжку? — поинтересовалась как-то мама, посвященная в тонкости Зининового финансового уклада.

— Хот! — и Зина гордо достала со дна кошелки свою сберкнижку, сдула с нее крошки, разгладила, но в руки никому не дала. — Я пхосыть кохоший человек, хон мни пыше на бамашки. Я тилькы ставыш кхучок. Мни нэ надо таки сэстха! Мни люды делать бамашки! — И зарыла книжку обратно в сумку, в ее жилые уютные дебри. — Хэто мни на стахось! Я буду стахось, нэ может хаботать. А мни будэ... — И похлопала по боку сумки с хитрым, самодовольным видом. — Мни всэ е! Мни вчеха Фаня давал пальто и платок! Я нэ бхал! — Она покрыла выпуклые глазки тоненькими веками, с достоинством поджала губы: знаю, мол, порядок. — Хай сначала будэ помыхать! "Зина! Я нэ ходыш

бильше на улица. Можно бхать пальто!" Нет. Я нэ бхать! А если она нэ будэш помышать? Хай лучше будэ живая. Хай будэ здоровэньки! Мни есь нова пальто!

— А кто это умер? — насторожилась мама.

— Нихто нэ умэх! — свысока уточнила Зина. — Хэто одын женчина, евхэйка, ехала на Зхаиль. Полны комныта ставил хазны вещи. Я нэ можешь всэ бхать. Хэты далеко йихать, четыхы ахтобусы.

— Где же это она живет?

— На Дахныцы.

— Так туда же метро идет прямо от твоего дома!

— Мни нэ може йихать мэтхо! — оскорбилась Зина на такую мамину забывчивость. — Мни шнэдэхка казав: "Идем, Зина, идем, Зина! Хэто добно!" Я ходила. И мни лестницы ставылы!

— Да-да, я помню! — мама испугалась, что Зина заведется рассказывать, как ее снимали с эскалатора. — Просто жалко, что ты не взяла вещи. Хорошие вещи были?

Зина уклончиво кивнула.

— Мни уси вещи нэ надо. Мни тхудно носить домой. Хона звать хуськи соседи — соседи всэ побхалы. Ничехо. Мни ще хто-то будэш йихать — я будэш бхать. Пальто мни зымне е. Масызонэ е. Хай Фаня лучше будэш здоховэньки! Мни шэ одын евхэйка будэш йихать на Зхаиль.

Такой оптимизм всех очень растрогал. В то время рассчитывать на чей-то отъезд в Израиль было так же легкомысленно, как на выигрыш в лотерее.

7

И действительно, с того дня и до того, как Фаня Лазаревна освободила свое пальто, прошло довольно много времени, но ни одна известная Зине еврейка в Израиль не уехала и советский свой гардероб Зине не передала. Это было тем более

печально, что ей не досталось и законно ожидаемое бостоновое пальто с чернобуркой. Сестра Исаака Давидовича, мужа Фани Лазаревны, вызванная из Одессы телеграммой, явилась в этом пальто на похороны. А также в полосатом китайском шарфе покойницы. Зина даже плакать забыла при виде такой наглой несправедливости. Даже в гроб не заглянула: не могла оторвать взгляда от законного своего достояния, уплывающего на глазах у всего народа. И по дороге с кладбища еще надеялась, что кто-то вмешается. Поджимала обиженно губы... Но на нее не обращали внимания. Решались проблемы более серьезные. Племянники Фани Лазаревны по монументальной скорби теткой золовки сразу поняли, что ни о каких "знаках памяти" не может быть и речи, и поэтому спешили вместе с материальными ценностями оставить ей и все хлопоты, связанные с уходом за беспмятной тенью дяди, за вечно юным братцем Люсиком и запущенной квартирой. Что ж, деньги зарабатывал дядя, а они ему — никто, а раз никто — то и помощи ждать от них нечего. Для непосвященных это выглядело так: они по очереди нагибались к ней для поцелуя и с глубоким чувством говорили, что Циля — ее звали Циля — взвалила на себя тяжкий крест.

После похорон родственники распрощались у парадного, и Циля вернулась домой хозяйкой, а Люсик, с детства настроенный против тетки, — мелким диверсантом. Зина потащилась за ними и попила на кухне чаю с бутербродами. Она сидела тихо, удивляясь, почему квартира стала вдруг такой чужой, и ни разу не упомянула о глистах. Уже одетая, долго топталась в дверях, ждала чего-то, поглядывая на утраченную чернобурку. На лестнице черного хода Зина остановилась, чтобы потуже завязать платок, и там ее догнал Люсик. Глаза у него были все еще опухшие и красные от слез, но с ухмыляющейся губы готовилась капнуть злорадная слюнка.

— На, — сказал он, — бери быстро и тикай!

Зина без благодарности приняла из его рук рыхлый узел. Судя по весу, пальто там не было, а остальное ее не интересовало. Однако на пути к трамваю ее разобрало любопытство, она решила зайти к припадочной Фирке и там разглядеть свои обновки.

В узле оказался большой оренбургский платок (Зина с самой войны не видела его на Фане), две пары шелковых штанов с магазинными бирками, старая шерстяная кофта, платье с подпоротой талией, толстые пуховые варежки и тяжелые янтарные бусы, густо золотистые, будто вытащенные из алычового варенья. Так себе, конечно, но от Люсика и этого никто не ждал.

Фирка прикладывала к себе каждую вещь, вытаскиваемую из узла, кривила перед зеркалом брезгливое от природы лицо. А Фиркина мать, слоистая и неподвижная, как древесный гриб, приросший к своему мятому диванчику, каждый раз повторяла: "Фирка молодая, Фирке все идет!" Зину это очень волновало. Она даже отказалась было пить чай, но потом передумала: темнело, ей пора было ехать домой, а Цилиными бутербродами Зина не очень-то и наелась. Фирка тоже не отличалась особой щедростью, но тут вдруг размахнулась на яичницу из двух яиц. Зина решила: если Фирка попросит, она отдаст ей одну пару штанов.

— Ты где завтра работаешь? — поинтересовалась Фиркина мать.

Где? А Зина и забыла в хлопотах и разочарованиях прошедшего дня. И засуетилась.

— От кохошо! От кохошо, шо мни помныла! От мни голова — два уха! На! Читай!

Фирка стала разбираться в записочках.

— В четверг ты будешь делать стирку у Остров-

ских. В среду работаешь у Раи... (Зина кивала.) На тот понедельник идешь к Тамаре.

— Хэты не надо, — перебила Зина, — хэты я сэ хавно забудешь! Мни надо на завтха.

— На завтра... — Фиркино лицо совсем скривилось набок от старания. — На завтра ничего нет.

— Як хэто? — растерялась Зина. — На чеха — нэма! На завтха — нэма!

Она быстро задышала, засопела покрасневшим носом.

— На пхошлы неделя тхы хаз было нэма хобота. Усэ. Мыхать поха. Надо мыхать! Фаня помэхла, и мни надо помыхать! — и, наконец, заплакала. Впервые за день.

— На что тебе столько денег? — стала ее сварливо утешать Фирка. — Ты одна. Детей у тебя нету. Посидела бы пару дней дома, отдохнула!

— Мни нэ можно дыхать! — набросилась на Фирку Зина. — Мни нэма диты. Мни нэ надо было давать вси диты. Шо мни будэ стахось? Постахэлый дом мни будэ!

— А что ты думаешь: в престарелом доме люди не живут? — не сдавалась Фирка. — На всем готовом! Сидят себе. Им кушать дают по часам! Телевизор показывают! А ты что? Бегаешь туда-сюда с одной хаты на другую. Гнешься целый день головой вниз!

— Мни есь свий дом! Мни е хобота! — гневалась Зина. — Мни на постахэлый дом лучше вмыхать. Мни там будэ заставыть вбыхать гохшок и гхазны пхостынь!

— А что страшного, если ты уберешь с-под калеки горшок?!

— Я нэ хочешь! — просохла от возмущения Зина. — И хоопче... — Она замолчала и со значением закивала головой, показывая, что главный аргумент оставляет при себе. Но Фирку этот невысказанный аргумент убедил.

— Ну хорошо, — сказала она. — Придешь ко мне в пятницу, я сниму белье. Рано еще, но пусть уже...

— Ладно. — Зина немедленно сдвинула брови с таким видом, будто ее долго упрашивали. — Пхыду рано з утха. А завтха я посмотриш до Цили. Може, стахыку уже гхазны постель.

И вспомнила.

— Жалко Фани. Пхавда? Лучше стахык мыхать! Знаешь чехо лучше? Бо ему голова — пф-ф...

И повертела пальцем у виска.

Фирка эту тему не поддержала. У нее у самой в молодости бывали приступы эпилепсии. А муж Фиркин так и вовсе в психбольнице лежал после войны, потому и женился на малограмотной.

Зина поняла свою оплошность, но виду не подала и стала степенно собирать в узел разбросанные вещи. Старуха провожала их печальным взглядом. Штанов у Зины не попросили, и она с облегчением сунула их в узел. Ей самой нужны штаны. Это когда еще кто-то умрет или уедет в Израиль! А ходить-то в чем-то надо? Не станет же Зина снимать деньги с книжки, обворовывать собственную старость ради Фирки. У Фирки есть муж. Хоть и старый, и согнутый пополам, а семью кормит. Бегает, как муравей, с ящиками на спине... Когда он умрет, Фирку будут кормить дети...

Выходя из Фиркиного парадного, Зина столкнулась с Фиркиным стариком. Она впервые увидела его без грузчицкого фартука и рабочей кепки.

— А-а, Зина, здравствуй! — прошелестел он своим сорванным голосом.

Зина чуть было не кивнула ему пренебрежительно, как поступали все Фиркины приятельницы, но вспомнила вдруг, что и он из хорошей семьи, и чинно поздоровалась:

— Дхасте вам!

— А я как раз хотел тебя видеть!

Зина пожевала польщенно.

— Ты, Зина, зайди как-нибудь в синагогу. Можешь даже завтра зайти. Я там поговорил. Они тебе дадут двадцать рублей.

Зина хотела расспросить поподробнее, но к старику подошел мужчина в большой меховой шапке, и Зина побоялась говорить при постороннем о синагоге и деньгах. Но старик ничуть не смутился и продолжал.

— Там есть такой Мойше. Толстый. Ты увидишь, он возле входа сидит. Скажешь: "Я от Жириновского." — И тут же стал объяснять подошедшему: — Это одна семья в Израиль уехала. (Зина подумала, что Фирка права: он действительно дурак. Чужому человеку сказать такое слово!) Зажиточные люди. Там большая сумма осталась, и они ее отдали в синагогу для одиноких стариков.

— Какая же она старуха! — крикнул мужчина одобрительно, оглядывая Зину. — Пошла бы куда-то нянечкой или уборщицей. Зачем ей какая-то милостыня?!

— Мни была дэцька болесь! — отстояла свои права Зина. — Я нэ бхать дахым деньги! Мни есь хобота!

— Она у людей убирает, — уважительно прибавил старик.

— Послушайте! — обрадовался мужчина. — Мне вас бог послал! Мы на новую квартиру перебираемся, там страшная грязь! А у Доры — приступ за приступом!

— Дэ хэто?

— Гончаровка. Знаешь?

— Як туды йихать? Я нэ може йихать на мэтхо!

— Не можете — не надо! Приезжайте на автобусе. Отсюда доберетесь с двумя пересадками.

— Ей сюда еще час добираться, — пожалел Зину старик, — а метро она боится.

— Жалко, — развел руками мужчина. — А то бы

я ей такую клиентуру сосватал! Из нашего главка семь человек получили квартиры на левобережье, но туда без метро не доберешься.

— Евхэи? — на всякий случай уточнила Зина.

— Какая разница? — удивился мужчина. — Украинцы, русские.

— В хуськи я нэ хобыш!

— Чего это?

— Нэ хобыш — и всэ! Мни будэ звать убыхать на субботы! Мни будэ сало давать!

— Господи! Не иди в субботу! Кто тебя заставляет? Не ешь сало!

— Нэ пиду — и всэ! — всем телом уперлась Зина, будто ее тащили в метро.

— Так ты далеко не уедешь. Где ж тебе столько евреев набрать? Да, Ефим Наумович, вы слышали? Глузман собирается уезжать!

— Не может быть!

— Его уже исключили из партии!

— А кто примет кафедру?

— Не знаю. Похилько, наверное.

— Похилько толковый, — кивнул старик. — Я у них читал в тридцать девятом химию твердого тела.

Мужчина помолчал. Он искал, как повернуть разговор в нужное русло. Наконец решился без подхода.

— У меня к вам просьба, Ефим Наумович. Я ищу по всему городу боржом. Это для Доры — единственное спасение. Может, у вас на складе есть? Мне бы хоть несколько бутылок!

— Никак не могу! — смутился старик. — Наверное, где-то держат для начальства, но мне не попадался.

— Божом! — удивилась Зина, не понимая, что у них за проблемы. — У мни на дом пыцальный махазын. Там повно божом!

Мужчина даже шапку столкнул на затылок от радости.

— Где это? Как туда ехать?!

— Надо сесты на дэвятку — тхамвай. Ехать долго. Пока будэ будкы...

— Знаешь что, — сообразил мужчина, — давай-ка я с тобой подъеду, еще должно быть открыто.

Зина согласно повела головой и плечами. Она на глазах расцветала от чувства собственной значимости и очень сердилась на Фиркиного старика, который их задерживал, хотел похвастать детьми, а дети все не ехали со своей музыки. И когда они, наконец, вышли из подкатившего трамвая, Зина еле удержалась, чтобы их не отругать.

— Знакомьтесь, дети, это Михаил Маркович, мой бывший ученик.

Михаил Маркович потрепал парня по плечу, а девочку с беспородным, будто из сырого теста вылепленным лицом назвал красавицей. Он видел, что и для старика, и для детей это явно значительное событие, и ему почему-то стало стыдно. Вспомнил старика на кафедре, его тихий изящный юмор, вспомнил трех девочек, заглядывающих в отцовский кабинет: головка над головкой, зеленые глазки, обведенные угольными дужками ресниц... Ужасная трагедия! Главное — у этих такие же глаза, но какая громадная разница! То были дети профессора, а эти — дети грузчика... Хорошо хоть нормальные получились!

Михаил Маркович поспешил распрощаться, поскорее уйти из тягостной для него, чужой жизни. Но жизнь эта двинулась за ним следом, сопровождая в виде задастой коротышки, ковыляющей в стеганых валенках. Ему вдруг пришло в голову, что это сестра его бывшего учителя, а он с ней так... фамильярно... Может, у них в семье — наследственное заболевание, а горе было для Ефима Наумовича только толчком?

Михаил Маркович как можно деликатнее подсадил Зину в трамвай и, поколебавшись, все же опустился рядом с ней на свободное сидение.

— Вы случайно не родственница Ефиму Наумовичу?

— Не, — тут же подхватила Зина светский тон. — Мни папа был хлавный начанык. Мни вси ходычы побылы. На война.

— У Ефима Наумовича тоже вся семья погибла.

— Мни хуже побылы! Мни немцы побылы. А ему побылы бомба. Тоже похано. Пхавда?

Зина с большим интересом наблюдала за тем, как видный мужчина в большой шапке берет ей билет. На мгновение примерещилось прошлое. Почудилось, будто сейчас он сделает ей знак глазами и куда-то поведет, но она не ощутила ни трепета, ни нетерпения. Тело ее молчало, и Зина уважительно прислушивалась к этой тишине.

Он больше не заговаривал с ней. Зина видела, как женщина, стоящая в проходе, удивленно поглядывает в их сторону. С переднего сидения прямо в лицо Зине смотрела маленькая усталая девочка. Зина выставила губы биноклем и пфукнула. Девочка показала на секунду редкие зубки. Михаил Маркович утер щеку...

Зина порылась в своем узле и освободила оттуда алычовое ожерелье Фани Лазаревны.

— На. Бэхи.

Девочка протянула через отцовское плечо влажную ручку и, стесняясь, потащила ожерелье к себе.

— Хай гхається! — подмигнула Зина Михаилу Марковичу.

Михаил Маркович смотрел в окно. Было уже совсем темно. Он боялся, как бы Зина не пропустила свою будку, заигрывая с чужим ребенком. Жалел, что не додумался позвонить жене. Кто же знал, что придется тащиться в такую даль! Но это естественно: в центре боржом не простоял бы на прилавке и пяти минут.

— Нам еще долго?

— Не-е, — обрадовала Зина. — Он — бачиш? Уже видно будкы.

Впереди одиноко пропадаящая в чернильной тьме, несколько раз обведенная серебряными кругами рельсов светилась диспетчерская будка.

— Там хоть много его было? — беспокоился Михаил Маркович, пока трамвай аккуратно объезжал будку по самому широкому кругу.

— Полно! — беспечно махнула рукой Зина. — Там полно сякий божом! Мыгоходски, бэхэзовски...

— Зачем мне миргородская? — так и взвился Михаил Маркович. — Мне боржом нужен!

— Мыгоходски, — терпеливо наставила его Зина, — хэто тожэ божом.

8.

Михаилу Марковичу было жаль потерянного времени, но как человек, стремящийся из любой ситуации извлечь пользу, он написал Зине очень подробную записку: адрес, номера трамваев и троллейбусов, названия остановок. Такая была толковая записка, что назавтра же Зина без труда добралась до новой квартиры Михаила Марковича, на другой конец света. Прохожие попадались как один уважительные, читали, не торопясь, терпеливо объясняли, куда свернуть и где выйти. Зина была довольна, что изменила свои планы и не отправилась к Циле, тем более, что Цилия и не звала.

Жена Михаила Марковича приняла Зину с шумной радостью. Она не думала, что есть еще такие женщины, которые приходят в дом на целый день, — не то что студентки из бюро добрых услуг с отдельными квитанциями на мытье стекол и мытье рам. Правда, стекла и рамы Дора Борисовна вымыла сама, Зине не доверила: побоялась, что та выпадет из окна. Сама и занавеси повесила. А потому так и не узнала ничего о русской невестке. Зато она

хорошо усвоила все, что касалось миргородского дома и мужа, испортившего Зину. Пол был очень грязный, весь линолеум затоптан глиной и заляпан чем-то белым, что снова и снова проявлялось, как только высыхала вода. И Зина с гневом выкручивала тряпку, с гневом повторяла:

— Хэто мни муж спохтыл! Я была чесны девушки!

В какой-то момент Доре Борисовне показалось, что от настойчивого ритма Зининой речи у нее начинает кружиться голова. Но что делать? Бок-то болел на самом деле и не давал нагнуться. Поэтому Доре Борисовне пришлось терпеть и не слишком высокое качество работы, и мечтательный ее ритм, и рассказы о какой-то Фане, у которой родился зверь с волосатой пипкой. Зина выгребала из-под ванны куски штукатурки и каждый раз совала полное ведро Доре Борисовне — полюбоваться.

— От! Смотхы! Я все делать по-хозяйски!

Дора Борисовна откликалась чуть рассеянно и, чтобы не обидеть Зину, ссылалась на свой бок.

— Ха-а... — сочувствовала Зина. — Хэто надо хэзать хопэхаций! Хэтый духак Люсик не делать хопэхаций — и все. Пф-ф... А мни делать хопэхаций! Знаешь, шо мни было? Мни мучыны... — она подвигала ртом и бровями. — Понимаешь? Когда мни бачыв мучына, я становыся а хойт!* И все! Вин уже знаешь! Ходыв за мни! А тэпэх мни хобылы хопэхаций — и все! Мни сэ хавно! Хон возле мни, мучына — а мни сэ хавно! Мни вин нэ надый!

Этот монолог, как всегда у Зины, сопровождал стирку.

К середине дня Дора Борисовна уже довольно много знала о Зининой жизни. Попыталась даже кое-то уточнить. Куда, например, делся муж, жив ли. Были ли у Зины материнские чувства к новорожденным

детям. Зина не понимала ее сложных выражений, но, как могла, поддерживала беседу.

— Надо было одын хабоньк бхать с больница, ставыть соби!

Она и про глистов рассказала, потребовала для себя отдельную посуду. Дора Борисовна дала и села есть с Зиной за одним столом. Зине это очень польстило. Но вечером Дора Борисовна накрыла ей отдельно. Не выдержала. Она не была брезглива, но не выносила громких проявлений человеческой физиологии. Зина же с большим воодушевлением относилась ко всякому звуку, производимому ее организмом, и обязательно его комментировала. Обкормленная супом, селедкой и голубцами, она дико икала, рыгала, урчала животом и еще призывала всех подивиться.

— Ы-ык! Ого! — и радостно искала свидетеля.

Михаил Маркович, рано возвратившийся с работы, очень серьезно поддерживал это ее восхищение. Каждый раз вздрагивал и разводил руками.

— Ну и Зина! Ну и реб Зина!

Зина стала семейной достопримечательностью Эппельбаумов в течение одного дня. В тот же день сложился и полный ритуал этих взаимоотношений. Михаил Маркович шутил, советовал Зине заниматься спортом, купить место в синагоге, как бы по забывчивости предлагал ей ветчину... Зина качала головой, призывая Дору Борисовну в свидетели чудачеств мужа, и подмигивала с ласковой снисходительностью: "От духнык!". Дора Борисовна делала вид, что мужнин юмор ей докучает, заводила к потолку воловьи глаза, пожимала монументальными плечами. Их сын, студент, наблюдал все это как бы извне, как бы в кино, улыбался, но в разговоры не вступал, за что Зина его очень уважала. Его письменный стол внушал ей трепет, она боялась коснуться без разрешения любой бумажки, даже если

* Красный (искаж. евр.)

на этой бумажке лежали виноградные косточки или качан от яблока.

У Доры Борисовны не было заведено дорогие продукты покупать исключительно "для ребенка". Все, что имелось в холодильнике, раздавали домоладцам и гостям. Многие Зина попробовала впервые, например, сыр рокфор, брюссельскую капусту, хурму. По большей части все это ей не понравилось. От хурмы так просто чуть не умерла, кусок застрял у нее в пищеводе. Дора Борисовна хотела уже бежать за скорой помощью...

Однажды, после какого-то праздника, она угостила Зину бутербродом с красной икрой. Но не удивила ее. Зина ела икру у Фани Лазаревны, когда та была еще здорова и считала праздником каждое воскресенье. У Фани Лазаревны икринки лежали куда гуще.

Зато Дора Борисовна гораздо больше платила за работу. Когда она в день знакомства спросила Зину, сколько ей надо заплатить, Зина что-то вдруг смутилась, пролепетала: "Скильки даешь!" А Дора Борисовна дала десятку. Зина даже расстроилась. Так стало жалко, что только теперь она познакомилась с Дорой Борисовной! Сколько времени пропущено, сколько утеряно денег! И это при том, что окна хозяйка мыла сама. Последнее, правда, задевало Зину. Она уже не очень уверенно чувствовала себя, влезая на подоконник, но каждый раз ей казалось, что это случайность. Опытная Дора Борисовна считала, что у Зины начинается гипертония, и предупреждала об этом приятельниц, которым ее рекомендовала.

То был очень счастливый период в жизни Зины. Она чувствовала себя так, будто помолодела. Или вышла замуж в хорошую семью. Прошлое казалось поблекшим, а, может, и постыдным в чем-то. Фирка

вечно придиралась, что стекла не блестят, Фрида торопила: "Быстро, быстро!" Да и все прочие хороши! Кто из них давал десятку за постирушку и вымытый унитаз?

Зина почти перестала ездить к старым клиентам. Разве что иногда, по субботам, в гости. Тянуло все же на старые места, хотелось знать новости. Новостей там было как-то больше. Выбралась даже к этой самой Циля, что забрала ее законное пальто.

9

Зина чуть не прошла мимо дома Фани Лазаревны: его перекрасили в зеленый цвет, а возле парадного стояли незнакомые люди. Она побаивалась: вдруг и в квартире уже поселились чужие? Но протыканную дверь ей открыл Люсик. Пальто с чернобуркой висело на рогатой вешалке. Новое, будто никто его и не носил. Циля вышла ей навстречу и удивленно поприветствовала:

— А-а! Ты. Мы уже думали, что ты ушла в дом для престарелых.

— На шо мни дом постахэлый! — свысока огрызнулась Зина. — Мни есь бэхкныжка! Мни есь завтха хобота! Хай ходит на постахэлый дом, кому нэма бэхкныжка!

— Еще работаешь? — подняла желтеющую бровь Циля.

— А шо мни! — небрежно отпустила Зина, разглядывая с интересом Цилину табачную седину, платье, обвисшее на отощавшей фигуре, чернеющую пустоту буфетных полок, свободный угол кухни с продавленным квадратом линолеума на том месте, где стоял холодильник, печку, зачем-то раскуроченную под самым потолком.

Циля наложила в две тарелки картошку с луковой подливой и тефтелями. Одну придвинула Зине, другую, сердито, Люсику — и гаркнула:

— Ешь!

— Не хочу! — злобно огрызнулся Люсик и оскалил остатки желтых зубов. Из-под его пегих волос просвечивала розовая кожа.

Зина опустила глаза и стала аккуратно есть, не отводя глаз от тарелки.

— Не хочешь — не жри, сволочь! Отец умрет — я дня здесь не останусь!

И Циля с третьей тарелкой ушла в спальню, к старику.

О том, что старик жив, Зина сразу догадалась. По запаху. Сквозь оставшуюся открытой дверь было слышно, как Циля усаживает его в постели.

— Будем кушать? Да, Исачёк? Будем кушать! — повторяла она изменившимся голосом, как уговаривают грудного ребенка. — Открой рот, Исачёк! Ну! Открой!

Люсик злорадно усмехнулся.

Тефтели были вкусные. Не хуже, чем у Доры Борисовны. Зина съела бы с удовольствием и порцию Люсика. Поймав себя на этом постыдном желании, она насупилась и отчитала его:

— Кусны тэхэли! Надо йисты!

— Не хочу! Не надо мне ее еды! Я сам себе куплю, что захочу!

— Дэ тоби деньги бхать? Пэнций? — недоверчиво поинтересовалась Зина.

— Идем, покажу!

Он провел ее в ванную. Там воняло, как на заднем дворе водочного магазина. В воде откисали ветхие простыни. На полу горой были навалены бутылки.

— Пойду и сдам их — будут деньги! Ясно? Заняла тут все своими тряпками! А на кухне мыть не дает!

— И пхавильно. Хоны гхазны.

— Ничего-ничего! — гнул свое Люсик. — Я ей покажу! Мама правильно говорила, что она меня обворует! Продала, гадина, новый холодильник! А деньги своему Гришке в Одессу отправила!

Он брезгливо отодвинул на одну сторону белье и в освободившемся месте стал мыть бутылки.

Зина побоялась, что Циля заподозрит ее в сочувствии такому непотребству, и поскорее ушла. Села на свое место ждать чай. Из ванной доносился плеск воды, из спальни — усталое нытье Циля.

— Исачёк, проглоти! Ну! Глотни! Глотай, я тебе сказала!

Зине было скучно. Она взяла с подоконника гнутую ложечку. Покрутила ее в руках, сунула в карман, снова стала слушать Цилю.

— Исачёк! Ну глотай же! У меня же столько дел! Пожалей меня, Исачёк! Это же я, твоя Сицилия! Помнишь, Исачёк, как ты купал нас в корыте? Ты же меня вырастил, Исачёк! Ты же мне был братом, и отцом, и матерью, Исачёк, что же ты теперь рвешь с меня куски?! Глотай, я говорю!

Зина вздохнула и вернула ложечку на место. Чаю решила не дожидаться. Натянула валенки, повязала косынку, платок.

Люсик приковылял на кухню, брякнул бутылками.

— Уходишь? Подожди меня. Вместе пойдем.

Зина кивнула. Он долго шнуровал свои гнилые, свороченные на стороны ботинки. Зине становилось жарко. И все скучнее слушать Цилю.

— Помнишь, как ты говорил, Исачёк? "Будешь, будешь артисткой, Сицилия!" Ну! Глотни же!

Зина заглянула в спальню, чтобы попрощаться. Старик сидел к ней лицом и неподвижно смотрел прямо в глаза. Голые мертвые ноги ровно свисали с кровати, рубаха на груди была заляпана соусом. Циля легонько похлопывала его по втянутым щекам.

— Глотай, Исачёк! Глотай! — и вдруг громко, так что Зина вздрогнула, заревела: — Когда же ты уже сдохнешь?! Когда ты меня освободишь?!

Люсик беззвучно хихикнул и одобрительно подмигнул старику. Он был уже в пальто, большом и замызганном, и в гаденькой ушанке.

— Бувай мни здоховэньки! — сказала Зина в спину хозяйке, не дождавшись паузы.

— А-а, ты уже идешь, — обернулась Циля. — Ну, заходи, не пропадай больше. А ты, — закричала она вслед уходящему Люсику, — чтоб не смел больше тащить в дом всякую заразу! Так и знай, я тебя на порог не пушу, если увижу у тебя бутылку!

— Пошла ты...

— Я тебе покажу "пошла ты"! Посмотри на себя, гадость ты такая! С тобой же противно рядом стоять! С тобой же даже Зине стыдно пройти по улице!

Люсик хлопнул дверью, будто заехал тетке по губам.

Зина спускалась за ним, польщенная Цилиными словами.

— Надо познать, дэ человек помыхал! — сказала она наставительно. — Можно бхать пальто!

Люсик шарахнулся от нее в сторону. Не обиделся. Просто заметил бутылку под лестницей, в сомнительной луже. И, не протерев, сунул в карман.

— Хона побытая, — успела разглядеть Зина.

— Фирма знает свое дело! — весело засмешал Люсик. — Видишь? — показал он Зине два куска сургуча: коричневый и белый. — Я его растоплю и накапаю на горлышко. Эти две тоже были щербатые, — ткнул он пальцем в свою сетку, — а я их починил. Ты попробуй найди целую бутылку! Целую бутылку любой возьмет. А такие никто не подбирает. Потому что дураки!

Глаза у Люсика светились хитро и весело, как, бывало, когда-то у старика. Он тут же и сдал свои бутылки в угловом гастрономе и на все деньги купил конфет "Косолапый мишка". Такие всегда лежали на столе у Фани Лазаревны. В хрустальной вазочке.

— Бери, угощайся! Мы не жадные! — приговаривал Люсик, булькая шоколадной слюной.

Зина взяла одну, но не стала есть на улице, припрятала.

— Мни нэ любыш кофэты. Я будэш шас ходить до Фихкэ. Будэш малойкэ давать.

— О! Здрасте! Вспомнила про Фирку! Они уже давно переехали на новую квартиру!

— Куды?

— На кудыкину гору! — расшутился Люсик. — Таким в центре квартиру не дают. Загнали на самый край Оболони!

Зина расстроилась. Оболонь находилась очень далеко. И добраться туда без метро было невозможно. Даже с запиской Михаила Марковича.

10

Зина не очень-то доверяла Люсику и на всякий случай сходила к Фиркиному дому. Дом стоял пустой, чернели ряды выбитых окон. Зине стало так жалко, будто Фирка умерла со всеми своими домашними. Да Зина и не видела особенной разницы. Шнедерка тоже переехала на Оболонь, и с того времени Зина ни разу не навещала ее. И не встречала никого, кто мог бы рассказать, жива она, или диабет ее уже доконал. С Фаней и то выходило лучше: знаешь, что Фаня умерла — и не скучаешь по ней. Обходишься без Фани. Тем более, что вместо нее появилась Дора Борисовна, которая и сама здоровее Фани, и муж ее не плачет и не ходит по дому без штанов, и сын не чета придурковатому Люсику. А Фанины знакомые?! Торговались, всегда старались заплатить поменьше! И кормили хуже, не то что подружки Доры Борисовны. Те даже с собой давали. Зина отказывалась для вежливости, а они от этого становились еще щедрее и настойчивее, и глаза у них блестели.

Одна из них научила Зину ходить в парикмахерскую. А то Зина просто растерялась, когда шнедерка переехала на Оболонь. В парикмахерской Зине понравилось. Ее, как царицу, накрывали белой просты-

ней, а волосы выметала уборщица. И спина потом не чесалась, как бывало после шнедеркиной стрижки.

А главное, они придумали совсем уже замечательную вещь: Зина теперь не должна была без конца наведываться к ним, интересоваться, нет ли работы. Они узнали ее адрес и стали посылать письма. Насупленная от ответственности, Зина доставала такое письмо из своего почтового ящика, спускалась на улицу и ждала, пока мимо не пройдет человек, внушающий доверие. Зина останавливала его, и человек читал ей незамысловатое послание: имя хозяйки, день, когда Зина должна явиться, номера автобусов и названия остановок.

Правда, система эта имела и свою отрицательную сторону. Раньше случалось, что Зина заходила в дом, где никто не собирался делать уборку или стирать. Устраивалась на своем обычном месте, ревниво шарила взглядом по углам, под шкафами. Намекала, что, дескать, ванна не очень блестит... Ну и находили для нее какую-нибудь работу. А нет — так тоже ничего. Посидишь, с людьми поговоришь. Как-то веселее жилось.

Подруги Доры Борисовны, хоть и платили больше, и давали с собой еду, но беседовать не любили, разговоры о Зининой сестре и свадьбе не поддерживали. Не могло быть и речи о том, чтобы в субботу заявиться к ним в гости. Зина и не ходила, понимала приличия. Да и интересы особого не было: ничего она не знала ни об их семьях, ни о родственниках. И родственниками Зины они не интересовались. Не то что Фаня. Или Ида Козеровская. Или Муся, которая жила возле мебельного магазина.

У подруг Доры Борисовны имелся и другой недостаток: они как-то не умирали. А Глузманша, хоть и уехала в Израиль, но пальто ее на Зине не сходилось.

Поэтому-то Дора Борисовна и заговорила тогда о новом пальто.

— У тебя же есть сбережения, Зина. Давай я схожу с тобой. Купим недорогое приличное пальтишко.

— Хоно сэ хавно будэ хватсья!

— Потому же у тебя все и рвется, что старое. А новое ты будешь носить долго. И сидеть оно будет на тебе по-человечески.

— Мни нэ можно бхать деньги на бехкаса! Мни нэ будэ на стахось! Бехкаса — хэто мни на стахось!

— Ну что ты волнуешься! — подсадовала Дора Борисовна. — Никто же тебя не заставит снимать деньги, если ты сама не захочешь! Давай посмотрим, сколько там у тебя. Может, хватит и на старость, и на пальто.

Это рассуждение заинтересовало Зину. Ей очень не хотелось доставать книжку, но любопытство перевесило. До того самого момента она не додумалась у кого-нибудь спросить, хватает ли ее денег на старость.

Она вручила серую мятую сберкнижку Доре Борисовне и снова предупредила:

— Мни нэ можно бхать! Мни будэ мало на стахось!

Дора Борисовна заглянула в конец. Книжка была вся густо исписана, но последняя сумма... Да. На старость и на пальто ее точно не хватало. Дора Борисовна даже удивилась. Она предполагала обнаружить нечто гораздо более солидное. И обнаружила, пролистнув несколько страничек. Выходило, что месяцев пять назад Зина сняла со своего счета двенадцать тысяч пятьсот рублей.

— Ты летом брала с книжки деньги? — осторожно поинтересовалась Дора Борисовна.

— Не, — твердо отрезала Зина. — Мни е на жизнь пэнций. Мни двадцать хубли давал синагогы. Мни

нэ надо бхать на бехкаса! Хэто мни всэ будэ на стахось!

— Ты подумай! — настаивала Дора Борисовна, — вспомни. Может, кто-нибудь ходил с тобой... Сестра, например.

— Мни ништо нэ ходыл! — начала сердиться Зина. — Мни нэ надо сэстха! Я сам ходыш на бехкаса!

— Но как же ты заполняешь ордер?!

Зина усмехнулась тонкой треугольной улыбкой.

— Мни пхосыть кохоший человек. Хон мни пышэ бамажки. А кхучок мни делаешь сам. Мни нэ надо сэстха! Хона мни свадьбы нэ звал! Мни нэма такой сэстха! Мни кохоший человек делать охдэн.

Дора Борисовна кивнула и потянулась за вали-долом.

Где-то ходят, бродят по свету сотни хороших людей, заполнявших Зине приходный ордер. И никто из них не помнит ее. Кроме одного — того, кто перевернул бумажку на красную сторону. Неизвестно, какую он носит шляпу, зато можно предположить, что живет он на Зининой даче и ездит на Зининой машине. Но если на даче ему неуютно, а машина приносит одни неприятности, или, хуже того, на Зинины деньги спился его единственный сын, как это случилось с куда менее виновной Цилей, — то пусть знает, что Зина здесь ни при чем. Пусть он на нее не сердится, пусть ее не винит: Зина его не проклинала. Она спросила у Доры Борисовны: "Ну, як? Хватит на стахось?" И Дора Борисовна ответила бесцветным голосом: "Хватит".

У Доры Борисовны было достаточно своих неприятностей. Сын женился на очень симпатичной девочке, а эта девочка ни с того, ни с сего надумала ехать в Америку. Дора Борисовна только что отремонтировала квартиру! Обложила югославским кафелем кухню и санузел! Но не могла же она опустить ребенка в такую даль одного! А ко всему

еще врачи настаивали на удалении желчного пузыря. До Зины ли тут? Другая и вовсе перестала бы с ней возиться. Толку от Зины уже не было никакого. Газовую плиту могла тереть полдня. И не умолкала ни на минуту. А главное — у нее было такое высокое давление, что каждый чувствовал себя преступником, пользуясь ее услугами. Когда она сгибалась — по-лрежнему легко, как тряпичная кукла — лицо ее так буро краснело, что приходили мысли об инсульте. Никому не хотелось, чтобы эта катастрофа произошла именно в его доме.

12

Ничего такого Зина не понимала. Просто она видела, что работы становится все меньше, и с поздними угрызениями совести бросилась искать старых клиентов. Но и те куда-то подевались, а найденные не спешили ее приглашать.

Как-то раз бывшая соседка спросила у мамы, можно ли дать ей наш новый адрес. Мама обрадовалась: у сестры только что родился ребенок, накопилось множество домашних дел. Но, увидев Зину, она сразу поняла, что это уже не выход. Мама покормила ее. Послушала про Миргород, про то, что какая-то Дора Борисовна уехала в Америку и увезла с собой шубу.

— Ничэхо! Сэ хавно хона мни большая. А шнэдэха нэма, чтоб спхавыть.

— Тоже уехала? — посочувствовала мама.

— Да. На Болонь. Все поехали, — библейским речитативом проговорила Зина. — Кто на Болонь, кто на Зхайль. Нэма больше хабота. Надо вмыхать!

Мама дала ей пятерку. Зина не решалась взять, но мама сказала ей, что это — "ганэйдер". Вот дочь, мол, благополучно родила, так что Зине причитается...

Зина приняла новые правила игры. И даже не-

сколько злоупотребляла этим. Являлась часто — и с порога спрашивала, не произошло ли у нас какое-нибудь радостное событие. Принимая деньги, слегка ломалась для благочиния, хотя мы давно уже знали, что она собирает милостыню возле синагоги.

Вскоре в наш район провели метро, и все автобусы перестали ездить к нам из центра. Примерно тогда же побирушкам запретили просить возле синагоги. Они перебрались на еврейское кладбище. Среди них видели и Зину. Говорили, что она очень сдала, но на жизнь ей хватает. "Ей богу, вы так не зарабатываете! Люди едут, деньги все равно пропадают — так почему же не подать несчастному?"

13

К новой полосе везения Зина отнеслась с недоверием. Знала уже, что всякое везение кончается плохо. И терпеливо ждала краха.

Кладбище умирало на ее глазах. Редела воскресная толпа посетителей. Когда желтый автобус с черной полосой въезжал в ворота, попрошайки поднимали головы. Некоторые из них отправлялись смотреть на похороны, как на редкостное зрелище. И все выше поднималась летом трава, так что осиротевшие еврейские могилы пропадали в ней, как в Миргороде пропадали упавшие с деревьев яблоки. Пошли слухи, что на кладбище повадились хулиганы, где-то разбили памятник, у кого-то забрали сумку. Попрошаек становилось все меньше: то ли тоже поумирали, то ли ушли на другое место. Остановку третьего автобуса перенесли, и для того, чтобы попасть на кладбище, надо было переходить опасную дорогу. Зина присоединялась к пешеходам, ждущим у светофора, и ковыляла за ними, но усталые ноги будто вязли в болоте, она отставала, оказывалась одна меж двух потоков злобно рычащих автомобилей.

Пришлось перебраться на новое кладбище. Ездить туда было ненамного легче, но зато там всегда были люди. Автобусы ползли нетерпеливой вереницей вдоль главной аллеи, как желтые жуки. Женщины в черных платках проходили мимо Зины. С лейками, с лопатами, с пучками рассады в газетах. Зина даже запоминала некоторых в лицо. Были такие, что всегда подавали ей, и Зина радовалась их появлению. Она уже знала тонкости кладбищенской психологии. Вот две женщины познакомились, ездят вместе. Эти будут ходить каждую неделю. А та, заплаканная, скоро перестанет. Ну и пусть. Все равно она не подает. Зина не клянчила, полагала, что никто ей не обязан. Из всех местных она одна была еврейка.

Особенно неуютно она чувствовала себя на пасху: было неловко принимать праздничные гостинцы, предназначенные не ей. Протягивая руку за подаванием, она опускала глаза и всегда была готова к тому, что ее пропустят. А то бы ей нравился этот праздник. Пестрая скорлупа в молоденькой травке... Зачерствевшая ванильная сдоба, утыканная коричневыми изюминами... Хотелось тут же и съесть ее на солнышке, на радостном весеннем воздухе. Но этого она никогда себе не позволяла, боялась кого-нибудь оскорбить. Смотрела с завистью, как другие побирушки, по-домашнему сидящие рядком на бортике газона, чистят и широко надкусывают яйца, отряхивают с груди желтые крошки. Они не благодарили за угощение — и Зина не благодарила. Хотя и находила это неприличным.

— На, милый, помяни раба божьего Николая.

Старик, сидевший на ступеньке слева, недовольно пробубнил:

— Лучше бы деньгами...

Зина проводила глазами его здоровенную руку с двумя яблоками и магазинным кексиком.

— Деньгами нельзя, милый. Деньги — не подавание.

Зина не выдержала, посмотрела на женщину.

— Зина! — с радостным удивлением воскликнула женщина. — Ты что же, не узнаешь меня?

Зина поморгала загнутыми, как у ребенка, ресницами.

— Я же Юлия Павловна! Неужели не помнишь? У меня сын был, Коленька, красивый такой мальчик...

— Хон у двохнычки стекло хазбывал.

— Ну да, ну да! — обрадовалась Юлия Павловна и заплакала. — Это я к нему хожу. Умер два года назад...

— Похано, — посочувствовала Зина.

— А все невестка! — продолжала Юлия Павловна. — Потацила его в Алжир! Разве ему можно было с его сердцем ехать в Алжир!

Зине захотелось как-то ее утешить.

— Клаха помныш? Шо в подвал был их квахтыха?

— Конечно, помню. Ее Марик с моим Коленькой вместе учились.

— Хон тоже умэх.

— Как — умер?!

— На Хамэхыка умэх. Мни Ханя казалы. Нэ надо было йихать на Хамэхыка!

— Когда же это случилось?

— Да-авно, — махнула рукой за спину Зина. — Делали хопэхаций! Сэ хавно помышал! Жалко, пхавда?

— Ты еще ходишь к Ане?

Зина помотала головой. Нищие неодобрительно прислушивались к их разговору.

— Господи! Как же это никто не сообщил мне про Марика!

— Уси йихалы! — объяснила Зина. — На Болонь, на Зхаиль. Нэма стахы люды.

— И то правда, — вздохнула Юлия Павловна.

Ей хотелось поговорить хоть с кем-нибудь о сыне.

В новом доме, куда она вселилась после размена с невесткой, сына никто не знал. Никто не видел, какой он был красивый, вежливый, обаятельный. А эта случайно встреченная бедолага вспомнила историю с выбитым стеклом... Юлия Павловна была растрогана до слез. Да, размело людей по всему свету. Вот ей даже некому рассказать о Марике. Ужасно! Тоже умер! Просто какой-то проклятый дом! В каждой семье свое несчастье!

— А ты что здесь делаешь? — поинтересовалась Юлия Павловна.

— Я? — смутилась Зина. — Пхосто дыхаю. Надо ходить додому.

И Зина стала подниматься с земли.

— Пойдем вместе, — предложила Юлия Павловна. Зина согласно кивнула.

— Пишлы. Походыхалы — и хваты дыхать!

По дороге к автобусу она все старалась придумать что-нибудь приятное Юлии Павловне, но на ходу ей думалось плохо. И только, постояв на остановке, отдышавшись, она неожиданно вспомнила:

— Мни тоже помышал хабоньк. Дочки.

— Правда? Я и не знала. Совсем маленькая, наверное?

— Да. Манеки, — покривила носом Зина. — Давно. Ще на Самхаканди!

— В эвакуации, — догадалась Юлия Павловна.

— Сэ хавно жалко! — наконец попала Зина в нужный тон. — Манеки тоже жалко. Сех жалко. Манеки, большие. Сех жалко!

Тут подъехал автобус, и в давке Зину и Юлию Павловну оттеснили друг от друга. Сначала ехали мимо кладбища, стройного, как игрушечный город. Потом пошел лес. Потом новые дома. Зина боялась потерять сумку и совсем забыла о своей спутнице. Юлия Павловна выбралась из автобуса первая, но не ушла, постояла, подождала Зину. Зина очень

удивилась, снова встретив ее, замешкалась, не зная, надо ли опять поздороваться.

— Ого! Йихала додому, ходила ходыхать на кладбище. Пхосто так.

— Может, зайдём ко мне, попьем горячего чаю, — предложила Юлия Павловна и указала рукой через дорогу. — Вон мой дом.

Зина поколебалась, но все же пошла. Захотелось в чужой дом, в гости.

Здание было широкое и неприветливое. Ничего ему не полагалось знать — не только о тех, кто уже умер где-то, но и о тех, кто сейчас живет в его стенах.

— Квартира неважная, — рассказывала Юлия Павловна. — Главное — первый этаж. Но зато близко к кладбищу.

Зина согласно кивнула.

— Вот и моя дверь. — Юлия Павловна забрякала ключами. — Сейчас чайник поставим.

— Только мни сало нэ давай! — предупредила Зина строго.

— Какое там сало! — вздохнула Юлия Павловна. — Я уже пять лет сижу на овсянке да на гречке.

Они разделись. Юлия Павловна повесила свое пальто на вешалку, Зинино — на дверную ручку. На кухне было тепло, пахло чем-то приятным. Зина выбрала самую неказистую табуретку и села.

— Мни надо давать отдельный тахэлка, — предупредила она. — Мни хлысты!

— Глисты? Какие? У Коленьки в детстве были аскариды.

— От таки о! — выставила Зина указательный палец. — Они мни лезали с хота! Уэ-э...

— Когда это?

— А-а... Ще на Самхаканди.

— Ну-у! Да это эж сорок лет назад было! Может, у тебя их и нет давным-давно.

— Может, — пожала плечами Зина и лицом выра-

зила сложную мысль: дескать, в этой все более непонятной жизни каждый раз обнаруживаешь, что чего-то у тебя уже нет.

Юлия Павловна подала ей овсянку в обыкновенной тарелке. Ложку ко рту Зина подносила степенно, но было видно, что она давно уже не ела горячего. Глаза ее жмурились и быстро соловели, она вся расплылась и осела на табуретке, как кучка тряпья.

Юлии Павловне стало жаль, что в доме нет чего-нибудь повкуснее. Она вспомнила, что где-то в кладовке стоит банка перекрученной с сахаром смородины, и пошла ее искать.

Зина слышала, как хозяйка роется, звенит в коридоре банками. Терпеливо ждала. Каша в тарелке кончилась и тихо урчала, поскуливала в животе. Зина поводила головой по сторонам. На подоконнике она углядела блюдце с сухарями и завалывшейся среди них ядовито-розовой крашенкой. Зина ухватила крашенку, сунула ее себе в карман и сделала вид, что дремлет. Когда раздалась шаги Юлии Павловны, она передумала и потянулась вернуть крашенку на место.

— Ты хочешь яйцо? — поспешила сгладить неловкость Юлия Павловна. — Бери. Просто я не знала, можно ли тебе.

— Можно! — успокоила хозяйку Зина и, очень довольная, придвинула яйцо к себе. — Я будэш бхать додому!

— Пожалуйста! Вот, возьми сырок плавленный. — Зина одобрительно мигнула одним глазом. — Вот еще есть булочка. Съешь вечером с чаем.

Зина притянула к себе и булочку, не скрывая, однако, своего пренебрежения к ней.

— Видишь, как у меня, — стала оправдываться Юлия Павловна. — Ничего вкусного. Пенсия у меня неплохая, но зачем готовить для себя одной? Жду, когда Бог заберет меня к ним. Ты, может, помнишь, муж у меня утонул.

— Помныш! — закивала Зина, довольная гладким течением беседы. — У двоихнычкы тоже сын втопывся!

— Верно! — оживилась Юлия Павловна. — А какой был хороший мальчик! Старшие совсем не такие. Пили. И Витя ее допился до цирроза, умер в прошлом году. Пусть он был пьяница — но тоже жалко. Матери какое горе! Я же говорю: проклятый дом! У Ивановой дочка от родов умерла. У Фогелей — попала в психбольницу. Вот еще Марик, оказывается...

— Исаак тоже помыхал! — прибавила довольная своей лептой Зина.

— Исаак Давидович умер! — всплеснула руками Юлия Павловна. — Когда же?

— Да-авно!

— А что же Циля Давидовна?

— Ехала назад на Дэсу, — показала себе за спину Зина. — Ничехо! Уси люды помыхать! Хэто кохошо, шо вин помыхать!

— И то правда, — согласилась Юлия Павловна. — Но все равно жалко. Какой весельчак был! Какой шутник! Помню, он на именины к нам приходил — развлекал людей лучше любого артиста. Песни, анекдоты! "Вы, — говорит, — Юлечка, готовите фаршированную рыбу лучше, чем любая еврейка!"

— Ты хыбу умиеш делать?

— И рыбу делала, и штрудель пекла, и медовик. Фаня Лазаревна научила. Вот когда, Зина, надо было ко мне приходиться!

Зина пригорюнилась. Стало жалко рыбы, жалко несъеденного когда-то печенья.

— Я до тэбэ нэ ходыл знаешь чехо? Бо хуськи с мни смиялыся.

— Это не русские, — огорчилась Юлия Павловна. — это дураки над тобой смеялись. Хороший человек не станет смеяться.

— Ничехо! — примирительно сощурилась Зина. —

Ничехо, шо ты — хуська. Мни нэвэська тоже была знаешь хто? — она приготовилась ошеломить Юлию Павловну. — Мни невеська была — хуська! Халя!

Юлию Павловну это сообщение не поразило, но, понимая, что Зина чего-то ожидает от нее, она поинтересовалась:

— Ну и как? Хорошая была женщина?

— Ого! Хона мни бильше всех любыв! Хона мни на хуки бхав, когда мни був дэцька болесь! Хона мни винкы хобыв! Хона мни давал такой яйцо! Много-много! Уси хазный цвет!

Зина радостно моргнула пушистыми седыми ресницами. Она стояла среди кухни, по-детски выпятив живот и скосолапив коротенькие ножки. В левой руке — булка и сырок, в правой — розовая крашенка, как живая птичка.

— Я будэш бхать хэты яйцо, будэш спомныть Халя!

Юлии Павловне показалось, что где-то под морозилкой должно быть еще одно яйцо. Она поискала, но не нашла.

— Давай я будэш постихать занавески, — изрекла за ее спиной Зина, принявшая за грязь ржавые пятна собственной катаракты. — Мни будэш делать убохка на твой квахтыха!

— Что ты, Зина! — испугалась Юлия Павловна. — Ты больной человек! Куда тебе работать! Пора уже отдохнуть!

— Мни будэш дыхать, когда мни будэ стахось! Хаботать надо!

Она нагнулась над своей сумкой, стараясь задом заслонить ее от Юлии Павловны, но та успела заметить, что сумка доверху набита радужно сияющими крашенками и раздавленными ломтями пасхи.

Зина бережно покрыла ее синим платком (память о русской невестке) и стала одеваться: натянула черные суконные сапоги, выпрямилась, отдышалась, стянула кофту на животе большой английской булавкой, вынула из волос сползающий гребень и туго

зачесалась ото лба к стриженному затылку, повязала беленькую косынку, покрыла ее дырявой оренбургской шалью Фани Лазаревны. Тяжело кряхтя и потея, влезла в тесное и длинное пальто Глузманши, застегнула сшитые из шнурков петли.

— Ну, бувайте мни здоховэньки! — поклонилась она Юлии Павловне. Постояла на пороге и добавила величественно, как сообщают о начале новой жизни:

— Пиши мни пысьмо, я будэш пыходыть!

Киев, 1993.

Фвликс **РОЗИНЕР**

101 СЛОВО = 12 СТИХОТВОРЕНИЙ

Цикл с поэтикой аллитераций и смысловой игры, словотворчества и номинативной краткости.

Факсимильное издание рукописи:

13 отдельных листов в папке на риоовальной бумаге «Энгр».

Весь тираж — 212 нумерованных и подписанных автором экземпляров, из которых для продажи предназначена только часть.

14 дол л а рот (с пересылкой). Заказы у автора

по адресу:

Felix Roziner

866 **Beacon Str. Apt. 2**

Boston, MA 02215, USA

ПОЭЗИЯ



Лия ВЛАДИМИРОВА

ВО ВСЕХ ВЕЩАХ ТЫ ИЩЕШЬ ТАЙНУ...

Какого чуда ожидаю
Сейчас, с собой наедине?
Какая радость молодая,
Неверие пережидая,
Еще грустит, грустит во мне?

И нет ни тяжести, ни лени.
Такая звонкая пора,
Как будто зелени и тени,
Проулков, воздуха, сирени
На свете больше, чем вчера.

И эти переливы цвета
Тревожат взгляд, нейдут с ума.
Далекой памяти приметы:

Мол, так уже бывало где-то,
Но где — не знаю я сама.

Взывать к неначатой странице
В кануне гроз, в исходе гроз, —
Как будто время будет длиться,
Как будто верить и молиться
Достанет вечно сил и слез.

* * *

В погоне за неясной сутью
Весь дом вверх дном перевернешь,
Из бедных стареньких лоскутьев
Наряд сверкающий сошьешь...

Но это — так, почти случайно.
Другим ты занята трудом:
Во все вещах ты ищешь тайну,
А без нее и дом — не дом.

Перелопатишь груды хлама,
Завалы пестрого старья:
Там отблески какой-то драмы,
Там тайны тень, там жизнь твоя.

* * *

А пища есть повсюду, к счастью:
Берешь из воздуха, травы,
Из одиночеств, из ненастья,
Из тишины и из молвы...

Молва безглазая жестока.
И о тебе идет молва:
Мол, ветреница, лежебока,
И все-то ей, мол, трын-трава.

Неправый суд — и он в подмогу:
Ты в хоре пестрой ерунды
Расслышишь Времени тревогу,
И шаг судьбы, и зов беды.

И где бы ты ни побывала,
Почуешь — так уж хочет Бог —
Дрожь под ногой
 земли усталой
И камня векового вздох.

БЕЛАЯ НОЧЬ

Вдохновенное время бессонниц,
Первых рифм. Ах, сама я непрочь
Быть в толпе твоих резвых поклонниц,
Петербургская белая ночь!

Невских волн плавный плеск о ступени,
Тонкий, зыбко-сиреневый свет.
Петербуржцев нарядные тени:
Чей-то профиль, анфас, силуэт...

Глаз пленительных, поз и нарядов
Ледяной ослепительный вид...
Ночь таинственно-пристальным взглядом
Это — высветлит, то — утаит.

Чьи-то в сумраке прячутся встречи,
Волокитство, кокетство, игра,
Чьи-то губы, лукавя, лепечут
Вздор небрежный, как росчерк пера.

Кружева, и оборки, и банты
Блещут, пенятся ночи под цвет.
Элегантная тросточка фронта
Четко щелкнула о парапет.

Легкий сумрак ложится на плечи
Бойких маменек, томных девиц.
Блеск французской шлифованной речи,
Глянец жестов, улыбок и лиц.

Город весь в серебристом мерцанье,
В переливах тонов и теней.
Шпор взволнованных звон, восклицанья,
Женский ропот и ржанье коней.

Пробираясь по Летнему саду,
Ночь касается (как ей не жаль?)
Белых статуй за черной оградой,
Зажигая в их взглядах печаль.

Превосходное мрамора свойство:
Быть бесстрастным, не ждать перемен.
Так зачем же вселять беспокойство,
Ничего не давая взамен?

Ночь вливает мне в сердце прохладу,
Видит что-то свое, ворожит.
Петербург невесомой громадой
У нее на ладони лежит.

* * *

Скажи, смятенье чем утишить?
В какой удариться побег?
А может, пристально услышать,
Как падает тишайший снег?

А после — видеть день в разливах
Апрельской радужной воды.
Так тянутся мои следы
В круг возвращений молчаливых.

* * *

И запах детства, запах хвои
Через хамсинный зной пробьется,
Как будто давнее, живое
Нам в руки запросто дается.

И вновь в предвосхищенье чуда
Гляжу туда, где блещет елка,
Явившаяся ниоткуда,
Смутившая меня без толка.

Горите, свечи, ясно, ярко,
Чтоб я, пригаснувшая, снова
Тянулась к детскому подарку
И взрослым верила на слово.

* * *

В глаза мне взглянула с усмешкой зима,
Махнула подолом своим снеговым:
"Метелицей жаркой ты дышишь сама,
Любуясь морозцем моим вековым."

Весна усмехнулась: "Не зря говорят,
Что день мой прозрачен, что полдень высок.
Не слезы в глазах твоих талых стоят,
Не слезы стоят, а березовый сок."

А спелое лето, листая листы,
Сказало: "Ты светом потушишь глаза.
Так много скопилось в тебе духоты,
Что ныне ли, завтра ли грянет гроза."

А осень в полшепота мне говорит:
"За тем листопадом — тропа в забытьё."

В тебе мое скорбное пламя горит,
Не клен догорает, а время твоё."

* * *

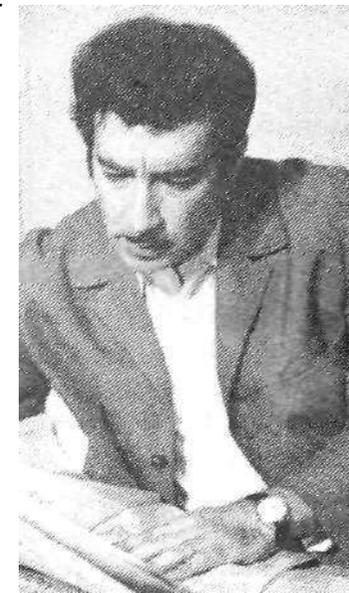
Переполненный ящик стола.
Фотокарточки, заваль бумага...
Что искала? Чего не нашла?
Ворошу наугад, просто так.

С черновой бедой пополам
Музы музыка, света союз
И давно не тревоженный хлам —
Неразобранной памяти груз.

Поиск слов, шепотня пустяков,
Многолетняя немощь труда...
Судьбы скомканных черновиков —
Навсегда. Бог ты мой — навсегда!

1990-91 гг.

ПУБЛИЦИСТИКА.
СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

КОЗЛЫ ОТПУЩЕНИЯ В ГОРЯЩЕМ ЛЕСУ

Так уж повелось в русской истории: во все времена и при всех режимах народ искал в своих бедах виноватых. Чаще всего пребывали в этой роли евреи, но не только евреи, а и кто хотите: инородцы, интеллигенция, большевистские комиссары, эсеры, правые уклонисты, чекисты, сионисты, Ленин, Брежнев, Горбачев, перестройщики, путчисты, демократы, российский парламент, Хасбулатов, а теперь уж и вчерашний народный любимец Ельцин.

В стремительном потоке событий столь же мимолетно меняются и персонажи на упомянутой "скамье подсудимых", а тон, естественно, задают газеты, которым несть числа в нынешней России. И буквально все — от "Известий" и "Комсомолки" до какой-нибудь там "Наивной газеты" — полны амбиций, все доподлинно знают, как надо строить человеку жизнь,

и к чему стремиться, и что, вообще, есть высшие ценности жизни. Впрочем, положительные идеалы из-за размытости темы занимают в газетах отнюдь не главное место, зато, как неумолкаемое крещендо, звучит их обличительный пафос. В этом смысле все московские газетчики на бивуаке. Разобраться в логике этой войны, уловить мелодию этой оглушающей какофонии кажется невозможно. Но все же, если обратиться к так называемой интеллектуальной прессе — к "Литературке", "Независимой газете", "Огоньку", "Комсомолке", то есть к трибунам перестроечной интеллигенции, то тема "виноватых" обретает на их страницах новый поворот, который звучит все с большей определенностью. Застрельщиками дискуссий чаще всего выступают молодые авторы, считающие себя рупором молодежи, и потому оставляющие за собой право "врезать российскому обществу такую правду-матку", на которую до сих пор никто не отваживался. Дискуссии не вокруг социально-этических проблем, встающих перед реформируемой Россией, а как ни странно, вокруг традиционно большевистского вопроса "Кто виноват и от какого наследства мы отказываемся?" Вопрос старый, как мир, зато "правда-матка" в устах наших авторов столь оглушительна, что рекрутирует в число их сторонников все новые круги сочувствующих. И вот уже кажется, что перед нами не голоса эпатирующих общество юных вольнодумцев, а точка зрения целого поколения, поколения бунтарей, отважившихся бросить вызов людям уходящего прошлого.

На этот раз на российской "скамье подсудимых", оказались не сталинисты, не брежневцы и даже не евреи, а все старшее поколение, люди шестидесятых годов, или, как их модно теперь называть, "шестидесятники". Никто не пытается сформулировать предьявленного им обвинения и тем более

очертить круг обвиняемых, хотя последний более или менее определяется их возрастом.

Похоже, перед нами традиционный российский конфликт "отцов" и "детей", который еще с тургеневских времен обожала дискутировать российская публика, а Сталин даже искуснейшим образом его использовал, чтобы в годы чисток расправляться с политическими врагами. Но ведь нет в такой постановке вопроса ничего оригинального, поэтому наши авторы, желая погромче ударить в набат, наполняют его новым содержанием. Де, "шестидесятники" — не просто наши отцы, заслуживающие уважения, "шестидесятники" — это те, кто в ответе за все несчастья России, — это они своей трусостью, бесхребетностью, неспособностью к действию, либеральной болтовней, соглашательством, вечным политиканством, отсутствием делового подхода к жизни подготовили почву для того, чтобы страна и общество оказались перед пропастью. И вот теперь нам, молодым, приходится расхлебывать за все деяния предавших нас стариков-шестидесятников.

Я не излагаю здесь содержание каких-то конкретных статей, поскольку со статей и журналистских эмоций лишь все началось.

Нынче — это определенная точка зрения, которая, если не с одобрением, то с пониманием воспринимается определенными кругами российской интеллигенции. Они отвергают Жириновского, Проханова, всех и всяческих сторонников "Памяти", но проблеме "шестидесятников" с энтузиазмом признают и готовы широко и в разных ипостасях ее обсуждать. Выводы из дискуссий делаются совершенно противоположные — начиная от того, что "шестидесятники" явились едва ли не предателями России, и до того, что это было героическое поколение, деяния которого будут записаны на скрижалях истории. Одни ссылаются на безнравственное поведение советской интеллигенции в эпоху брежневщины, на ее

вечное соглашательство и даже потворство политическим процессам, на ее страх перед партией и КГБ и молчание перед лицом советской агрессии в Венгрии и Чехословакии, словом, материала для обвинений и самообвинений предостаточно. Но и в защиту "шестидесятников" находятся не менее убедительные доводы. Дескать, все верно: при всеобщем молчании постыдные процессы Синявского и Галанскова, интеллигентские обоснователи, соглашатели и стукачи, но ведь и Солженицын же тоже, и Шаламов, и Буковский, и готовые идти на каторгу диссиденты, и горстка храбрецов, выступивших против вторжения в Чехословакию. Выводы тривиальны: что стричь всех под одну гребенку невозможно, что "шестидесятники" — "шестидесятиникам" рознь, что хоть и были трудные времена, но все зависело от нравственной позиции личности, что истина конкретна и т.д. и т.п. И бунт молодых, выдаваемый некоторыми газетами за гонг справедливости, постепенно выдыхается и заходит в тупик.

На этом можно было бы поставить точку, если бы не еще одна тема, в некотором смысле неожиданная и в упомянутых дискуссиях вовсе не называемая. Она выплывает сама собой: раз уж сняты на газетных страницах все табу, и в поисках истины младшее поколение не устает бросать вызовы старшему, то невольно встает вопрос: "А судьи-то кто?". Возможно, вопрос в чем-то и риторический, но в контексте исторической логики, кажется, вполне правомерный. Если об отцах говорим с таким нелицеприятием, то взглянемся и в облик детей, кому рано или поздно будут вверены судьбы России.

Со страниц газет и из уст политических деятелей России мы не очень часто слышим о проблемах нового поколения (словно их вообще не существует). Точнее — не слышим прямо, зато косвенно они дают о себе знать на каждом шагу. По данным тех же перестроечных органов, вся послеоктябрьская

история СССР не знала таких цифр преступности среди молодежи, какие налицо сегодня. Вдобавок к этому цифры самоубийств, дезертирство в армии, бродяжничество и бездомность. Не станем углубляться в причины, среди которых — развал экономики, растущая безработица, этнические войны, инфляция — играют, наверное, главную роль. Но не будем и упрощать ситуацию — ибо портрет молодого поколения России, от имени которого бросается вызов "отцам", нарисовать непросто, разве лишь опять же по косвенным данным: например, прислушиваясь к мнению учителей, утверждающих, что еще никогда не была так низка школьная мораль, у сотрудников милиции своя статистика, преподаватели МГУ жалуются, что гуманитарные дисциплины, в частности, еще недавно сверхмодная журналистика, больше не интересуют молодежь, не говоря уже о филологии, литературе, истории или философских дисциплинах.

Впрочем, в сегодняшней ситуации эта новая ориентация не должна вызывать удивления. Понятен и все возрастающий интерес нового поколения к бизнесу, иначе и не может быть в условиях, когда общество осуществляет переход к рыночному хозяйству. Но вот что интересно: к какого рода бизнесу проявляют тягу молодые? Оказывается, прежде всего к торговле, к разного рода полуподпольным сделкам, спекулятивным операциям: в Ростове купил по одной цене, в Москве продал по другой, в одном магазине что-то достал из-под прилавка и тут же по тройной цене перепродал. Поговорите об этом со взрослыми, да вот с теми же "шестидесятниками" — что вы услышите? "О, наши дети совсем другие, чем были мы. Для них главное заработать деньги!" Это правда, но не вся правда: о своих детях они не договаривают нечто очень существенное, ибо их интересуют не просто деньги, а легкие, шальные деньги, которые сами бы притекали в руки.

В одном из московских издательств, чтобы ускорить набор очередного журнала, я попросил группу молодых сотрудниц остаться сверхурочно. Предложил им тройную оплату. Я ожидал любой реакции, но только не той, что последовала: наборщицы, с которыми у меня были прекрасные отношения, не на шутку рассердились. "Зачем это им по вечерам вкалывать? Всех денег все равно не заработаешь. Лучше в кино пойти, у телека посидеть!" Утром они со мной едва здоровались. И так продолжалось до тех пор, пока я не договорился обо всем с дирекцией и не сказал им, что свое предложение снимаю. Нужно было видеть, какой последовал вздох облегчения, причин которого я не мог понять. А мой московский приятель, услышав об этом эпизоде, удивился моей наивности — кто же в наши дни остается сверхурочно? Считается так — лучше всего просто достать деньги: что-нибудь "удачно толкнуть", привезти из-за границы. В крайнем случае подхалтурить в свое рабочее время, но сверхурочно — извините, дураки в наши дни перевелись. К этому еще бы добавить — перевелись вместе с поколением "шестидесятников".

Не знаю уж, как это назвать — перестройкой на западный лад или на новомосковский, но вместо рынка расцветает в стране разгильдяйство — любое дело повернуть как-нибудь так, фуксом, без труда и усилий.

Когда-то в молодости работал я фельетонистом в "Московском комсомольце" и с тех незапамятных времен занимала меня столичная молодежь. Не могу избавиться от своего интереса и сегодня, когда приезжаю в Россию. Сказать, что нынешняя молодежь стала другой — значит, ничего не сказать. При виде ее меня часто охватывает ощущение, будто я совсем и не в России, а в другой, вовсе незнакомой стране.

...Вот спускается над столицей вечер, коренные

москвичи говорят, что в эти часы они на улицы не выходят: во-первых, небезопасно, во-вторых, все вокруг опротивело. Я этих правил не знаю и брожу по длинным подземным переходам на станциях "Тверская-Пушкинская-Горьковская" Навстречу пестрый, неизвестно как оказавшийся в столичном метро люд, в большинстве своем "под шафе", среди которого много молодых, праздно шатающихся пешеходов, джинсовые куртки с такого рода экзотическими надписями: "I love New York", "I love sex and money", "Our life is shit". Кто они? Чем занимаются? На что живут? Куда держат путь? Не на одну ли из московских тусовок — самое распространенное слово в лексике молодого поколения столицы. Тусовка — это все. Она может быть со знакомыми девочками, у одной из которых уехали родители, тусовка — это веселое подпитие в одном из ночных заведений, она же — очередной аукцион антиквариата, она же апойтмент с нужными людьми, где могут обломиться неплохие башли...

И что же — вся молодежь такая? Конечно не вся! Да и мои записки — не социологический отчет и не портрет поколения, а зарисовки с натуры бывшего москвича. Я легко допускаю, что кто-то, прочтя их, заявит, что у его приятеля (или приятельницы) сын или дочь заканчивают институт и поступают в аспирантуру, или имеют хорошую службу, или... словом, ведут вполне достойный и уважаемый образ жизни.

По давней профессиональной привычке люблю прислушиваться к разговорам вокруг — на улицах, в троллейбусах, в метро, в очередях, — так вот, свидетельствую, что одна из любимых философских тем — старомодность уходящего поколения, с его вечными разговорами о морали. "Кому нужна эта их мораль? Всю жизнь провакальвали, а чего заработали — дырку от бублика. Жить надо уметь, а они только болтают: демократия, хуекратия..."

Сын моего старого приятеля, в прошлом молодой

компьютерщик, успешно переквалифицировался во владельца торгового заведения в районе Сокольников. Перестав уже быть просто лавкой, заведение еще не стало магазином, но уже идет в нем бойкая торговля всем на свете, принимается любая валюта — от украинских купонов до английских фунтов и израильских шекелей.

Молодой хозяин меня встретил в кроссовках и джинсовой рубашке, на которой по-английски был записан состоящий из двенадцати пунктов спич, озаглавленный: "Двенадцать преимуществ пива перед женщинами!"

Я пробыл в этом заведении что-то около часа, в течение которого он с трудом выкроил несколько минут, чтобы попросить привезти ему из Нью-Йорка дюжину газовых баллончиков против нападения бандитов из конкурирующих фирм (в их районе это самый ходкий товар). Все время он что-то принимал с заднего хода, с кем-то за что-то расплачивался, ведя полусшепотом переговоры на таинственном для меня Новомосковском эсперанто. Я все думал, когда, наконец, откроется дверь и войдет нормальный человек с улицы. Наконец, человек появился, очень молодой, с иголки одетый, спортивного вида. Он вежливо мне поклонился, дружески пожал руку хозяину, и, оглядев внимательным взглядом стены и потолок, поинтересовался, нет ли у владельца заведения проблем, если появятся, пусть сразу дает знать. Проблем не оказалось, и сын приятеля, вытащив из бумажника пачку денег, с вежливой улыбкой вручил ее вошедшему. "Видели, какой спокойный, культурный человек! — услышал я, когда за гостем закрылась дверь. — Между прочим, чемпион в легком весе среди юношей, охраняет наш бизнес от выходцев из одной южной республики!" Так я познакомился с родом деятельности еще одной группы молодого поколения — еще недавно составлявшей славу советского спорта.

Но отчего же, спросит, не выдержавши, читатель, все только российская молодежь? А что — американская лучше? Меньше преступлений? Высокая мораль? Любовь к труду и знаниям? Еще и наркотики, и сплошь геи и лесбиянки. Да и то же неуважение к старшим, построившим современную Америку, к своим "шестидесятникам".

Что мне на это возразить? Проблема нового поколения интернациональна и, может быть, самая жгучая в мире, вступающем в новое тысячелетие. Существует она и в тяжело больном западном обществе. И все же не будем забывать: там демократические устои со столетними традициями, культура, уважение к закону, впитанное с молоком матери, а что у нас в отечестве, где все растоптано и поругано? И плевков в лицо отцам-шестидесятникам все из той же оперы, исполняемой на горемычной российской сцене. Сквозь горящий лес прорывается общество. Прорвется ли? Будет ли способно опереться на свои силы и веру, на свое новое поколение, без поисков козлов отпущения в этом горящем лесу, куда загнала Россию история?



Эраст ГЛИНЕР

НАДЕЖДА

Автору недавно довелось быть в Русском Центре в одном из городов Калифорнии. Это клуб, созданный эмигрантами, покинувшими Россию в первые годы после революции. Много хранит еще приметы тех лет. Портреты Государя Императора и Императрицы. Старомодный банкетный зал. Тихо звенят хрустальные подвески на люстрах. Остатки столового фарфора в буфетной. Время в библиотеке остановилось в тот трагический момент, когда Россия перестала существовать. Спортивный зал. Под современную музыку современные американцы стараются похудеть, занимаясь аэробикой. Но они русские. Это понимаешь, слушая их русский. Со спокойными, бархатными интонациями, давно исчезнувшими на его родине. Без забвения, когда "г" произносится "в". Без "Девушка!" и без "Ну, бы-вай!".

В подвальном помещении нагромождены картон-

ные ящики с броскими надписями. Но читать надо маленькие белые наклейки, надписанные от руки по-русски. В ящиках — пожертвования. Когда ящики скапливаются, ими заполняют большой контейнер, и он уходит в Россию. Рядом, в пластиковом мешке — письма, их много. Но это письма не "туда", а "оттуда". Плакат просит взять из мешка несколько из них и ответить р о с с и я н а м .

Подумаем о необычности того, что мы видим. Кто эти русские и кто те россияне?

Эти русские — дети и внуки тех, кто бежал из рушащейся России, сделав выбор между сумой на чужбине и тюрьмой дома. Франция, Германия, Китай, Турция,... Не удавалось стать ни французами, ни немцами, ни китайцами, ни турками, и приходилось бежать дальше... Немногие достигли страны, где, оставаясь русскими, они стали американцами. А в России у них уже не было никого. Одни расстреляны сразу, дорога других к забытой тюремной могиле шла по пересылкам и лагерям.

Сегодняшние россияне — дети и внуки тех, да и сами те, кто рыл России могилу, а дождавшись заветного часа, мог бы наслаждаться свистом межконтинентальных ракет, летящих в далекую Америку. Им ли помогать?

В этом горьком сопоставлении тех и других нет лжи. Но нет и правды.

Правда в том, что человек прост. Он хочет иметь еду, кров, семью, развлечения... Обычно он не любит выходить из этой ниши и неосмотрительно класть живот на алтарь Отечества. Поэтому он принимает табу и предубеждения общества, в котором живет. Этот выбор нельзя назвать бездумным. Очень рано он узнает, что нужна целая жизнь — да и ее не хватит, чтобы хоть попытаться понять, как надо изменить общество и как этого добиться. Он узнает о "великих преобразователях", всю жизнь болтающих между виселицей и посмертной славой. Но

он не чувствует себя обязанным выбирать этот жребий. Ведь он не выбирал ни где, ни каким родиться, ни сам сомнительный дар бытия. Говоря модными словами, жить в рамках, наложенных общественными табу, — это естественное право человека.

"Простые люди" — это, собственно, большинство общества. То, что они преимущественно замыкаются в своих "нишах", создает множество парадоксов общественного бытия. Главный из них в том, что именно в руках у "простых людей" не только нехитрые ружейные штыки, но и те кнопочки, что запускают ядерные ракеты, ключи от лагерных ворот и ключи от закрытых распределителей. В их руках все средства, обеспечивающие необходимые и излишние средства жизни. Но это не дает им власти, поскольку эти прирожденные индивидуалисты сидят по своим нишам, ругая порядки. За этим стоит и другой парадокс: даже преступное общество (что это такое, читателю предоставляется определить по вкусу) состоит, в основном, из людей нравственных. Для общества, иными словами, типична двойная нравственность. Нравственно, в своей "простоте", большинство, а безнравственность общества представлена манипулирующей им властью.

Итак, спрашивать, почему "русские помогают россиянам", как теперь видно, неуместно. Те, кто "прост", живут по морали, которой чужды политические игры истории. Для "русских" "россияне" такие же жертвы, как и они сами. Они люди той же нравственности, так как между собой следуют заповеди "не убий". А то, что в целом они образуют безнравственное общество, то как всякое несчастье — это не грех, а судьба.

Для автора этих строк, деятельность маленького русского землячества как-то необычно осветила положение дел в России.

Ельцин, Гайдар, Черномырдин и другие, лихора-

дочно латающие прорехи российской власти, пока "чеченец ходит за Москва-рекой", — постоянная картина, возникающая из потока противоречивой информации из России после августовского путча. Основная ошибка этой команды, по-видимому, логическая — стремление прежде всего порвать порочные связи, навязанные "социализмом". Модель их действий копировала то, что было проделано, когда кучка заговорщиков объявила независимыми номинальные республики, составлявшие неделимый колосс — Советский Союз. (Говоря "заговорщики", я имею в виду образ действий этих людей, а не отношение их действий к закону, хотя и сомневаюсь, что они не пренебрегли союзной конституцией. Но стоит ли говорить о том, что было лишь вывеской Потемкинской деревни?) Применяемая сверху донизу, примитивная модель разрушения превратила единый, хотя и химерический экономический организм в кучу костей.

Разумеется, уместно было сначала провести приватизацию, сохраняя взаимные обязательства и кооперацию между предприятиями в течение определенного переходного периода, когда они постепенно заменялись бы отношениями купли-продажи на свободном рынке. Это было уместно с самого начала, при самом аннулировании Союза. Но наши герои все были верными учениками партии, которая вдалбливала в народную башку мысль: "Партия — наш рулевой". Это верная мысль, если добавить: "без капитана". Без капитана Россия и поплыла по новому курсу.

В условиях, когда Ельцин-Гайдар могли только брэнчать костями, их обещание стабилизировать экономику до конца года было блефом. Того, что надо было стабилизировать — промышленной системы, — уже не существовало. Положение ухудшалось политической наивностью. Вместо того, чтобы принудить партийно-советскую бюрократию отойти

от власти, распустив свой представительный орган — Совет народных депутатов (ниже просто — Совет), Ельцин выпросил от него львиную долю своих полномочий. Этим он признал верховную власть Совета над собой и сделал свою черную пятницу 12 марта неизбежной.

Успокоившиеся советские осторожно обложили своего благодетеля. Вынудив его к унижительным поступкам, таким, как попытка откупиться Гайдаром, они, наконец, общипали его под английскую королеву (забыв, правда, сделать его самым богатым в стране человеком).

В этот момент Ельцин, возможно, пожалел, что, желая представлять самое народ, он не создал своей партии. По мере падения курса рубля народ смотрел на него все угрюмей. Теперь, когда Ельцину в борьбе с законодателями осталось лишь взывать к этому народу, он не только не знает, как его встретят, но и самые его слова донести до народа некому, кроме деятелей его администрации, "соучастников содеянного".

Итак, мы дошли до критического противостояния марта 1993, когда пишутся эти строки. Каково же положение страны? Реальность, созданная правлением Ельцина-Гайдара, изменила самое основу экономических отношений. Раньше ею был государственный план, худо ли бедно манипулировавший экономикой. Как абстрактная мера экономических операций в разных случаях использовались разные рубли, от золотого до г-го, выдаваемого колхознику на трудодень. Скажем, рубль в тяжелой промышленности путем искусственного установления цен был равен намного большей "сумме" в легкой. В танк стоимостью в 10 млн рублей вкладывалось намного больше труда, чем в сто тысяч пар обуви на 10 млн рублей. Рубль, который получал рабочий, имел покупательную способность куда меньше, чем такой же рубль, выдаваемый секретарю райкома, который

пользовался закрытым распределителем, льготными дачами и массой неоплачиваемых услуг (не считая получаемого им по принципу "ты мне, а когда-нибудь и я тебе").

Ельцин-Гайдар сделали решающий шаг к рынку, уничтожив эту систему как основу экономики. Хозяином стал единый рубль, а план — лишь конкретным содержанием обмена вещами и услугами, одинаково оцениваемыми в единых рублях. Для покупки желаемого, вместо фондов Госплана, блата и других инструментов социализма, стало достаточным иметь деньги. Это непреходящая заслуга Ельцина-Гайдара в построении нормального справедливого общества, без эксплуатации. Но парадоксальным образом, став хозяином, российский рубль одновременно катастрофически обесценился.

Это провал политики правительства России. С точки зрения, упомянутой выше, он прежде всего связан с тем, что избранный путь перехода к новой экономической основе разрушил организационные и технологические связи в хозяйстве страны. Грубо говоря, когда машина сломана и товар нельзя произвести, его цена растет неограниченно. Но по меньшей мере равный вклад в падение рубля внесла политика Государственного банка, не подчиненного правительству и поощряемого законодателями, ставшимися всюду продемонстрировать свою заботу о трудящихся. Массовый выпуск денежных знаков, не обеспеченных товарами, для выплат на предприятиях, ничего не производивших, обесценивал все усилия правительства по стабилизации экономического положения. Разумеется, не будь этой медвежьей услуги, правительству пришлось бы самому принимать меры, чтобы не допустить голод и разорение в регионах с прежде сравнительно высоким уровнем жизни. Но дело не столько в том, что меры эти могли быть менее разрушительны, сколько в том, что, получая — не производя, предприятия

просто ждали дальнейших подачек вместо того, чтобы действовать. Целые отрасли и огромные территории фактически выпали из-под правительственного контроля, долженствовавшего теперь осуществляться не столько голосом, сколько рублем. Директора крупнейших предприятий организовались, чтобы избегать контроля сверху вообще, а когда удавалось заработать, действовали в своих интересах. Между тем (темное дело — по чьей вине и с чьим участием), запасы сырья и готовых изделий широким потоком шли за границу, обогащая более ловких. Вырученная валюта оставалась в иностранных банках. Одни только сведения, случайно попавшие в печать, могли бы составить целую книгу.

Куда смотрело правительство, это естественный вопрос. Но на самом деле правительство должно руководствоваться законом. Законодатели, насколько можно судить, не приняли ни одного закона, который мог бы актуально помочь в решении головоломных проблем перехода от социалистической к рыночной экономике. Скажем, нет и нет разумного закона о земле. Нет закона о биржах и банках, который воспрепятствовал бы использованию внутренней, недоступной для всех информации для обогащения привилегированного круга дельцов. Компромиссы между идеологиями, представленными в среде законодателей, являются бедствием, лишаящим законы смысла. То, что отсутствие идей сочетается с манией величия, законодатели доказали своим голосованием в черную пятницу, подтвердив и усилив всю полноту бесконтрольной власти, предоставленной им брежневской бумажной конституцией. Поскольку они не знают, как двигаться вперед, все, что им останется после низвержения правительства президента, — пятиться по уже пройденному пути назад, пока какая-либо сильная личность, чуждая демократической стыдливости

Ельцина, не разгонит их всех, оставив для себя только их всеобъемлющую власть.

Итак, положение сторон после черной пятницы 12 марта: с одной стороны, законодательная власть, "ничего не забывшая и ничему не научившаяся". Это один из претендентов говорит от имени народа. Другой претендент — президент, в отличие от законодателей, избранный на "первых в стране свободных выборах". И между ними председатель конституционного суда, представляющий брежневскую конституцию, конституционность которой довольно спорна.

У каждой из состязующихся сторон есть сильные аргументы. У законодателей — провал политики президента. У президента — кивок на законодателей, которые провалили его политику. У стража конституции — ржавый скрип весов юстиции. Но едва ли все эти аргументы способны повлиять на исход противостояния.

Народ устал от жертв, уже принесенных им сегодняшней базарной экономике. Но именно поэтому сама мысль о возвращении назад, к исходному пункту падения, должна пугать его больше, чем бросок вперед, к превращению базара в рынок — ожидаемый фонтан "цивилизованной жизни".

Высший командный состав армии едва ли склонен к парламентской форме правления, с ее извечной необходимостью заискивания перед партиями. Прелесть же товарно-рыночных отношений эти люди почувствовали на своих новых дачах — совсем таких, как у их западных коллег — и не предназначенных для длинных носов из парламентских комиссий. Они должны предпочитать президентскую власть, с которой легче договориться. К тому же плох тот генерал, который не надеется стать президентом. По всем этим причинам военные едва ли станут мешать Ельцину пренебречь законодательными рогатками, которые Съезд выставил на его пути к референдуму.

Наконец, провинциальная российская администрация. В основном, это те же партийно-советские бюрократы, что и большинство законодателей. Те, но не те. Они могут быть заинтересованы в сохранении крутой лестницы подчинения от их кабинетов вниз, но не сверху к ним. Важнее то, что им необходима исправно функционирующая, а не митингующая власть сверху. Поэтому-то они против референдума и политических игр. Но едва ли их устроит такой Совет, к которому тянутся все нити управления, попадающие тем самым в сотни рук, дергающих эти нити в разные стороны. Значит, увидев, что референдума или иного самоуправления Ельцина не избежать, они могут еще раз стерпеть.

Итак, Ельцин имеет последний шанс. Если он так же решительно воспользуется им, как и первым, когда он отхватил огромный ломоть советского каравая — Россию, этот ломоть пока останется за ним. Но для этого ему придется порвать сети брежневской конституции, созданной не для того, чтобы править, а для того, чтобы отгородиться от народа лесом рук законодателей, голосующих за последнее решение политбюро.

Хорошо, Ельцин победил, потасовка кончилась. Если кому-нибудь больше нравится, пусть победил Совет. Все равно надо жить, гадать, куда деваются в России займы, полученные от "цивилизованных" капиталистов, и радоваться, что покупательная способность доллара в России в 10 раз больше, чем в Америке. Надо жить дальше, но как жить дальше?

Любопытно, что, описывая выше на нескольких страницах драматический эпизод российской смуты, почти не пришлось говорить о самом народе, к которому все апеллировали. После черной пятницы на морозные улицы выплеснулись 5 тысяч москвичей — пополам "за" и пополам "против". Это примерно 0,1 % избирателей. Много это или мало? Надо ли ждать, что последующие народные мани-

фестации кого-нибудь сметут и взамен поставят над собой очередного косноязычного героя? Или народ будет и дальше жить неизвестно как, но известно как умирать?

Урок, который дало нам маленькое русское землячество в далекой Америке, показывает, что все эти вопросы в стороне от сути дела.

Взглянем на этих, "кто прост".

Как их прежде всего называть? Простонародье? Но это слово отягощено ассоциациями, которые сейчас неуместны. "Простые люди"? Но так в сталинскую эпоху именовались те, кто еще не попал в лагерь, в отличие от злостных врагов народа, которые уже умерщвлялись там за намек, что "тараканище" в книге Чуковского для детей изображает усатого "вождя народов". Назовем бесхитростно этих "тех, кто прост" н а р о д о м , в отличие от политиков и г-на Астафьева, которые в ы ш л и и з н а р о д а .

Это чисто коммунистическая идея призывать народ на улицы и баррикады, где он воюет булыжниками за своих вождей, которые "привносят в массы идеологию". Старинная же мысль, которую как нельзя лучше подтверждает русское землячество в Калифорнии, состоит в том, что народ — носитель нравственности.

Эта мысль кажется несколько отвлеченной в применении к российской жизни. Перестройка оказалась, как мелкое решето. Она быстро отсеяла социализм, видимо, давно превратившийся в пыль. Но слуги социализма и народа, отряхнувшись от пыли идеологии, сами оказались слишком крупными. Они через решето не прошли и остались на местах. Однако пришлось сменить имена — скажем, "секретарь горкома" на "мэр", или, по-русски, "городской голова". Имея за спиной хорошую школу руководящей работы, в большинстве они сразу поняли две вещи. Во-первых, что они капиталисты,

и это только соц-угнетение подрезало их прирожденные способности. Во-вторых, что период первоначального накопления они уже прошли, — при социализме. Теперь, используя нажитой Капитал Маркса, с индустриально-аграрной базы социализма "можно иметь". Послушаем нового капиталиста:

"Как бы объяснить доходчивей. Берем формулу товар—деньги—товар, ТДТ. Звоню этому Распашенкову, когда-то был у меня вторым. Говорит: "Тебе есть. Пара вагонов, яблоки". Этот товар — мое первое Т. Звоню Михаилу Сергеевичу. Нет, не однофамилец, но большой человек, я когда-то был у него вторым. Да, если на яблочки будет, он товар берет. Это конечное Т. А в середине стоит мое Д: 20% от продажной цены — это мне. Всё у нас нынче продажно. Раньше — в с е , а теперь — в с ё . "

Итак, вместо того, чтобы на социализме поставить точку, марксистский капитализм поставил даже две точки, но над "е".

Не станем вникать глубже. Не будем и непременно ожидать у российского капитализма наличие генов бывших бюрократов или отрицать участие в росте этого капитализма прямых производителей. Выбранный пример — иллюстрация примет появляющегося российского рынка. Огромное преобладание движения товаров наличных производств по сравнению с производственными инвестициями. Использование информации, скрываемой от остальных участников рынка (современное развитие идеи блата, которое на Западе рассматривалось бы как преступное).

Так, на основе внутренней информации и привилегированных внутренних связей, формируется российский "с в о б о д н ы й р ы н о к", от которого наивно ожидается экстраординарная способность возрождения России.

Есть много причин социальной и экономической природы, которые мешают благоприятной эволюции

этого рынка. Одна из них — отсутствие рыночного законодательства, гарантирующего свободную конкуренцию. Но само по себе законодательство (о котором при нынешнем составе законодателей не приходится и мечтать) не помогло бы делу. Во-первых, в России во всех сферах — производства, распределения, обслуживания — отсутствует или очень слаб экономический каркас конкурирующих малых независимых предприятий — фермерских хозяйств, поликлиник и больниц, механических мастерских, станций автообслуживания, групп хозяйств, имеющих независимого владельца, но связанных общими правилами торговли и общим поставщиком, и.т.д. Ключевые слова здесь — н е з а в и с и м ы й , т.е. заинтересованный в равных для всех правилах и условиях, и м а с с о в ы й , т.е. составляющий весомый сектор экономики. Во-вторых, рядовые граждане страны не имеют ни сбережений, ни возможности получения кредита для создания собственного дела. Неимоверные усилия, а обычно и нарушение закона, нужны для создания предприятия из ничего. Тем самым инициатива большинства дееспособного населения страны подавлена. В-третьих, крупная индустрия остается централизованной, подчиненной правительству и под ретроградным руководством. В основе это крупные добывающие и производственные монополии. В-четвертых, разваливающаяся финансовая система страны делает спекуляцию, т.е. неэквивалентный обмен, единственным источником надежного дохода. Практически устойчивый рост или даже сохранение производств на нормальной финансовой основе стали невозможными.

Перечисление можно продолжить на многие страницы. Но скажем коротко: В Р о с с и и н е т такой вещи, как с в о б о д н ы й р ы н о к. То, что есть — это типичный социалистический рынок, но

только лишенный хозяйского кнута.

Если этому рынку позволить развиваться, Россия станет еще одной страной (ими, например, Южная Америка набита до отказа), где по названию было все для капитализма, но получился капитализм по-вальской нищеты, только подчеркиваемой кричащим богатством тех, кто манипулирует рынком. (Увы, повальская нищета Южной Америки, возможно, смотрелась бы в России не так уж и плохо.)

К сожалению, мыслящая Россия даже не сопротивляется, ибо проблема не осознана. Стихийное развитие манипулируемого рынка беспрепятственно продолжается. Этому не поможет даже КГБ, ибо оставить рынок пустым — это не решение.

Путь к настоящему рыночному хозяйству только один: нравственная ситуация на рынке должна быть изменена. Едва ли это можно сделать, убедив дельцов, почувствовавших вкус денег, что капитализм не рождается по формуле деньги—товар—деньги, тем более, по формуле "ваши деньги — их товар — наши деньги".

В отличие от социализма, капитализм прежде всего явление нравственного плана, как это впервые на рубеже двух последних столетий со всей отчетливостью показал Макс Вебер (1864—1920), заметивший, что дух и стимулы капитализма выросли из протестантской этики. Конечно, в нескольких словах невозможно передать ни главные идеи социологии Вебера (круг интересов которого необычайно широк), ни его анализ реальных фактов истории, доказывающий правильность его нетривиальных общих выводов. Суть того, что важно в нашем рассмотрении, видимо, может быть выражена коротко: этика деятелей рынка должна быть в согласии с принципами свободного рынка. Тогда рынок стимулирует развитие капитализма. Или можно сказать иначе: свободный рынок должен быть частью нравственных

убеждений — совести индивидуума — так же, как, скажем, заповедь "не убий". Тогда и только тогда рыночные отношения становятся капиталистическими.

Важность этического начала связана с тем, что на свободном рынке действуют свободные индивидуумы, которые фактически могут эффективно контролироваться только их внутренним Я, а не полицейским. Рынок поэтому предоставляет очень большие возможности для злоупотреблений свободой, которые становятся явными далеко не сразу и не всегда преследуются законом. Реальная жизнь, конечно, всегда порождает компромиссы. От того, как далеко они идут, зависит, где мы — в Южной или в Северной Америке.

Автор, кажется, слышит в этом месте громкий смех читателей. Что-нибудь вроде того: "Ишь, чего захотел! Совесть ему на рынке подавай. Да когда этот шакал делает выбор между совестью, которой у него нет, и мерседесом, — надо быть идиотом, чтобы не догадаться, каков будет выбор!" Да, в этом и состоит российская проблема. Никем не решаемая, пока власти увлечены играми в демократию на полях брежневской конституции. Тупик.

Вспомним, однако, снова русское землячество, которое напомнило нам, что общество — это система с двойной нравственностью. Какая из нравственностей работает, зависит от того, в какие условия поставлен народ.

Хоть и малозаметный на фоне российского безвременья, средний гражданин России хорошо образован, профессионально подготовлен и с готовностью следует закону. Сейчас он шокирован неспособностью общества опереться на эти его качества. Но появившись социальные механизмы, поощряющие индивидуальную деятельность и деловую инициативу, он был бы вовлечен в рыночные отношения,

и, наконец, появился бы сторонник свободного рынка и честной конкуренции.

Механизмом, стимулирующим деловую инициативу при капитализме, является банковский кредит, займы. Доступность кредита для широких слоев народа и создает нравственный и деловой противовес манипулированию рынком на основе внутренней информации и закулисных соглашений.

Спустившись с абстрактных высот капитализма вниз, в Россию, мы, однако, не обнаружим там ни малейшей возможности получения в повсеместно возникающих банках кредита на приемлемых для нормального экономического развития условиях. То есть кредит есть, пожалуйста, но процентам, которые должник выплачивает банку, мог бы позавидовать любой ростовщик прошлого. Российский кредит рассчитан на чисто спекулятивную экономику, на ловкость в извлечении прибылей из диспропорций, обусловленных информационным голодом, и, пожалуй, на некоторую долю "мошенства", не фиксируемого в банковских документах.

Оглянувшись вокруг, мы увидим в России и иное препятствие для широкого развития деловой активности: организованную преступность, теневую форму деловой активности, тем легче распространяющуюся, чем больше рожонов стоит на пути ее легальной тезки. Не будем углубляться в проблему. Заметим только, что эта мускулистая теневая Россия начеку и обкладывает данью каждого, кто начинает "делать деньги". **В ы с о в ы в а й с я , в ы с о в ы в а й с я , о с т а н е ш ь с я б е з г о л о в ы !** Итак, лучше не высовываться, а уповать на печатный станок и арифметику, которая увеличивает номинал каждой купюры простым добавлением нуля. Что-что, а нули пока в запасе есть.

Ну что ж, попробуем представить, что же надо делать, пока процесс формирования российского "лже-рынка" еще поправим.

1. Все деньги, которые удастся наскрести на экономику, следует направить на кредиты для организации новых или реорганизации старых предприятий. Эти кредиты должны выдаваться частным лицам или их инициативным группам. Несколько примеров: а) Вместо дотации, которая используется дирекцией Н-ского гиганта, чтобы платить зарплату неработающему коллективу, деньги следует распределять между теми, кто, используя персонал и ресурсы предприятия, берется сделать это предприятие или какие-то его цеха рентабельными. (Это не против дирекции. Это скорее инструкции для нее от номинального хозяина — государства.) б) Н., квалифицированный рабочий, хочет открыть мастерскую. План и смету он представляет в Кредитный банк, который после одобрения проекта предоставляет заем, в) Разумеется, первой заботой должно быть кредитование частных и коллективных фермерских хозяйств.

Читатель, конечно, понимает ограниченный смысл этих примеров. Действия, о которых в них идет речь, в основном, не должны координироваться бюрократией "ни сверху ни сбоку". Они должны, так сказать, возникать спонтанно, в силу условий, созданных простым разумным законодательством и общими мерами правительства, стимулирующими вовлечение в рыночный процесс широких слоев населения.

2. Международные займы, которые до сих пор почти бесследно растекались по большой территории страны и по большим карманам, следует, в основном, предоставлять в форме прямого кредита в а н и я малых частных предприятий.

3. Оставим этот пункт пустым, так как автор не представляет, как можно было бы защитить население от организованной и неорганизованной преступности. Но, вероятно, чем больше возможностей для частной экономической инициативы, тем больше

вероятность, что вовлечение смекалистых людей в преступные организации замедлится.

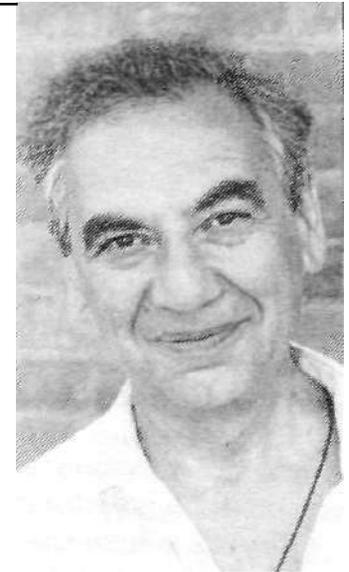
Перефразируя слова Тютчева, можно сказать, что мысль изреченная есть тривиальность. Но за набором тривиальностей, с которым выше встретился читатель, есть и еще что-то — это Надежда.

"МЕЛКИЙ ЖЕМЧУГ"

"Мелкий жемчуг", новая книга Аллы Кторовой, разнопланова и многотемна. Это литературно-исторический коллаж, где описание пращуров и предков прошиваются картинками жизни современной Москвы, а воспоминания о детстве и юности во время Второй мировой войны идут параллельно с рассуждениями о современной литературе, взглядами автора на нового человека эпохи НТР и т.д.

"Мелкий жемчуг" продается во всех магазинах русской книги США и Европы. В книге 303 страницы, с портретом автора и фотоиллюстрациями. Обложка выполнена Вагричем Бахчаняном. Цена книги — 20 долларов. За пересылку — 1 доллар. Заказы на книгу также принимаются по адресу:

Victoria Sandor,
5838 Edson Lane,
Rockville, MD, 20852
USA



ЮЛИЙ ШРЕЙДЕР

ПОСТМОДЕРНИСТСКОЕ БАРОККО

Покойный математический логик Сергей Юрьевич Маслов обратил внимание на любопытную закономерность чередования архитектурных стилей.

Стили, характеризующиеся прямолинейностью контуров и ясностью конструкции, — сменяются стилями, где прямой предпочитается кривая, где форма имеет самостоятельное значение, а конструкция нарочито усложнена. В свою очередь последние сменяются функциональными стилями. Грубо говоря, получается чередование типа: романский стиль — готика — ренессанс — барокко. Нетривиально здесь не само это чередование, проверенное Масловым достаточно дотошно в разных масштабах времени и географического пространства, но обнаруженная им четкая связь этих стилей с господствующим умонастроением. Функциональность архитектуры соответствует эпохам, высоко ценящим разум и уповающим на способность общества разумно решить стоящие

перед ним проблемы. Наоборот, "украшательские" стили порождаются эпохами, не столь полагающимися на возможности разумных преобразований и более склонными обращаться к духовной сфере.

С.Ю. Маслов подчеркивал, что выбор именно архитектурных стилей не случаен. В этой сфере создатель гораздо более зависим от поддержки общества, чем в других сферах искусства и литературы, и потому сильнее связан обязательством считаться с умонастроениями общества.

Другие виды художественного творчества могут порождать оппозицию признанным направлениям и стилям. В архитектуре невозможен "андерграунд".

Тем не менее мне представляются уместными размышления о новых литературных стилях, которые несет с собой посттоталитарная эпоха. Слово "посттоталитарный" я сегодня воспринимаю без той светлой радости, когда оно несло в себе надежду на избавление от бесчеловечного тоталитарного режима, на обретение духовной свободы.

Новая эпоха принесла новые проблемы и новые угрозы. Но она дала новые возможности, о которых раньше нельзя было и мечтать. Тем самым она поставила человечество перед вызовом, лишив одновременно многих привычных иллюзий и надежд на простые и логически ясные решения.

Литература — это один из ответов на вызов эпохи. В этом предпосылка возникновения нового литературного стиля, реализующего современный путь развития духа. Разумеется, этот стиль не возник как прямой отклик на политические перемены. Более того, он начал формироваться как предчувствие неизбежности таковых и как условие их осуществимости. Хотя, как мы увидим дальше, сам этот стиль исключает использование литературы для создания социальных проектов. Мы попробуем далее выявить истоки этого стиля в русской литературе и указать его типичные образцы. Но начнем с краткого ана-

лиза того, что этому предшествовало. Для этого надо серьезно отнестись к феномену соцреализма, увидеть в нем не только пародию на литературу с ее лубочными и позабытыми "кавалерами золотой звезды" и мудрыми партработниками.

В соцреализме имела своя "классика", свои достаточно профессиональные образцы, утверждавшие идею построения разумного общества на основе коммунистического перевоспитания. Независимо от своего литературного уровня и "либеральности", произведения соцреализма исходили из строго определенной системы ценностей: социализма как идеального научно обоснованного строя, атеизма — как необходимого отказа от религии, не дающей развернуться человеческому разуму. Один из литературоведов — апологетов соцреализма (Ленобль) прямо писал в конце пятидесятых годов (в самый разгар хрущевской "оттепели"!), что высшее достижение писателя состоит в том, чтобы создать "образ партии". На основании этого критерия он ранжировал виднейших представителей соцреализма, превознося тех, кому удалось создать этот "образ", и ставя на низшую ступеньку тех, кто такой задачи себе не ставил или не справлялся с нею. Как писал Маяковский: "единица — вздор, единица — ноль". По критерию Ленобля, недостаточно было оплевать претензию человека (прежде всего речь шла об интеллигентах) на свое видение мира, на свои моральные решения. Надо было еще умело противопоставить этому миру некий абсолюте, воплощенный в партии, как "уме, чести и совести эпохи". В соответствии с этим критерием Ильф и Петров, создавшие карикатуру на любое проявление индивидуальности в образе Васисуалия Лоханкина и стремившиеся развенчать индивидуализм даже в своем любимом герое — Остапе Бендере, были в течение ряда мрачных лет отвергнуты официальной литера-

турой, посмертно попав в разряд опальных писателей.

Однако, меня сейчас интересует не идеологическая доктрина, но особенности стиля. А эти особенности просматриваются очень четко. Прежде всего соцреализм в высшей степени функционален и не любит никаких украшений или "завитушек", не имеющих легко читаемого функционального значения. Можно, конечно, спорить о разумности самой идеи социализма и об осуществимости идеально организованного справедливого общества. В конечном счете такие стремления ни к чему иному, кроме лагерной системы, привести не могут. Однако вера в социализм и соответствующий ей пакет идей основаны на презумпции в ее рациональной обоснованности. Литературное произведение соцреалистического стиля вынуждено было апеллировать не к естественным чувствам человека, но к его рассудку. Оно не могло себе позволить делать то, что вменял себе в заслугу А.С. Пушкин — милость к падшим призывать, но обязано было демонстрировать логическую неизбежность падений "дурных героев". Отсюда вытекала свойственная классицизму поляризация героев на "коммунистически" добродетельных и "антисоветских" злодеев, предназначенных на поругание. Кроме этого, допускались еще и герои, заслуживающие исправления. Но это требовало определенной смелости и оговорок. В то же время в рамках соцреализма нарастало сопротивление утверждаемым им социалистическим ценностям. Литература начала интересоваться несправедливостью, причиненной конкретной личности, судьбой человека, выбирающего свой путь и делающего моральные выборы... Некоторые из этих произведений оказались опубликованными (как повесть Дудинцева "Не хлебом единым"), некоторые пошли гулять в самиздате, а позже открылся и путь в тамиздат.

В литературе возникла лагерная тема, но публи-

ковались лишь те произведения, в которых можно было прочесть защиту несправедливо осужденных советских людей. Отказ от идеи социализма по-прежнему рассматривался как мыслепреступление, не заслуживающее снисхождения. Чудом оказался выход повести А.И. Солженицина "Один день Ивана Денисовича", но и она еще оставляла возможность рассматривать узников ГУЛАГа как людей, принимающих и советскую власть, и социализм. Романы "В круге первом" и "Раковый корпус", где герои пытались мыслить о происходящем, а не принимать как истину идеалы социализма, так и не были тогда опубликованы. А лагерная проза В. Шаламова не имела никаких шансов на издание. Даже тамиздат ее принял не сразу.

И все же эта антисоцреалистическая проза большей частью сохраняла функциональную стилистику — она лишь аргументировала в пользу иных ценностей: она требовала жалости к человеку, отказа от обмана ради требований государства и партии, словом, того, что принято называть общечеловеческими ценностями.

Основной поток диссидентской литературы тех лет сохранял принципиальные особенности официального стиля, с изменением знака содержания на противоположный. Его задача состояла в том, чтобы опровергнуть рациональную аргументацию соцреализма. Классическая функциональность формы оставалась, а герои по-прежнему поляризовались на безусловно добрых (сохранивших моральные устои) и безусловно злых (слуг дьявольской машины репрессий). Кроме них были еще и сомневающиеся или не до конца раскусившие истинную суть коммунистического режима.

Влияние западного модернизма привело к усложнению формы, смене прямолинейных конструкций на усложненную кривизну, отказу от прямолинейной шкалы времени.

Интересно, что рекордных достижений в этом стиле достиг признанный мастер соцреализма Валентин Катаев. Уместно тут и упоминание В. Аксенова, А. Битова, В. Максимова и ряда других. Все это направление заслуживает отдельного серьезного разговора, хотя я лично убежден, что подлинно новый стиль родился не здесь. Ибо все это направление еще вело спор с соцреализмом и, тем самым, последний в них как бы еще присутствовал. Сама изощренность формы несла здесь четкую функцию: спрятать явное противоборство с господствующей идеологией, замаскировать сопротивление системе, превратив его как бы в литературную игру. Но такая игра-маскировка лишена подлинной свободы. Атакуя соцреализм, модернистский литературный стиль оставался столь же классическим (конструктивным), как его антагонист и предшественник. По сути дела модернизм оказался просто замысловатым конструктивизмом, а не реализацией естественно ожидаемого бароккообразного стиля. В нем сохранилась четкая поляризация героев, только добродетельным героем становился правдоискатель, ищущий выхода из ловушки коммунистической системы. Способность самостоятельно мыслить и индивидуально воспринимать мир стала высшей ценностью, а ее антиподом — запрограммированность системой. Романтические истоки будущего модернизма можно обнаружить еще в "Звездном билете" раннего В. Аксенова или даже в "Созвездии Козлотура" — блистательного дебюта Фазиля Искандера в "Новом мире". Слабость и неприспособленность главных героев выражается в их отказе использовать силу, которую дает вхождение в правящую структуру. Герой не хочет воплощать в себе мощь правящей партии, он понимает, что это дается ценой отказа от самого себя. Эта позиция противопоставляется "человеку стада", тем самым опять

возникает четкая поляризация добра и зла, высокого и низкого.

Протест против конструктивистских (волей-неволей поучающих) схем, интерес к метафизическим глубинам выразился прежде всего в интересе к документу. В семидесятые годы развился интерес к мемуарной литературе, к эссеистике, сильно потеснившей спрос на литературу, претендующую на учительство или прямой спор с учительством соцреализма.

Надежда Яковлевна Мандельштам как-то сказала, что ей стало неинтересно читать, как некто вошел и снял шляпу. Мне кажется не случайным, что из произведений Солженицина наибольшее влияние оказал основанный на документах "Архипелаг ГУЛАГ", в то время как художественно-философскую эпопею "Красное колесо", по удачному выражению Доры Штурман, "еще и не начали по-настоящему читать" (Новый мир, № 2, 1993 г. с. 144).

Ощущение недостаточности классического стиля литературы, взявшей на себя долг учить, ясно осознал Варлам Шаламов — писатель столь же знаменитый, сколь и недооцененный. Он позволил себе крамольное в рамках классицизма высказывание: "Никто никого учить не может, не имеет права учить. Искусство не облагораживает, не улучшает людей... Новая проза — ... документ, прямое участие автора в событиях жизни. Проза, пережитая как документ. Эффект присутствия, подлинность только в документе" (О "Новой прозе", Возвращение. М. Советский писатель, 1991, — с. 287). Но проза самого Шаламова не просто документ. Не случайно он пишет о "Пушкинских заветах, Пушкинских исканиях" (там же). Шаламов пишет о людях, находящихся в открытом соприкосновении с метафизическим злом, когда все человеческое искажено этим злом. Поэтому для него невозможна поляризация добрых и злых, благородства и подлости, невозможен герой — рупор

декларируемого добра, как невозможно искать источник зла в тех или иных злодеях. В этом нет никакого релятивизма, просто весь мир деформирован абсолютным злом, перед которым "сломаться может каждый". (Я цитирую устный ответ Шаламова на мой прямой вопрос о том, каким образом ему удалось не сломаться?). У Шаламова почти всегда есть герой, воплощающий авторское "Я", даже когда о нем говорится в третьем лице. Само появление текста свидетельствует, что этот герой духовно уцелел, но в повествовании он так же не защищен от метафизического зла. Единственный подвиг, который ему суждено совершить, — остаться очевидцем-летописцем того ада, который ему суждено было пройти.

Проза Шаламова многофигурна, многопланова. Высокая трагедийность ситуаций соседствует с грязью и низменными страстишками, ибо все герои вынуждены жить в грязи (в буквальном и переносном смысле). В повествование включаются не ограниченные конструкцией все новые и новые лица, разного масштаба, с разными судьбами, которые лагерь нивелирует, сводя к общей заботе о пайке, о защите от холода, от ужаса блатного окружения и произвола всех, от кого зависит судьба лагерника. В этом мире нет однозначно выражаемых смыслом, кроме одного — разрушения человека, коллапса личности. В одном из наиболее сильных рассказов симптомом выхода из почти окончательного распада души насквозь промерзшего и оголодавшего до костей человека оказывается внезапно всплывшее из глубин подсознания слово "сентенция", ставшее названием этого рассказа. Все это явные признаки бароккообразности стиля, которому было суждено явиться на смену господствующему конструктивизму.

И все же мне хочется связать возникновение нового стиля, который мне однажды уже довелось окрестить (удачно или нет — судить не мне) пост-

модернистским барокко, с прозой Венедикта Ерофеева, с его бессмертной повестью "Москва — Петушки". Центральный герой повести, Веничка, явно отождествляется с автором. Дело не столько в общих чертах биографии, сколько в заявляемой авторской позиции, не претендующей ни на какую авторитетность (разве что в знаменитых рецептах коктейлей, от одного чтения которых может помутиться в голове). Веничка и многогрешен, и по-детски чист. Он прочно выпал из той культуры, что считается в этом обществе обязательной, но для него нет проблемы сопротивления навязываемым схемам. Он слышит голоса ангелов и мучается тем, что никогда не видел Кремля. Более сильный внутренний импульс как всегда выносит его к Курскому вокзалу, где в Петушках ждет его ребенок, уже умеющий прочитать букву "Ю". Веничка пьян, но выпивка — это тот язык, на котором только и оказывается возможным человеческое общение. Даже железнодорожный контролер принимает стаканчик взамен штрафа за безбилетный проезд. Мир Венички ценностно ориентирован в абсолютной шкале, где на одном полюсе ангелы господни, дающие ему благой совет — где утром у вокзала достать "красненького", а на другом эринии — адские исчадия, помешавшие захмелевшему герою выйти в Петушках и преследующие его по ночной Москве. В конце концов эринии колют его шилом в горло, пророчески предвещая реальную смерть автора от рака в указанном им самим месте. Сами герои отнюдь не закреплены в том или ином месте ценностной шкалы, все они, в том числе и Веничка, тесно соприкасаются и с миром высокого, и с миром низкого. Искреннее умиление перед женщиной выражается в нелепой на первый взгляд ассоциации — "женщины трогательные создания, они пысают, приседая". Чтобы произнести такое даже мысленно, нужно любить женщину очень чистой и глубокой любовью. В пья-

ной голове героя вьется точная и глубокая метафизическая мысль, он читает в сердцах окружающих его людей, ибо искренно всех их любит, хотя и далеко не всегда им симпатизирует. С этим находится в глубоком противоречии полная неконтролируемость собственных поступков под воздействием хмеля. Но героя и нельзя помыслить трезвым и воплотившим свою мысль в отчетливо осознанное поведение.

Тогда герой оказался бы суперменом, стоящим на голову выше (а, следовательно, ниже) всего окружения. Кстати, по условиям, которые диктует стиль, это окружение в принципе открыто. Ничто не мешает читателю оказаться на одной из промежуточных станций, войти в вагон и вступить в очередную беседу с героем: то ли о метафизических глубинах, то ли о "науке страсти нежной", то ли о жизненных огорчениях. Единственно, о чем разговор не получился бы, — это о достоинствах и пороках коммунизма, или о преимуществах президентского или парламентского правления. При всей литературной эрудированности автора и его героя, внешние умственные конструкции их не волнуют, они не способны умиляться искусственным построениям. Все, что поставлено "на службу коммунизму" или другой идеологии, отвергается с порога. Бодрый оптимизм музыкального радиовещания приводит лишь к одной ассоциации: "Все певцы поют противно, а противнее всех поет Иван Козловский".

Сложные философские и литературные реминисценции Венички всегда теснейшим образом (часто очень неожиданно и нетривиально) связаны с густой тканью жизни, высвечивая в ней неожиданные смыслы. Так еще раз возникает столь характерное для барокко сцепление высокого и низкого, метафизического и обыденного.

По моему глубокому убеждению, Венедикт Ерофеев — это исток и вершина уже родившегося пост-

модернистского барокко, с его противостоянием всем формальным схемам, с его поиском многомысленности жизненных форм в их подлинности. У Шаламова, которого я мог бы причислить к предтечам этого стиля, мир слишком безнадежно деформирован метафизическим злом. У Ерофеева есть место для глубинной человечности, есть ощущение неустранимости божественного начала в человеке в самых неприглядных ситуациях. Недаром Ерофеев так нежно относится к Василию Розанову. Я не готов обсуждать проблему христианской ортодоксальности творчества Ерофеева, будучи уверен лишь в том, что этому автору было присуще глубокое ощущение сакрального и понимание (как и у Розанова) сакральной глубины пола.

И тут лежит объяснение глубокого отличия Ерофеевской линии в постмодернистском барокко от тех авторов, для которых метафизика божественного начала не существует, а отказ от поляризации высоких и низких героев перешел в полный этический релятивизм. Поскольку без чувства сакрального человек обойтись не может, то эта вторая линия переродилась очень быстро в сакрализацию секса и полный этический релятивизм. Мне не очень хочется даже включать эту отвратительную безвкусицу в рамки обсуждаемого стиля, но пока не вижу способа провести границу литературоведчески, а не в ценностных или религиозных категориях. Все же есть какое-то глубокое искажение натурального порядка вещей в том, что предметом сакральности оказывается сперма любовника на колготках жены или акт содомского соития. Это уже не смешение высокого и низкого, а тотальная демонизация человеческой экзистенции, спрессовываемой в мрачную сексуальную угнетенность. Такое направление в литературе не очень-то и заслуживает обсуждения. Коммунистический соцреализм был хотя бы обезьяной Бога и потому какой-то отсвет Божественного мог иногда

сохранять, ибо обезьянничали все же люди, созданные по образу и подобию Бога и сохранявшие порой понятие об естественном законе.

Доказательством реальности постмодернистского барокко для меня явилась недавно вышедшая книга Евгения Федорова "Жареный петух", которая оказалась выдвинутой сразу двумя номинаторами на премию Букера (М., МП "Итларь"; "Carte blanche", 1992 г. — 251 с.).

Книга Федорова состоит из трех его вещей, в каждой из которых повествование идет от первого лица, представляющего авторское alter ego. Правда, эти лица несколько отличаются биографией и судьбой, но это все вариации общего архетипа. В главном произведении есть еще два героя, в той или иной степени "говорящих от автора" и оттеняющих суть авторского духовного склада. На автора тоже заметно повлиял В.В. Розанов, хотя и не упоминаемый им прямо. (Впрочем, автор сам это признал в личной беседе).

Автор и его двойники — мои сверстники: я даже в Московском университете учился почти в то же самое время. При чтении мне все хотелось по-ослиному закричать: "И я, и я!". И я тоже мог попасть, да и попадал, в сходные ситуации, хотя лагерь меня миновал. Я так же искренне верил в официально проповедуемые идеалы, хотя уже знал, что эта вера никого не спасла, и был осторожнее, что, впрочем, тоже спасало далеко не всегда... Для нас для всех стоял (и стоит) вопрос "как выжить" — и не просто выжить, а по-человечески, чтобы упрек "так жить нельзя" не пришлось обращать к себе вновь и вновь.

Как выжить — это сюжет "Робинзона Крузо". Но он боролся лишь с силами природы, которая, как говаривал А. Эйнштейн, коварна, но не злонамеренна. Природа не знает приемов, как подчинить себе ум и волю человека, как понизить его сопротивля-

емость — и чем его соблазнить. Совсем другое дело выжить в лагере, будь то "социалистический лагерь", или один из островков ГУЛАГа, пусть даже самый уютный, почти курортный Каргопольлаг, где нашему герою досталось "тепленькое" место в конторе (гораздо более уютное, чем довелось получить самому автору). Лагерь полон не только ужасов, но и соблазнов, побуждающих примириться с лагерной жизнью как с нормальной. Мне не первый раз приходится сталкиваться со своеобразной апологией лагерей (послевоенных, ибо лагеря довоенные — это удел отцов, а мои сверстники или непосредственно старшее поколение хлебнули послевоенных удовольствий). Все они опровергают Шаламова: мол, было не так или не только так, мол, труд был производительным, а не бессмысленным, и дружба лагерная была, и весело бывало. Оно и понятно по-человечески: если лучшие годы пришлись на лагерное существование и вышел человек оттуда не калекой, то не хочется признаваться себе, что все это была не настоящая жизнь. Да и на воле действовал сходный эффект — подшкурный страх сам по себе, а радость жизни сама по себе. Было чем жить, бывали периоды устроенности, было участие в потоке жизни, оазисы осмысленного существования, захваченность делом или общением, любовью или домом. Герои Федорова испытывают радость, обретая удобное место на нарах — в хорошей компании. А то, что на соседних нарах очаровательной Зойке устраивают "трамвай" (упаси Боже, это не групповое изнасилование, а скорее коллективный романчик, который утомленная Зойка по своей воле и прекращает), — так это подается в виде очередного этюда на тему "всюду жизнь". Автор описывает этот эпизод глазами потрясенного Краснова, но сам по сему поводу не морализирует, не ужасается, а фиксирует происходящее как слегка отстраненный, но все же включенный в эту жизнь соглядатай. На него тоже

действует Зойкин шарм и ее жизненная сила. Эта сцена вполне вписывается в ряд других "естественных" — отроческое наблюдение за тем, как жеребец Пегий орудует с кобылой Машкой, собственные любовные игры с невестой и ее сестрой, на которой наш повествователь неожиданно оказывается женатым, и т.п.

А смысл той сцены с Зойкой не понять без другой — провожания Зойки, отправляемой на этап, всеми оставшимися в зоне зэками. Не могу не процитировать: "Нас не менее пятисот человек. Стоим в гробовом молчании, тянем тонкие шеи туда, откуда должна показаться первая краля ОЛПа, обнажили оболваненные машинкой зэчьи головы. Мы — угрюмы и никто эту грусть, грусть глубокую, и никто никогда не поймет! Начальство переполошилось; не бунт ли? Ан нет. Она выпорхнула, солнце взошло! Жена, облаченная в солнце. Боже, как хорошо! Толкуй тут после этого о "порнографии" Федорова. ("Главный порнограф современности" — величает его "Литературная Россия", и этот отзыв гордо вынесен на тыльную сторону обложки).

Может быть, в этой способности ощущать биение жизни во всех ее проявлениях, не теоретизировать, какой она должна быть, но просто участвовать в ней, не быть поглощенным собственной борьбой за выживание и быть открытым (не побоюсь философского термина, как не боится их и автор) к чужой экзистенции, — может быть, здесь секрет жизнеустойчивости, итог сюжета? Впрочем, это уже попытка домыслить буйный поток изливающихся из авторского текста впечатлений, ассоциаций, философских максимумов и их вполне раблезианского травестирования.

Конечно, долагерное пребывание автора на искусствоведческом отделении университета снабдило его ворохом культурных реминисценций, но они только равноправный компонент его немалого

жизненного опыта, да и сами цитаты из античных классиков. Священное писание и философские трактаты втянуты в личное экзистенциальное поле — как обольстительный пояс Геры приходит повествователю на ум при воспоминании о собачьем ошейнике на голой талии возлюбленной жены. Двойник автора, философ Краснов, упоенно читающий Гегеля на лагерных нарах, — одновременно, как уже говорилось, его антипод, живущий в принимаемых и заново выстраиваемых теоретических схемах. Этот девственник, попавший на Лубянку из-за своей "вражеской вылазки" на комсомольском собрании, где он обвинил комсомол в перерождении, весь во власти марксистских формулировок. Он и лагерь старается осознать как реализацию коммунистической утопии равенства и справедливости.

Прежде, до лагерного воспитания, "автор" принимал власть и ее верховного носителя как захватывающий миф, вплоть до экзальтации (разрешившейся срамным казусом) при лицезрении товарища Сталина на трибуне мавзолея. Будучи сверстником автора, я тоже хаживал с университетом на демонстрации, как на своеобразные тусовки, где почти каждый мечтал увидеть на мавзолее Сталина. Это считалось удачей, и легкое соприкосновение с тайной власти щекотало нервы. Впрочем, как писал по другому поводу К.С. Льюис, лучше восхищаться им, чем никем не восхищаться. Восхищение — очень человеческое чувство, даже если предмет выбран, мягко говоря, не слишком подходящим. Любопытно, что возвышенное чувство к Сталину никак не противоречило ощущению окружающей неправильности и несправедливости, которое исходно автору было присуще.

Совсем в другой плоскости лежит обнаружившееся у авторского героя умение установить дружелюбные отношения со следователем, которого он раз и навсегда научил, как для ответа на экзамене за-

помнить пятерку лиц, называвших себя группой "Освобождение труда". Эта "дружба", конечно, не скостила нашему герою срока, но, возможно, позволила получить более мягкую статью.

Вполне естественно, что я вычитываю из книги то, что резонирует с моим опытом, — текст, как губка: чуть дотронешься до него, как что-то выступает наружу, все дело в том, в каком месте читателя тянет дотронуться.

Е. Федоров исходит из неуничтожимой реальности человеческой экзистенции, проявляющей себя в любых обстоятельствах, необязательно лишь в крайних (как у записных экзистенциалистов), а и в самых обыденных. Федоров избегает живописать эти крайние ситуации и пытается уверить читателя, что он в такие и не попадал. Ну взяли на Лубянку, ну остригли наголо, шнурки от ботинок отобрали, орал на первом допросе. Все это пустяки, дело житейское. И ведь правда, что каждого забрать могут; все чувствовали это кожей, никто не был защищен. Сам помню, как из деканата энкаведешник в сорок пятом меня на Лубянку вел по Москве. Оказалось, всего лишь на допрос, да еще по делу, о котором я не слыхивал, чему был рад, так как иначе скорее всего раскололи бы. Тут Федоров, описавший, как это бывает, опять-таки прав, тогда не очень-то записались.

Большевистская власть отобрала чувство защищенности у каждого, но дала взамен огромные возможности портить жизнь ближним. Самое примитивное средство — донос. Но и другие пути находились. Повышение социального статуса было у нас тесно связано с умножением доступных способов причинять людям вред при непропорционально малом расширении возможностей содействовать чему-либо полезному. Недаром находятся люди, пострадавшие от сталинизма и все-таки славословящие окочурившегося тирана. Он обеспечивал сла-

достное чувство собственной значимости в гаденьком деле ущучивания всех, до кого хватало силы дотянуться. Да, это было равенство в возможностях сделать подлость. И даже философ Краснов, теоретик коммунистических утопий, готовый с идейных позиций прославлять мудрые установления ГУЛАГа, наконец взрывается: "Я — контра!.. Я против этой злокачественной, как рак, лживой, двуличной, отвратительной, развратной, растлевающей, чумовой системы? Она наступает! Она все, всех пожирает. Я был слеп, одурманен". Многие должны было случиться, чтобы этот человек прозрел. И не последнее здесь — неожиданное привалившая любовь прекрасной полячки Ирены. Так выживает, то есть выправляется, Саша Краснов, до того момента — образец того, "как жить нельзя". Жизнь победила идиотские принципы. Спасение человека в том, чтобы ими в конце концов поступиться.

Впрочем, свои принципы были у деревенских дедушки и бабушки героя (это из фрагмента о детстве — "Былое и думы"). Бабушка из поповской семьи, дед — священник, упорствующий в своем призвании и попавший наконец в лагерь за неуплату непосильного церковного налога, а внук — "юный ленинец". И все же он любит бабушку и деда (хотя и пытается того перевоспитать). Именно над судьбой погибшего в лагере деда скорбит автор, так как не позволяет себе скорбеть над своей собственной участью лагерника.

Не это ли деревенское детство, не дедовская ли семья дали герою в наследство слух на добро и зло — очень опасный дар при советском режиме.

В мысленном споре героя с Шаламовым, с описываемыми тем ужасами, важнее всего его свидетельство "...наш лагерь, обычный ИТЛ по сравнению с шаламовской Колымой смотрится фешенебельным курортом-санаторием... Конечно, я знал и понимал, что в любой момент мыльный пузырь относительной

устроенности может лопнуть, угодишь на общие, а того хуже, на другой лагпункт..., где так и спует... наглая ненасытная жница смерть”.

Так кто же прав в этом споре и что такое лагерь — место неотвратимого уничтожения душ людских, где каждый будет сломан и никакого рецепта сохранить себя нет?

Или лагерь (как и вся страна) — такое же место обитания людей, как и всякое другое, место, где можно загубить свою душу, а можно и освободить ее, приуготовить для стяжания духа? Где герои Е. Федорова действительно избавляются от восхищения тираном и утопических идеалов, ведут интеллигентские беседы, предаются науке страсти нежной и даже возрастают духовно? Боюсь, что любой категорически однозначный ответ будет ложью. Иначе как в амбивалентном стиле барокко решение не формулируется. И главное, сам вопрос по-разному видится изнутри опыта лагерной жизни, к которой на свой дар приобщен каждый. Дело даже не в том, чтобы взглянуть на мир глазами героев Шаламова или Федорова, Солженицына или Домбровского. Такое перевоплощение читателя — эффект давно известный: дети играют в мушкетеров, а юноши смотрят на плечи Элен Курагиной глазами Пьера Безухова. С прозой Федорова все обстоит несколько иначе, тут возникает ощущение, что и для тебя оставлено место в кругу его героев. Рискну сказать, что мое ощущение “своего места” в тексте Федорова, не предполагающее с моей стороны перевоплощения в Сашу Краснова или прекрасную охальницу Зойку (как перевоплощаемся мы в Наташу Ростову), вызвано не столько тем, что я сверстник автора, сколько особенностями стилистики: барокко всегда допускает включение новых фигур. Это в жестких классических и даже модернистских конструкциях каждой фигуре задана точная функция, каждая фигура несет свою расчисленную нагрузку. В

произведениях же стиля барокко фигуры сцеплены причудливым способом, и любая, извне явившаяся, создает новые, неожиданные сцепления. Правда, все в том же барокко есть опасность перейти неуловимую границу между грандиозностью и безвкусицей, гениальностью и графоманством (классические формы искусства в отличие от барочных держат эту границу на замке, там наибольшая опасность — бездарная скука).

Итак, на смену стилям типа классицизма приходит постмодернистское барокко? Пока это лишь моя гипотеза, а приведенной аргументации хватает лишь для того, чтобы предложить ее на обсуждение. Но сам факт зреющего фундаментального сдвига в русской словесности заметили уже многие. И этот факт нуждается в осознании.



Лев АННИНСКИЙ

МЕЖ ЕВРАЗИЕЙ И АЗИОПОЙ

Из ответов на "записки"

ТЕЗИС

Каждый раз, когда оживают в вечном споре "западники" и "славянофилы", я чувствую себя почти именинником: Европа и Азия нас признают и даже как бы на нас "претендуют".

И все-таки каждый раз, когда этот спор возобновляется, невозможно отделаться от мысли, что это всего лишь очередное обострение комплекса нашей вечной неполноценности.

Смысл символов ускользает. Что такое Запад и где он переходит в Восток? Патерналистская скопидомская Германия, сравнительно с вольнолюбивой улично-гаврошной Францией — конечно же, "восток". А если в послевоенной Европе символы разменялись и Германия чувствует себя куда вольнее скопидомской домовитой Франции — так это еще

красноречивее свидетельствует о том, многого ли стоит эта символика. Внутри Германии — свой "восток" и своя граница "запада" с "востоком". Внутри славянского мира — своя: чехи и поляки, конечно же, сугубые "европейцы" перед словаками и украинцами, а украинцы — неприступные "европейцы" перед "москалями".

Теперь пойдем на запад. "Европа" (в том смысле, в каком Витторио Страда определяет ей в удел такие качества, как современность, динамизм, нетрадиционность, вечное беспокойство и непрерывное обновление) — Европа, разумеется, не кончается в Лиссабоне или Лондоне, а становится еще более Европой в Америке. Там уж никакой ностальгии — сплошной динамизм! Дальше как бы и некуда: США — крайний предел западничества.

А если все-таки еще западнее?

Еще западнее — Япония.

Япония — апофеоз динамизма, технологизма, обновленности и прочих зверских качеств, по которым вербуются примкнувшие к ней прочие тигры Азии, оказавшиеся более "современными", чем старые европейские львы, включая британского.

Не попробовать ли другую ось? Не запад — восток, а север — юг?

Север — протестантская этика, рациональный подход, индивидуальный риск, неустанное обновление капитала, свобода и ответственность. Юг — католический нравственный абсолютизм, древняя латинская государственность, социальные системы, среди которых призрак коммунизма чуть не целый век бродил из страны в страну.

С кем окажется Франция: с Югом или с Севером? То есть, с Италией и Испанией или с Британией и Германией? Где пройдет граница меж "современностью" и "традиционностью": по Ла-Маншу или по Альпам? И какой "Запад" мы, русские, мечтаем напялить на себя: северный или южный?

Северо-американский! Всегдашняя российская греза: сбежать в Америку. Так если не застрять в Нью-Йорке, а скользнуть в Америку чуть глубже, — там встретит нас такая провинциальная самостийность, что она сто очков даст вперед нашим украинским самостийникам, мечтающим догнать Америку или хоть Канаду.

А когда мы напяливаем на себя "славянофильство", — мы что имеем в виду? Мы помним ли, из какой философской школы вышли русские славянофилы? С кем рядом сживали на студенческой скамье Киреевские? Как назывался первый славянофильский журнал? Да я и не против, это очень показательно, что журнал назывался "Европеец", я только хочу, чтобы мы помнили, где мы и что с нами происходит. Панславизм — ответ на пангерманизм (и обратно: рука об руку идут эти идеологии двух родственных племен — славянства и германства). И философская школа первых славянофилов — немецкая. У Гегеля учились, у Шеллинга. С Шопенгауэром на одной скамье сидели.

Так что не надо делать из славянофильства русскую отмычку. При всякой попытке положить в основу русской идеи чисто славянский элемент мы из трех этнических опор России вышибаем две: северную (угорскую) и восточную (тюркскую); вместо России получаем Московию, вместо русской культуры — великорусскую, да и то усеченную, ибо великороссы-москвиты, по Ключевскому, есть уже продукт скрещения трех народностей: славян, финнов и тюрок.

То есть, сама по себе славянофильская идея вполне может обернуться русофобской.

Вернемся от этнического аспекта к технологическому.

Витторио Страда замечает, что тоталитарные режимы XX века пытались воспользоваться научно-технологическими достижениями Запада, но при этом

"ожесточенно боролись с другими, самыми существенными чертами современности: гражданским обществом, политической свободой, плюрализмом культуры и т.д."

Оборот "при этом" свидетельствует о том, что знаменитый итальянский советолог хотел бы, чтобы все происходило иначе, и чтобы дикие тоталитарные режимы не попирали "логику", а вместе с "урбанизацией и индустриализацией" брали бы у Запада логически вытекающие из урбанизации "права человека" и прочие ценности "четвертой корзины".

Герцену тоже хотелось, чтобы русские самодержцы не напоминали "Чингисхана с телеграфом". Самодержцев герценовской эпохи сменили Чингисханы с атомной бомбой.

Вряд ли люди Востока (или Западо-Востока, какова Россия) смогут внять этим советам, даже если захотят. Скорее всего, они продолжат свое историческое пиратство, то есть будут перехватывать у Запада технологию, а человеческое содержание — вгонять свое: традиционное и даже отчасти "восточное". Сегодняшняя реальность предвещает именно такое развитие событий.

Тогда поставим вопрос так, как его подсказывает развитие событий: а если то, что мы называем "западничеством", и есть в реальности именно технология, не более того? Западные народы и сейчас-то, прагматично применяя все вестернизированные способы организации производства, — в духовной сфере далеки от общего стандарта. И никогда стандарта не будет! Не знаю, будет ли и согласие: скорее соперничество. Согласие — вообще скорее способ выживания, чем реальная сверхзадача. Исламский реванш, нависающий над XXI веком, говорит о том, что христианнейшего растворения воздуха не получится. Вулканические идеи "карибского человечества" (и то, что Испания, отвернувшись от

Европы, все чаще глядит через Атлантику, туда, куда полтысячи лет назад уплыл Колумб), — все это говорит о том, что не вечно Северу доминировать над Югом и в Западном полушарии. И Африка не впишется в традиционную дихотомию Запад-восток. И Индия. И Китай. Продолжится титаническая борьба. Технология в этой борьбе — не более, чем оружие. Природа человеческая неисправима. Судьба непредсказуема.

Где место России в этой бесконечной драме?

В сущности, только об этом голова у меня и болит сегодня.

Болит — потому что не угадаешь ответа на главный вопрос: каким путем пойдет Россия?

Когда мы говорим: не тем и не другим, а СВОИМ, то это не ответ, а повтор вопроса. Когда мы говорим: РОССИЯ — ЭТО ЕВРАЗИЯ, в таком суждении нет ничего, кроме констатации очевидного географического и геополитического факта.

Все остальное — целина, и пахать ее опять придется "методом тыка", то есть способом проб и ошибок, практически-прагматически — именно так, как определил Витторио Страда: то, что работает, возьмем, а то, что не работает, не возьмем.

Фермер или колхоз? Президент или парламент? Федерация или конфедерация? Еще миллион вопросов, на которые невозможно дать ответ, пока не "влезешь в воду", как говорят гидростроители (а Гераклит прибавил бы, что в ту же воду не войдешь дважды). То есть, пока не начнешь делать. Начнешь — и выяснится, сколько должен стоить мешок суперфосфата сравнительно с булкой хлеба, и что выгоднее: крепкий автомобиль для хлипкой дороги или хлипкий автомобиль для крепкой дороги, и где практически лежит тот предел неравенства (и хамства нуворишей), который народ согласится вытерпеть ради того, чтобы в конце концов всем стало лучше.

Но, во-первых, "конца концов" не будет. И, во-

вторых, что такое "лучше"? Здесь, на наших подзолах, на наших болотах, под нашими дождями, а не в сверкающем Средиземноморье?

Так как же тогда с выбором: Европа или Азия? Запад или Восток? Западники или славянофилы?

Никак.

Вернее, как выйдет.

Тут я недавно обнаружил листовочку в почтовом ящике. Некие активисты пишут:

"Мы считаем себя сторонниками "третьего пути". Мы отвергаем как бездушные потребительские ценности Запада с его культом индивидуализма, так и традиционный деспотизм Востока с его полным подчинением личности. Нам одинаково чужды и "западники", которые завели страну в глубочайший кризис, и "национал-патриоты", мечтающие о новом тоталитарном государстве.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ НОВУЮ РОССИЮ!

Россию, в которой главным принципом жизни будет не большевистское псевдоравенство и не либеральная псевдосвобода, а НОВЫЙ ГУМАНИЗМ!

Друг! Если ты думаешь так же... то приходи к нам по адресу..."

По адресу я, конечно, не пошел, вследствие непреодолимого отвращения к политике и от страха, что очередное движение составит очередную партию, а партия очередной раз начнет безумствовать.

Но настроение этих ребят я понимаю. Выбрать "Новую Россию" — это все-таки лучше, чем "выбрать пепси".

Остается пустяк: понять, что же мы выбрали.

АНТИТЕЗИС, или что говорит Витторио Страда

Витторио Страда прочел вышеозначенные суждения в московской газете "Вехи" (не путать со знаменитым сборником "Вехи").

И написал мне в ответ:

"Прежде всего я должен внести одно уточнение. Будучи, предположим, "знаменитым", "советологом" я не был никогда, и уж тем более сейчас, когда и СССР-то больше нет. Я всего лишь историк русской литературы и культуры. Но причина моей реплики, конечно, в другом. С горячностью, достойной похвалы, если бы она не доказывала произвола против логики, Аннинский после прокурорского: "оборот при этом свидетельствует" утверждает, что я "хотел бы, чтобы все происходило иначе..." и т.д. Не останавливаюсь на том, что тут же мой оппонент впадает в одну из наиболее грубых и банальных, на мой взгляд, теоретико-исторических ошибок: смешивает самодержавие прошлого столетия с тоталитаризмом двадцатого, отождествляя мою мнимую позицию в отношении тоталитаризма с позицией Герцена в отношении самодержавия. Констатирую только, что, согласно смелой интерпретации Аннинского, я хотел бы, чтобы тоталитаризм был "демократическим". То, что в моей статье является описанием тоталитарной, в частности, советской псевдомодернизации, под причудливым пером Аннинского становится нелепым "советом" соединить "дикие тоталитарные режимы" и "права человека". Пируэт, который Аннинский совершает, а главное, который приписывает мне, заслуживал бы аплодисментов, если бы не был грубой мистификацией.

Я не хотел было реагировать, полагаясь на ум читателей, но этот мелкий факт представляется мне подтверждением феномена, к сожалению, свойственного, как я заметил, постсоветской русской культуре, а ранее — культуре диссидентства. В прошлом, будучи объектом нападок советских идеологов (тогда меня именовали "небезызвестным советологом", "антисоветчиком"), я часто сталкивался с такого рода непревзойденной полемической логикой, вос-

ходящей прямо к Ленину, когда, приписав противнику абсурдный тезис, легко расправляются с ним. Я не утверждаю, что Лев Аннинский ленинист: скажи я такое, в свою очередь я сделал бы антилогическое сальто-мортале. Скажу только, что его полемический прием свидетельствует о том, что идеологии меняются, а ментальность (советская) остается. Я не называю его "логические" приемы ни азиатскими, ни тем более европейскими, ни даже, прибегая к модному нынче слову, евразийскими (или свойственными Азиопе, пользуясь остроумным неологизмом Бродского). Это обыкновенная советчина, несмотря на новое содержание."

Так говорил Витторио Страда.

СОВКОВЫЙ ПРИВЕТ!

Вспомнился мне диалог из старой притчи:

— Меня порицают без вины!

— А ты хотел бы, чтобы за какую-нибудь вину?

Прямо сказать, тут есть и то, и другое. Есть важная, существенная для меня проблема, в которой я заведомо повинен. И есть несколько попутных нюансов ("мелких фактов"), которым я не придаю бы значения и никакого бы чувства вины за них не испытал, если бы того не захотел мой уважаемый оппонент. С них и начну.

Разумеется, я отлично знаю, что Витторио Страда — историк русской литературы и культуры. Не решусь сказать, что знаком со всеми его основными работами, но то, что я читал, свидетельствует о том, что он не только знаток, но и человек, тонко чувствующий дух текста. Это и из его ответа. Например, я пишу: "знаменитый советолог", а у него мгновенно возникает: "небезызвестный антисоветчик". Только человек, искушенный в обертонах русской артистической речи, способен так переживать текст. Чисто русское чтение! Я ведь тоже подбирал слова интуи-

тивно, скорее в музыкальном, чем в логическом ключе (логика шла попутно: тот, кто размышляет о советской ментальности, наверное, советолог), — но уважаемого коллегу я не хотел обидеть, а если невольно обидел, — прошу прощения.

Оборот "при этом" в рассуждении Витторио Страды я, конечно, зацепил для удобства полемики. Этого оборота в его рассуждении могло и не быть. Но сама жажда сопрячь или разъять то или другое в русском опыте применительно к западным параметрам все равно бы, я думаю, чувствовалась. И я бы на это отреагировал. Не с тем оборотом, так с другим. Я, когда писал, так в эти оттенки вообще не закладывал никакой программности. Если они моего оппонента задела, приношу извинения.

Есть однако пункт, в котором я действительно осознанно и программно грешен. Витторио Страда пишет, что тип мышления у меня, независимо от идеологии — "советский".

Правильно. Истинно так! Не отрекаюсь. И даже не уважаемому итальянскому историку русской культуры сейчас отвечаю, для которого такие определения, наверное, — само собой разумеющаяся попутность, — а отвечаю я тем моим русским читателям, которые требуют, чтобы мы все немедленно очистились от "советчины" и выбросили бы семьдесят советских лет из русской истории.

Нет, господа-товарищи. Не очищусь. Не выброшу. Ни года, ни дня не выброшу из нашей истории, как бы страшна она ни была. Нет у меня другой. И советскую ментальность я в себе не искореню. Потому что я в ней возник, я из нее сделан, я на ее почве вырос. Этой ментальности не семьдесят, а тысяча семьдесят лет. И положительных черт в ней столько же, сколько отрицательных: это уж как повернуть. Вот и буду поворачивать ее на то, что почитаю лучшим, ни в какой Запад либо Восток не выпрыгивая.

Здесь Родос, здесь прыгай, как говорили когда-то в тех краях, где имел счастье вырасти мой уважаемый оппонент.

Post Scriptum

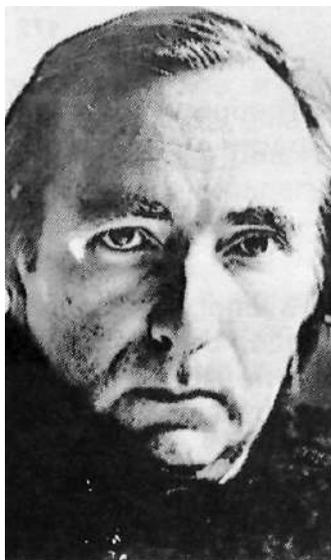
Мне жаль, что я вштопорился в спор о "мелких фактах". В статье Витторио Страда, от которой я первоначально отталкивался, были не менее существенные пункты, к которым я теперь выражу отношение.

Во-первых, мысль о том, что западничество в старом смысле слова теряет смысл: оно теперь очень неоднородно; внутри каждого "западничества" есть свое "славянофильство": реакция традиции на современность.

Этот пункт совершенно соответствует и моему ощущению реальности; спорить тут не о чем.

Во-вторых, мысль о том, что на смену спирально-поступательному движению истории приходит движение колебательно-волновое, "океаническое": приливы отливы, пульсация; "диалог всех"; "дифференцированная глобальность".

Этот пункт хорошо сопрягается с новейшими наблюдениями историков и воззрениями философов. Но, честно сказать, вызывает у меня смутное беспокойство и даже безотчетное сопротивление. Я не могу переварить идею "конца пути", независимо от того, кто ее проповедует: Витторио Страда, Фрэнсис Фукуяма или еще кто-то. "Конец пути" — это смерть. Так сигналил мне темная интуиция, а попробуешь выставить доводы, так и окажешься в глубокой Азиопе.



Лев НАВРОЗОВ

СТАТЬЯ "О МОЦАРТЕ", ИЛИ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ДЕМПРЕССЫ

Начиная с эпохи Возрождения, культура на Западе была в основном коммерческой и всегда зависела от потребителя. Если потребитель хочет слушать музыку Моцарта, то таковая пишется (при наличии Моцарта), а если он желает то, что мне представляется кошачьим концертом, то пожалуйста: хоть 24 часа в сутки к его услугам десятки радиостанций. Две (коммерческие) станции на моем радиоприемнике в Нью-Йорке постоянно передают то, что мне представляется музыкой, а остальные — тот кошачий концерт, который я невольно слышу, когда кручу ручку радиоприемника, чтобы перейти от одной станции к другой.

Культуру XX века, в которой музыкой считается то, что передают эти две станции, можно назвать эли-

тарной, а культуру, в которой музыкой считается то, что передают остальные, — бульварной. В значительной степени обе эти культуры являются на Западе коммерческими: каждая из них ревностно "удовлетворяет спрос своего потребителя". И нельзя сказать, что бульварная культура коммерчески победила элитарную. Например, самая преуспевшая газета в Нью-Йорке — элитарная "Нью-Йорк Таймс", в то время как две самые крупные бульварные нью-йоркские газеты — "Дейли ньюс" и "Нью-Йорк пост" — коммерчески агонизируют и вот уже лет десять и переходят от одних владельцев к другим, ища спасения. Дело в том, что массовый спрос, который раньше удовлетворялся множеством бульварных газет Нью-Йорка, теперь удовлетворяется телевидением и "видиками". Бульварному потребителю интереснее смотреть, чем читать.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

До августа 1991 года культуру в России можно было назвать государственной. В государственной культуре значились более или менее все всемирно известные лица, причем они делились, как в водевиле, на (положительных) героев и злодеев. Положительный герой иногда бывал целиком положительным, каковым был Ленин, но обычно его политическая положительность была не сознательной, а стихийной. Живи, мол, Моцарт в 1903 году в России, он бы наверняка примкнул к Ленину. Но он жил в Австрии XVIII века и мог выразить свою политическую положительность лишь стихийно. В государственной культуре все, что можно сказать о Моцарте, было написано, отредактировано, проверено и отпечатано в государственном порядке. Скажем, в 1956 году исполнилось двухсотлетие со дня рождения Моцарта. Работнику государственной культуры, который писал статью о Моцарте в честь

его двухсотлетия, не требовалось и не полагалось "писать отсебятину". Ему надлежало лишь "пересказать своими словами" государственный текст о Моцарте, меняя порядок слов и предложений, а также используя синонимы и другие языковые эквиваленты.

В целом государственная культура была лживой, ибо ее целью было уверить население, что смысл мировой истории заключается в том, чтобы создать в России, а затем и во всем мире лучшее из всех возможных обществ. Но в какой мере эта лживость распространялась, скажем, на статью о Моцарте в томе БСЭ, который вышел в 1974 году? Ее смысл по существу заключался лишь в том, что Моцарт "предпочел необеспеченную жизнь независимого мастера унижительной службе у деспота-вельможи". Таким образом, как всякий положительный герой XVIII века, он был стихийным борцом против деспотии.

Но если исключить подобные фразы из статьи БСЭ о Моцарте как о стихийном герое-борце против деспотии, то что можно сказать о советских статьях о Моцарте? Вероятно, для 99% населения, Моцарт, исполняемый по советскому радио, или статьи о нем, были пустым местом, ибо 99% населения не понимало музыки, а желало слушать то, что мне представлялось пошлостью. Тот же 1% населения, который понимал музыку, воспринимал статьи о Моцарте как воплощение скуки — упражнения на повторение пройденного. Но государственная культура не интересовалась отношением к ней подданных. Зачем? Ведь никакой конкуренции не было. Надо, однако, отдать должное этой культуре. Она никогда не отходила от фактических данных. Статья о Моцарте была государственным документом. Все в ней проверялось с государственной тщательностью — с тщательностью проверки ракеты, летящей в космос. Отход от фактических данных допускался лишь в

высших государственных интересах ("Необходимо показать борьбу Моцарта против тирании в Европе XVIII столетия").

МОЦАРТ И САЛЬЕРИ

По счастливому совпадению я нашел статью о Моцарте в газете "Известия" от 18 ноября 1992 г. (с. 8) под названием "Завещание Моцарта, обращенное в наши дни".

На протяжении всего советского периода двумя самыми известными в мире газетами были "Правда" и "Известия". На апрель 1993 года, "Правда" — это часть сталинистской прессы, то есть прессы, стоящей за возврат к государству Сталина, а "Известия" — часть "демпрессы", ее "Нью-Йорк таймс". Однако, число страниц "Нью-Йорк таймса" колеблется в будни от 64 до 112, а в воскресенье — от 396 до 720. Число же страниц "Известий" в будние дни (кроме пятницы) — 8, а воскресного издания нет.

Вообразим себе конкуренцию между "Известиями" и русскоязычной газетой такого же объема, что и "Нью-Йорк таймс". Подобная конкуренция пока невозможна потому, что "Известия" используют те средства производства ("основной капитал"), которые газеты советского периода создавали о помощью "партии и правительства" в течение 73 лет.

С течением времени, если предпринимательство в России не будет вновь запрещено, этот основной капитал будет амортизирован. Тогда (скажем, австралийский) газетчик создаст конкурирующую газету, и все подписчики на "Известия" получат в один прекрасный день письма с предложением подписаться на его газету такого же объема, что и "Нью-Йорк таймс". Если вообразить конкуренцию между "Известиями" и русскоязычной газетой такого объема, то станет ясно, что каждые десять фраз "Известий" должны быть не менее содержательными, значимыми, интересными для элитарного читателя, чем 100, 500, 1.000 фраз этой русскоязычной газеты.

Если бы западная элитарная газета решила напе-

чатать статью о Моцарте по случаю годовщины со дня его рождения, то сто лет назад она заказала бы ее Бернарду Шоу (который писал о музыке в течение шести лет для двух газет) в надежде, что тот скажет нечто новое, хотя о Моцарте написаны целые библиотеки книг*. Или же она заказала бы статью автору (вероятно, немецко-австрийскому) самой последней и самой авторитетной книги о Моцарте.

Статья "Завещание Моцарта" написана штатным сотрудником газеты "Известия" по имени Константин Кедров, причем она не написана по поводу какой-либо годовщины или какого-нибудь другого события. Просто у Кедрова появились столь новые, внезапные и глубокие мысли о Моцарте, что он и его сотрудники, заседающие в редколлегии, решили, что эти мысли надо опубликовать в ежедневной газете объемом в 8 страниц, ибо опубликовать их через неделю, в еженедельнике, значило бы лишить человечество этих мыслей на целую неделю. Первый абзац статьи набран жирным шрифтом:

"18 ноября 1791 года Моцарт в последний раз дирижирует своей кантатой, созданной ко дню открытия храма масонской ложи "Вновь венчанная надежда". Через 18 дней Моцарт умрет, уверенный в том, что его отравили."

Обратите внимание, что число "18" тут встречается дважды. Согласно Кедрову, в опере "Волшебная флейта" Моцарт "разгласил множество тайн

*Когда Георг Ниссен, женатый на вдове Моцарта, издал свою знаменитую "Biographic W. A. Mozarts" в 1828 году, уже было издано 20 биографий Моцарта. Ныне же о Моцарте появляется несколько книг каждую неделю.

масонского обряда посвящения. Всю оперу пронизывает символика солнца, обозначаемая числом "18." И Кедров спрашивает: "За что отравили Моцарта?" То, что его отравили, уже как бы доказано (Пушкиным в 1830 году?). Надо лишь узнать за что. Затем следует вопрос "Кто же мог убить Моцарта?" Его "собратья" по масонской ложе за разглашение тайны мистерий в опере "Волшебная флейта"? "Может быть, злейшие враги масонов — иезуиты? Не они ли подкупили Сальери?" Так или иначе, "Моцарт решил основать свою ложу гения "Вновь увенчанная надежда" и поплатился за это жизнью"

А что известно о Моцарте на 1993 год, согласно самым последним и самым авторитетным книгам о нем?*

Через два дня после исполнения своей кантаты, которая, кстати говоря, называется не "Масонской кантатой", как ее называет Кедров, а "Маленькой масонской кантатой". Моцарт слег от острого приступа суставного ревматизма. Врачи того времени знали его симптомы (распухшие суставы). Но от их лечения вроде кровопускания больные отправлялись на тот свет. Они отправили Моцарта на тот свет за 15 дней. Но за что их винить? За то, что в 1791 году даже лучшим венским врачам было неизвестно то, что в 1993 году знает каждый грамотный человек? Впрочем, и без всякого кровопускания больной с острым приступом суставного ревматизма может умереть от ревмокардита, и Моцарт мог умереть от него гораздо раньше — даже в детстве. Электрокардиограмм и пенициллина тогда не было.

Как представить себе, что Сальери, масоны или иезуиты отравили Моцарта? Ведь Моцарт последний раз

*Самой последней и авторитетной книгой о смерти Моцарта является книга 1991 года англичанина Вильяма Стаффорда "Mozart's Death".

видел Сальери (в оперном театре) в октябре. Как же они обвели вокруг пальца лучших венских врачей? Может быть, они вырастили стрептококк группы А (у них ведь микробиология была на уровне XX века), и Сальери в оперном театре тайно впрыснул Моцарту этот стрептококк с тем, чтобы у того через пять недель начался острый приступ суставного ревматизма? Но дело в том, что стрептококк группы А в организме отнюдь не всегда ведет к суставному ревматизму, а последний не всегда ведет к ревмокардиту. Кроме того, Моцарт страдал от суставного ревматизма уже в детстве. Неужели Сальери, масоны или иезуиты уже тогда впрыснули ему стрептококк группы А?

В течение 36 лет Сальери был императорским капельмейстером венского двора (о чем Моцарт лишь мечтал). Его звали "римским папой австрийской музыки". Его учениками были Бетховен, Шуберт и... Моцарт. Бетховен и Шуберт посвятили ему свои произведения, а Моцарт считал его самым выдающимся композитором после Гайдна. И Моцарт не был ему соперником: Моцарт и Бетховен — вершины инструментальной музыки, а Сальери был в основном оперным композитором. Даже теперь мы прекрасно понимаем, что есть итальянская опера и есть немецкая опера, причем у первой в XX веке гораздо больше поклонников, чем у второй.

Как представитель итальянской оперы Сальери критиковал оперу Гайдна "La vera costanza". Но неужели у него не было права на свой вкус — тем более, что этот вкус совпадает со вкусом XX века? С другой стороны, не существует ни одного исторического документа (скажем, письма), где Сальери плохо бы отзывался о менее преуспевающем Моцарте. Моцарты же, естественно, считали, что "римский папа австрийской музыки" не дает Вольфгангу ходу. С тем большим жаром Моцарт описывает в письме к своей жене от 14 октября 1791 года, то есть менее, чем за два месяца до своей смерти, как ему удалось привезти самого великого Сальери на

слушание своей оперы и как тот вел себя. "Он слушал и смотрел с огромным вниманием, и от самой увертюры до последнего хора не было ни одной сцены, которая не исторгла бы у него "браво!" и "белло!".**

Моцарт получил заказ на оперу в честь пражской коронации императора лишь потому, что Сальери отказался от этого заказа по причине занятости.** Было бы странно ему завидовать Моцарту, если он официально выступал как №1, а Моцарт — №2, получая то, от чего Сальери отказался.

В 1993 году вкусы совсем иные (хотя на Западе Сальери и поныне исполняют, не в пример России, где Пушкин судил о нем, никогда его не слышав). Но ведь вкусы Австрии 1791 года — это не вкусы 1993 года и уж, конечно, не вкусы России 1993 года.

Что касается масонов или иезуитов, то не существует ни одного доказанного убийства ими кого бы то ни было. Слово "иезуит" происходит от слова "Христос", а учение масонов — смесь христианства и Просвещения. В своем некрологе по случаю смерти Моцарта, масоны поминали его как "масона и христианина". Масонами были английские и австро-немецкие монархи, американские президенты от Вашингтона до Трумэна, Черчилль, Лессинг, Вольтер, Дидро, Гете, Гайдн. Эта пестрота говорит и о том, что масонство не представляло собой никакого "тайного учения" кроме самых широких понятий вроде всеобщего братства человечества и радости по этому поводу в духе христианства и Просвещения.

От гильдий и цехов масоны взяли тайные обряды посвящения и узнавания друг друга, но это не более, чем игра, в которую, например, американские студенты тоже играют и поныне, состоя членами "тайных обществ".

К чести советской государственной культуры следует сказать, что никогда нигде масоны не обвинялись ею в

*Лондонское издание 1985 года писем Моцарта и его близких, с. 970.

**Лондонское издание 1991 года "Новых документов о Моцарте": запись от 8 июля 1791 года.

убийстве кого бы то ни было. С другой стороны, "Протоколы сионских мудрецов" изображают масонов как участников мирового еврейского заговора с целью установления мирового еврейского господства. Отсюда: "жидо-масоны". Обвинение масонов или жидо-масонов в убийстве за разглашение их тайн или ради использования трупа при закладке здания — равносильно обвинению "евреев" в убийстве с целью использования крови убитого для ритуальных целей.

Что же касается убийства Моцарта иезуитами, подкупившими Сальери, то, спрашивается, почему? Если Моцарт разгласил тайны масонов, то иезуиты, как противники масонов, должны быть только рады. А если они убили Моцарта как масона, то почему его, рядового масона? Неужели они не могли выбрать для убийства гроссмейстера ордена масонов?

История всей этой смехотворной бульварной утки, которую Кедров выпустил на страницы "Известий", такова. Через месяц после смерти Моцарта берлинский бульварно-националистический еженедельник "сообщил", что Моцарта отравили итальяшки из зависти к великой немецкой музыке. Прошло свыше тридцати лет, но ничего, что подтверждало бы эту утку, обнаружено не было. В 1823 году семидесяти-трехлетний Сальери, находясь в состоянии возрастной депрессии, предпринял попытку самоубийства. Так немецкие националисты нашли через тридцать лет виновного. Разве не ясно, что Моцарта убил именно этот итальяшка Сальери? А как же иначе объяснить его попытку самоубийства? Совесть замутила!

К этому времени слава Моцарта возросла, а слава Сальери пошла на убыль, и утка уже не казалась столь нелепой выдумкой, какой она показалась бы в 1791 году. На основании этой газетной утки Пушкин и написал "Моцарт и Сальери" (первоначальное название: "Зависть"). И опять же надо признать, что за исключением одного случая — перед смертью Сталина, когда советский пушкинист, увлекшись

всеобщей манией отравительства в стране, стал утверждать, что Сальери и в самом деле отравил Моцарта, советская государственная культура никогда не опускалась до уровня Кедрова, а всегда оговаривала, что "Моцарт и Сальери" Пушкина — это лишь поэтический вымысел.

Немецкая газетная утка отнюдь не закончилась на Пушкине. В 1861 году ее развил богемно-бульварный журнал "Aus der Mansarde", а ее настоящими распространителями явились генерал Людендорф, одно время сподвижник Гитлера, который заявил в 1926 году, что Моцарта убили масоны и евреи, и его супруга Матильда, которая издала в 1928 году книгу о том, как масоны и евреи убили не только Моцарта, но и Лютера, Лессинга и Шиллера.

Надо ли говорить, с каким триумфом вышла ее книга в 1936 году о том, как евреи, масоны, иезуиты и вообще христиане убили Моцарта на пути к своей мировой иудейско-христианско-марксистской империи, ибо мадам Людендорф рассматривала иудаизм, христианство и марксизм как три еврейских учения, созданных ради еврейского мирового господства.

Но самая зловещая книга в духе Людендорфов была издана в Германии не при Гитлере, а после него, в 1971, тремя немецкими врачами, живо напоминающими немецких врачей, которые экспериментировали на военнопленных. Книга свидетельствует о том, что та злобная политическая бульварщина, которая существовала в Германии задолго до Гитлера, пережила его и, возможно, еще себя покажет. Позволю себе цитату из этой книги, "Mozarts Tod":

"Последним законченным произведением Моцарта, последней вещью, над которой он работал, была "Маленькая масонская кантата", написанная ко дню освящения храма. У рукописи 18 страниц, первое исполнение произошло 18 ноября, и Моцарт умер через 18 дней в 1701 году, число цифр которого составляет 18, причем на 36 году своей жизни (36=2x18)".

Как видим, почти текстуальное начало статьи Кедр-

рова, лишь опустившего некоторые детали, не желая заходить столь далеко с мистикой числа "18", с которым немецкие авторы играют, словно они сами масоны. Что ж, в советской государственной культуре работник культуры пересказывал ее тщательно проверенные, одобренные и напечатанные тексты. А Кедров пересказывает бульварное чтиво на уровне "Протоколов сионских мудрецов". Правда, в отличие от бульварной литературы об "убийстве Моцарта", он не упоминает евреев или жидо-масонов. Еще бы! Если бы он включил их тоже, то как бы его статья отличалась от статьи о Моцарте в газете "День"?

Российская демпресса часто упоена тем, что ее дело — правое, а дело сталинистской прессы — неправое. В этом упоении она не замечает, когда ее интеллектуальный уровень падает ниже сталинистской прессы: дескать, важно лишь, чтобы в убийстве Моцарта обвинялись Сальери, масоны и иезуиты, а не евреи или жидо-масоны.

Упаси меня Бог предположить, что Кедров читал какой-либо из немецких бульварных первоисточников. Но в бульварной культуре, которая начала расцветать пышным цветом и в России, утки летают: они повторяются снова и снова без указания источников. Возможно, Кедров подцепил утку из десятого бульварного переложения указанных выше немецких бульварных первоисточников. Сам Кедров тоже не указал ни единого источника. Теперь эту же утку могут еще раз пустить и демпресса, и сталинистская пресса (включив евреев и жидо-масонов) — без указания источника.

КРИКЛИВЕЕ СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

Статья Кедрова поразительна не только тем, что он пережевывает утку, пущенную немецкой бульварной прессой еще задолго до Гитлера. Третий абзац

его статьи таков: "За что отравили Моцарта? Сам вопрос безнравственен. Убивают всегда ни за что". Затем более половины статьи посвящено убийству гения за то, что он гений. Как далеко Кедров превзошел советскую государственную культуру! Она лживо доказывала, что Пушкина и Лермонтова убили некие темные силы реакции, враги, водевильные злодеи, а сами они были светочами добра, водевильными положительными героями, гениями, несоместимыми со злодейством. Она изображала, как Моцарт боролся против деспотов-вельмож. Но никогда ее фальцет не доходил до истошного пропагандистского крика Кедрова о том, что всюду (кроме разве что демпрессы или газеты "Известия") гения убивают за то, что он гений. Для Кедрова сталинская Россия — лишь пример этого вездесущего и всегдашнего убийства гения:

Стратегия убийства гения всегда извилиста и сложна. Если он известен, его убивают тайно или, предварительно опорочив, явно. Можно довести до самоубийства, как Есенина и Маяковского, Цветаеву. Можно устроить показательное шельмование на всю страну (так травили Бориса Пастернака). Можно расстрелять в застенке, как убили Мейерхольда, Флоренского..."

При Сталине было "репрессировано" 600 писателей. Вполне достаточно, чтобы не лить слезы над водевилем Кедрова, изображающим, как темные силы сталинизма довели положительного героя Маяковского до самоубийства. Тем более, что сам Маяковский — пропагандист жестокости эпохи Ленина, которая, как показал Мельгунов еще в 1924 году, даже превосходила во многих отношениях жестокость эпохи Сталина.

Не будем обсуждать мартиролог обеих эпох, а зададим общий вопрос. Разве ужасное положение культуры в государстве Сталина было подобно положению культуры в Европе в эпоху ее высочайшего расцвета — в XVIII и XIX веках? Кедров лихо пишет: "Что-то подобное было в Европе XVIII — XIX сто-

летий. Моцарта оценили не на родине, в Австрии, а в Праге..." Это нелепо уже хотя бы потому, что Прага была частью Австрии, в Праге короновались австрийские императоры, но Моцарт не поселился в Праге (в то время официально говорившей по-немецки), а жил до самой смерти в Вене. Однако, даже если не знать, что Прага была частью Австрии, какой пропагандистской крикливостью надо обладать, чтобы считать этот якобы неуспех Моцарта "на родине, в Австрии" подобным умерщвлению культуры в государстве Сталина!

Однако Австрия, согласно Кедрову, не только не оценила Моцарта. Посмотрите, до чего довела она его даже без всякого отравления:

"Когда Моцарта хоронили, на кладбище не пришел никто. Это объясняли плохой погодой в день похорон, но день был солнечный, без дождя. Моцарта положили в гроб для бедных. Такой гроб ставился над общей могилой, а затем выдвигалось дно — так хоронили Моцарта."

В 1791 году бедных венцев хоронили бесплатно, а остальных — по трем разрядам, причем на каждый разряд была установлена правительством постоянная цена. По первому разряду хоронили аристократов (богатство было все еще у них) и очень крупных богачей. По второму — людей менее богатых и знатных: Бетховена, например. А по третьему — таких, как Моцарт. Каких — таких? У Моцарта до конца жизни было придворное жалованье. Вопрос о еде, одежде, квартире, карете и слугах не стоял у Моцартов. Все это само собой подразумевалось.

Есть западный анекдот о школьнице, которой задали сочинение о бедности. "Наша семья — очень бедная, — написала она. — И все наши слуги тоже очень бедные".

Когда Моцарт заболел, то его жена Констанца была на курорте: опять же кареты, туалеты, слуги. Но почему же Моцарт не вытянул на похороны по второму разряду?

Вольфганг и Констанца считали, что надо проживать все деньги, которые есть, а если можно, то еще и занимать в долг. Незадолго перед смертью Моцарта они въехали в новую квартиру в центре Вены. Дорого? Деньги дело наживное. А в то же время есть хорошая немецкая поговорка: "Май жизни цветет однажды, и больше никогда". Но сочинение музыки и тогда не являлось столь же прибыльным делом, как торговля вином или банковское дело, а Моцарт уже пережил славу вундеркинда, но еще не достиг признания, которого достиг Глюк, Гайдн или Сальери. В 1787 году Иосиф II нанял его на придворную службу за 800 гульденов в год, а его предшественник Глюк получал 2.000 гульденов. Словом, не вытянул Моцарт на похороны по второму разряду. Но, может быть, важнее при жизни пить вдоволь лучшего токайского, чем быть похороненным даже по первому разряду?

По закону похороны венца не должны были иметь место ранее, чем через 48 часов после смерти, во избежание похорон живого человека, ошибочно принятого за умершего. Похороны были поэтому таковы. В соборе св. Стефана произошло отпевание Моцарта. Тут с ним простились родные, друзья, коллеги. Официального списка нет, но согласно биографии 1856 года, был и Сальери.

На западные языки слово "отпевание" часто переводится как "похороны". Итак, "похороны" закончены. Теперь закрытый гроб стоит в часовне церкви до истечения требуемых 48 часов, а затем отвозится на кладбище и опускается в могилу. С точки зрения православного или советского русского, все это может показаться дикостью. Но обряд освящает душу, а не труп, землю, прах, кладбище, тлен, могилу. Службы за упокой души (реквиемы) идут на третий, девятый, тридцатый и триста шестьдесят шестой день после смерти. Словом, обряд в Австрии 1791 года отличается от такового в России. А слезливая страшная сказка Кедрова о том, как Моцарта довели до нищеты, все до единого человека забыли и бросили в яму через выдвигаемое дно гроба, лишь

вводит читателей в заблуждение и противоречит давно установленным историческим данным.*

Кедров утверждает по крайней мере трижды, что Моцарт был отравлен, убит, "поплатился жизнью". Но в середине статьи оказывается, что был ли отравлен Моцарт, — не столь важно. Если его не отравили, то его затравили.

"Отравлен ли был Моцарт — это неизвестно; но достоверно известно, что, почувствовав недомогание, Моцарт ни одной секунды не сомневался, что его отравили. В какой же обстановке работал этот добрый, общительный и лучезарный гений, если сразу же уверенно заподозрил умышленное отравление. Вот что такое травля!"

Ни в каких-либо опубликованных письмах или других исторических документах, ни Моцарт, ни его близкие, ни его знакомые никогда не утверждали, что его отравили или собираются отравить или что сам он жаловался на это. Все подобные утверждения получены из третьих рук: N утверждает, что NN (например, Констанца) ему говорила, что Моцарт говорил, что...

Но допустим, у Моцарта было одно из навязчивых состояний, которым в той или иной степени подвержены все. Дело, однако, в том, что для Кедрова Моцарт положительный герой в советском смысле. У такового же не может быть никаких навязчивых состояний, а лишь доброта, общительность, лучезарность. Если он говорит, что его отравили, значит его отравили. А если ему только это кажется, то, значит, его так затравили, что ему даже кажется, что его отравили. Вот что такое травля!

Но в чем же выражалась эта травля? В том, что он еще не достиг признания, которого достиг Глюк или Гайдн?

*Самым обширным и авторитетным исследованием обстоятельств похорон Моцарта является Carl Bar, "Mozart: Krankheit — Tod — Begrabnis" (Зальцбург, 19XX).

А самое поразительное место в статье Кедрова следующее:

"Весной стройные колонны люмпенизированных, но хорошо организованных Сальери атаковали телецентр "Останкино" в борьбе все с тем же "масонством".

Моцарт, выходи. Кто следующий?"

Это напоминает полуграмотного райкомовского лектора 1937 года, который "увязал" свою лекцию о Пушкине с "текущим моментом", объясняя, что фашисты, троцкисты и другие враги — это лишь новые личины царей, жандармов и дантесов, злодейски убивших нашего Пушкина.

ПЕЧАТЬ ДЛЯ САМОЙ СЕБЯ

Итак, выше разобран пример из газеты "Известия" Легко, однако, найти столь же поразительные примеры в новой периодике — вроде "Независимой газеты" или "Столицы". Общее в этих примерах — склонность известной части российской демпрессы считать, что никаких потребителей, спроса, конкуренции нет, как их не было у советской государственной культуры. Разница состоит лишь в том, что раньше пресса принадлежала "партии и правительству", то есть единому правящему сословию с диктатором или олигархией во главе, а ныне она принадлежит ее штатным сотрудникам: для них самих, а не для читателей она и существует.

Штатный сотрудник Кедров — это теперь как бы сам Сталин или Горбачев, ЦК, агитпроп, вся государственная культура в одном лице. Его статья не нужна бульварному читателю, ибо тот будет читать о "звезде рока", а не о Моцарте. Еще меньше его статья нужна элитарному читателю, ибо она ниже уровня советской государственной культуры-пропаганды. Она — насквозь бульварна во всем, кроме того, что ее тема — Моцарт, а не "звезда рока". Значительная часть российской прессы — адская и коммерчески невозможная смесь "серьезности" (в

духе советской госкультуры) и бульварности (в духе "Московского комсомольца").

Главный редактор "Независимой газеты" Третьяков опубликовал в своей газете от 26.03.93 свою огромную статью. Соль ее вот в чем: Ельцин так глуп, что "в последние недели" ему, Третьякову, "стала приходить" мысль "о том, чтобы покинуть Россию". Читателям решение Третьякова покинуть Россию может быть совершенно неинтересно. Но те, кто уже подписались на газету, могут спросить: "Значит, газета закроется? А наши деньги?" Какие там деньги! Ему, самому Третьякову, пришла мысль покинуть Россию. Газета и существует для того, чтобы он мог выражать столь великие мысли в своих огромных статьях. А вы тут с какими-то деньгами читателей! Тьфу!

У крупной элитарной газеты есть владелец. Он назначает главного редактора. Сами владельцы и редактор ничего не пишут, а выбирают то, что удовлетворяет спрос, от которого зависит в условиях конкуренции коммерческий успех. Никакая "редколлегия" не вправе изменить их выбор. А выбор решает все.

Если в их газете статью о Моцарте напишет их же штатный сотрудник, не прочитавший ни одной серьезной книги о Моцарте и способный лишь изрекать пошлости, а в конкурирующей газете такую статью напишет Бернارد Шоу или Вильям Стаффорд, читатели потекут к конкуренту. С другой стороны, Кедров и его друзья-сотрудники сами владеют фактически или даже юридически газетой и сами решают коллективно, через свою редколлегию, кого печатать. И, конечно, они решают печатать себя. Если бы статью о Моцарте им предложил написать Бернارد Шоу сто лет назад или Вильям Стаффорд сейчас, конечно же, они бы выбрали Кедрова, то есть одного из членов своего "коллектива". Тираж "Известий" упал к началу 1993 года до 800 000, а тираж "Неза-

висимой газеты" — до 35 тысяч. Что будет к началу 1994 года? Но ни один штатный сотрудник этих газет никогда не признает, что одним из факторов падения тиража являются его статьи, вроде разобранной выше статьи Кедрова. Можно перечислить все причины падения тиража, кроме одной: неудовлетворяемый спрос.

Между демпрессой и сталинистской прессой идет борьба за души, не так ли? Низкий интеллектуальный уровень демпрессы может стать фактором в победе сталинизма, не правда ли? Вероятно, после этой статьи передо мною закроются двери некоторых обиженных редакций. Но я пишу эти строки в мае 1993 года, когда Россия висит над бездной возврата сталинизма, а демпресса — тем более. В таких условиях думать об обидах и дверях не имеет смысла, а то, что сказано в этом эссе, может помочь российской элитарной демпрессе повысить свой интеллектуальный уровень и тем самым свою способность к конкуренции, то есть выжить коммерчески и выиграть борьбу за души.



Николай ЛЮБИМОВ

НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ

Главы из книги

Николай Михайлович Любимов (1912—1992) известен как выдающийся мастер художественного перевода. Он переводчик Боккаччо, Рабле, Сервантеса, Мольера, Бомарше, Шиллера, Стендаля, Мери-ме, Мопассана, Пруста, автор книг и статей о русской литературе, искусстве перевода, книги театральных мемуаров. Главным делом своей жизни Н.М. Любимов считал книгу воспоминаний, которую он озаглавил "Неувядаемый цвет" и писал с 1960 по 1976 годы.

Книга эта охватывает целую эпоху, она представляет собой ценное историческое свидетельство и увлекательное, захватывающее повествование одновременно. Отрывок из этой книги, рассказывающий о московском периоде жизни Н.М. Любимова, мы и предлагаем читателю.

МОСКВА

Не досыпая, не долюбя
Молодость наша шла.
Эдуард Багрицкий

... в какой только рай нас
погонят тогда?
Александр Вертинский

... И вот я московский студент. Я сравнительно скоро научился нырять в толчею на улицах и плыть в ней так, чтобы по возможности не сталкиваться со встречными и не задевать обгоняемых. Я научился висеть на подножках трамваев и автобусов, ввинчиваться в пробку, образуемую стоящими в проходе, и работая плечами и локтями, протискиваться к выходу. Меня скоро перестал раздражать почти непрерывный, злобный звон наступающих друг другу на пятки трамваев и собачий визг их колес на поворотах.

Перенаселенность города москвичи уже тогда ощущали на своих боках. Москва была не приспособлена к тому, чтобы стать столицей. Революция расплодила в ней великое множество учреждений — от народных комиссариатов и институтов до курсов и домоуправлений. В начале НЭП'а сюда хлынули жители провинциальных городов. В "год великого перелома" сюда бежали от коллективизации и от раскулачивания крестьяне, устраивались дворниками, устраивались на производстве, ютились в промозглых подвалах, в холодных бараках. Городской трамвай не справлялся с перевозкой толп. Постоянные, мучительно долго рассасывавшиеся заторы на трамвайных путях, мучительно редко ходившие автобусы испытывали терпение спешивших домой, промерзших, изжарившихся на солнце, промокших под дождем рабочих и служащих. Трамваи извивались красными змеями, останавливались, ползли дальше,

снова останавливались. Ежевечерне обвивали они безнадежно неподвижным кольцом Лубянскую площадь, через которую лежал мой путь в Институт.

Пестрое зрелище являла тогда собою Москва. На ее кривоколенных улицах еще кое-где доживал НЭП, военный коммунизм. Россия дореволюционная. Было что-то патриархально-провинциальное в толстозадых кутафьях-стрелочницах, при приближении трамвая переводивших стрелку и вновь усаживавшихся около рельсов на складные стулья. Еще существовали китайские прачечные. Китайцы торговали на Сухаревском толкучем рынке чаем, который в магазинах "выдавали" теперь гомеопатическими дозами по карточкам. А на бульварах "ходи" торговали чертиками "уйди-уйди". На углу Кузнецкого и Петровки играл слепой скрипач, в холода повязывавший голову платком. Его картуз лежал на тротуаре, и туда сердобольные прохожие бросали мелочь. В крытом проходе между Театральным проездом (ныне проспектом Маркса) и Никольской (ныне улица 25 октября), близ памятника Первопечатнику просил милостыню бронзоволикий старик с седыми космами по плечам. На груди у него висела дощечка с надписью: "Герой Севастополя". По Кузнецкому мосту, по правой стороне, если идти от Тверской, важно шагал от Рождественки до Неглинки величественный еврей и убежденно картавил:

— Гарантированное срдство от мозолей, бородавок и пота ног! Гарантированное срдство от мозолей, бородавок и пота ног!

Его перекрикивала разбитная бабенка — как видно, гроза своих соседей по квартире:

— Капсюли, капсюли для примусей! Капсюли, капсюли для примусей!

Беспризорники все еще разъезжали на трамвайных буферах, зимой грелись у асфальтовых котлов, допевали в трамваях — чаще всего дуэтом: он и

она — мещанские романсы вчерашней и позавчерашней выпечки:

**Как на кладбище на Ваганьковском
Отец дочку зарезал свою...**

Или — особенно серьезно и уныло:

**Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный
Пошел на рынок торговать.
Его поймали,
Арестовали,
Патент велели показать.**

.....
**Я на бочке сижу,
А под бочкой склянка,
Мой муж коммунист,
А я спекулянтка.**

Вечером отворишь дверь с улицы — из подъезда так и шибанет в нос табачным дымом, запахом грязного белья, давно не мытого тела. Значит, здесь, у батареи парового отопления, расположились на ночь беспризорники.

Как-то я, скользнув взглядом по ночлежникам и в полутьме не рассмотрев их, неплотно притворил за собой дверь. Меня окликнул хрипловатый женский голос:

— Гражданин! А дверь за вами Пушкин закрывать будет?

Я оглянулся и только тут увидел в компании двух приятелей тоненькую девушку, почти девочку, с измятым уже лицом и наглым взглядом больших, печальных глаз. Правую руку она поставила на колени, с привычным, как видно, ухарством зажав между пальцами папиросу.

С конца 29-го года учреждения и предприятия перешли на "пятидневку-непрерывку": работали они непрерывно, но у каждого рабочего и служащего был через каждые четыре дня свой "выходной день".

В учебных заведениях были свои "выходные дни" у классов, "семестров", курсов.

Переход с семидневки на пятидневку влетел государству в копейку и всюду вызвал отчаянную неразбериху. Однажды в Художественном театре после первого действия не задернулась одна половина занавеса. Тот, кто ведал "выходными днями", напутал: дал "выходной день" машинисту сцены и никем его не заменил.

В магазинах все по карточкам. Впрочем, "все" — это громко сказано. Глазам входящих в продмаги не от чего разбежаться. При НЭП'е качество продуктов только было достигло старорежимного уровня. А теперь мне вспомнилась та высокая оценка, какую покупатели давали спичкам, изготовлявшимся при военном коммунизме:

**Спички шведские,
Головки советские,
Пять минут вонь,
Секунда огонь.**

Замечу в скобках: эта лестная характеристика, применимая к любой отрасли советской промышленности, не утратила своей актуальности.

Возвращаюсь к заре социализма.

Комический актер Борисов, часто выступавший на эстраде, переделал песенку, которую пела Калиса Петровна, так:

**В нашем кооперативе
Скоро масла нам дадут...
А, быть может, не дадут,
В самом деле, не дадут,
И наверно не дадут,
Да!**

Ведающие торговлей руководствуются правилом, занесенным в чеховскую "Жалобную книгу": "Лопай, что дают". Оттого, что даже гнилых овощей не хватает, на тротуарах вырастают "хвосты".

— Кто последний? Я за вами!

Люди выпаливают эти две фразы запыхавшись, ошалело глядя на замыкающего длинную вереницу. Прежде всего занять очередь, а в чайнии какого из земных благ она образовалась, это они узнают, как только станут "в затылок" последнему. В магазинах очереди не только к прилавкам, но и к кассам:

— У кого мелочь? С мелочью без очереди.

16 августа 1930 года "Правда" напечатала статью Е. Волгиной "Закрытый распределитель — основа классового снабжения". С течением времени снабженческая иерархия становится многоступенчатой. У каждого крупного предприятия свой ЗРК (закрытый рабочий кооператив). Но и внутри закрытого снабжения вырастает лестница. Для "народных артистов", знаменитых ученых, виднейших писателей открылся на Болоте, в так называемом "Доме правительства", грандиозный ГОРТ "А". (Кажется, это расшифровывалось: Государственный распределитель товаров.) Рангом ниже прикрепляются к распределителям литер "Б". Открывается распределитель для "персональных пенсионеров". Писатели-фавориты питаются в столовой ресторанный типа, открывшейся в бывшей "Праге". Прочие, даже из лучших, но не обласканные, вроде Сергея Клычкова, — в Доме Герцена на Тверском бульваре. Из-за того, в какой ранг кого возведут, люди не спят ночей, ссорятся, друг на друга доносят. Всюду склоки и драки. По мере расширения круга счастливых, попадающих в разряд ИТР, ухудшается качество выдаваемых им продуктов.

Мой учитель, профессор Грифцов, однажды поил меня в своем кабинете чаем.

— Берите сыр, — сказал он. — Наконец-то профессоров и доцентов нашего Института приравняли к ИТР, и вот сегодня Марья Ивановна получила по карточке сыр. Но предупреждаю вас: такой сыр не только крыловская Лисица, но и Ворона не стала бы есть.

Надстраивается еще один этаж: Торгсин (торговля с иностранцами). Некоторое время в торгсины допускаются только иностранцы. Потом, сообразив, что всех, кто имел драгоценности, валюту, не пересяжешь, власти распорядились открыть двери в торгсины для тех, у кого есть хоть один доллар или хоть одно золотое колечко. Приносимое гражданами оценивают и выдают им на соответствующую сумму бонны. Постоянных покупателей Торгсина, особенно тех, кто покупает там в обмен на иностранную валюту, выслеживают и приглашают на "Лубянку". Иные проявляют хитрость дикарей: "играют по-маленькой", посещают разные торгсины, предпочитают те, что подальше от центра, скажем, на Серпуховской площади. Вряд ли это избавляет их от приглашений для приятных разговоров, от камер для "валютчиков", от горячих и холодных комнат. Но тех, кто изредка выменивает уцелевшую от голодных лет брошку на белоснежную булочку для больного, не трогают.

Наконец, в 33-м году открываются "коммерческие" магазины, где по бешеным ценам можно купить продукты нэповского качества.

А за прилавками открытых магазинов все легче кататься шарам.

Какой-то безвестный поэт скупыми, но характерными мазками написал картину тогдашней столовой:

**Столовая. Припасов нет.
Последний съеден виногрет.
Пустой буфет, в почетной раме
Лишь непитательный портрет:
Тупой, откормленный брюнет
С несимпатичными усами.**

Страна со сказочной быстротой нищает вновь.

В 31-м году я приехал на зимние каникулы в Перемышль. Как-то раз, перед вечером, пошел прогуляться по "соше". Навстречу мне — парни и де-

вушки из заречного села. С залихватской и бесшабашной веселостью поют под гармошку:

**Ветер дует, ветер дует,
Нагоняет холоду.
Вся Россия от колхозов
Помирает с голоду.
И-ехх!..**

.....
**У колхозной у шпаны
На троих одни штаны:
Один носит, другой просит,
Третий в очереди стоит.**

В конце 32-го года москвичам урезали нормы выдачи белого хлеба. Это совпало со смертью второй жены Сталина — Надежды Сергеевны Аллилуевой. Московское простонародье ответило на совпадение частушкой:

**Аллилуева умерла,
Белый хлеб с собой взяла.
Если Сталин женится,
Черный хлеб отменится.**

Летом 33-го года я шел по вечерней Москве. На одном углу лоснилась от жира торгсиновская витрина, на другом, левой рукой держа у груди ребенка, стояла с протянутой правой рукой средних лет украинка. Взгляд ее выражал немое отчаяние.

Месяц спустя я дожидался в Малоярославце поезда на Калугу. На привокзальной площади сидели и лежали украинцы. Просить подаяния они посылали детей. Ко мне подошли трое ребят мал мала меньше: девочка и два мальчика. Это были не дети, а карлики со старческими, сморщенными, землистого цвета личиками и с не по-детски тихим, ушедшим внутрь взглядом.

Я вспомнил рассказ артиста Юрия Михайловича Юрьева о гастролях театра Мейерхольда на юге... На станции поезда осаждает голодная Украина. Пассажиры бросают в окна куски хлеба, бутерброды.

Женщины, мужчины, дети рвут друг у друга куски, дают друг друга, на одной станции кто-то полез за куском под колеса, и его перерезало. Игорь Ильинский и его жена почти все свои вещи, которые везли с собой, продали и на вырученные деньги покупали в коммерческих магазинах еду голодающим.

Впоследствии, перечитывая "Дни" Шульгина, я нашел пророческие слова, не остановившие моего внимания при первом чтении, до коллективизации: "...если натравят на нас, панов... "свитки", — мы погибнем в их руках, но и они, "свитки", погубивши нас, скоро погибнут сами, ибо наше место займут новые "паны", — такие "паны из города", от которых стон и смерть пойдут по всей черной, хлебородной, земляной земле..."

А тогда мне думалось так:

"Пятилетка в четыре года, догнать — перегнать, Днепрострой, Магнитострой... Если по стране бродят вот такие малолетние лилипуты, то да будут прокляты все вместе взятые "строи"! Уж лучше бы мы были "отсталой" страной!..."

И еще я вспомнил рассказ того же Юрьева, летом 31-го года гастролировавшего с Малым театром по Сибири, об эшелонах раскулаченных... Зарешеченные окна вагонов, в окнах пещерные люди с ввалившимися глазами. Рты у них раскрыты. Чего-то они просят неслышно, то ли — есть, то ли — пить. Конвоиры выносят трупы детей, умерших в пути от кровавого поноса, от голода и от жажды...

И наконец я вспомнил, что летом 30-го года, выдержав экзамен в Институт, я по дороге в Перемышль заехал на несколько дней к теткам в Новинку. На этой самой привокзальной площади мне повезло сразу найти лошадку. Вез меня на телеге житель Малоярославца, еврей, занимавшийся извозным промыслом. Всю тридцативерстную дорогу мой словоохотливый возница занимал меня рассказами на одну тему: как он благоденствовал в

Малоярославце до революции и при НЭП'е и как его прижали теперь. Овес вздорожал. Налоги большие. Придется продавать лошадь. И чем тогда кормиться?..

Каждый свой рассказ о том, что случилось за один год с Малоярославцем и пригородными деревнями, он сопровождал библейски мудрым припевом, мягко выговаривая звук "ж":

— Ну и жизнь! Ну и дожили!.. А будет еще хуже — это говорю вам я, Соломон Ривкин!

Еще в Перемышле я узнал из сентябрьских газет (1930) о расстреле без суда сорока восьми сотрудников Союзмяса, Союзрыбы, Союзплодоовоща и Наркомторга. Москва говорила о том, что хватают направо и налево. В Ленинграде арестованы историки Платонов и Тарле. Тогда еще шла целодневная служба в московских часовнях, где можно было заказать молебен, панихиду, подать записку о здравии или упокоении. На Никольской было целых три часовни: две у самых Никольских ворот, на границе с Лубянской площадью, — во имя Владимирской Божьей Матери и во имя Целителя Пантелеймона, и одна, ближе к Красной площади, — во имя святителя Николая. Я часто заходил туда.

Священники читают записки. Только и слышишь:

— Заключённого... Заключённого... Заключённого...

А у молящихся женщин — сестер, жен, матерей, — трясутся плечи, по их впалым белым щекам скупые катятся слезы. И чуть-чуть светлеют их лица, когда священник читает:

— "Просите, и дастся вам; ищите, и обрящете; толцйте, и отверзется вам".

— "Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы".

А немного погодя (ноябрь-декабрь 1930 года) — процесс "Промпартии", созревший в мозгу гепеушной верхушки. Председатель специального присут-

ствия Верховного суда — Вышинский, прокурор — Крыленко. Тем, кого посадили на скамью подсудимых, — Рамзину, Ларичеву, Федотову и другим, — на следствии предложили: "Живота аль смерти? Примете на себя вину за развал промышленности, признаете себя вредителями — помилуем. Не признаете — казним". И зажженные спички об их пальцы тушили, чтобы они особенно долго не раздумывали. Рамзинцы выбрали "живот".

Такой же торг шел в Лубянском застенке и с великим множеством инженеров, техников, агрономов, над которыми открытых судов не устраивали. Эти люди были нужны Сталину и Лубянке и как козлы отпущения и как невольники — в отличие от "левых" и "правых", за которых примутся с особым рвением позже. Для рамзинцев были построены первые шарашки. Впоследствии Рамзин, досрочно освобожденный, удостоился Сталинской премии. Сконструированный им прямоточный котел получил название "котла Рамзина". Бывшего "вредителя" наградили орденом Ленина и орденом Трудового Красного знамени. Уже в царствование "нашего Никиты Сергеевича" я встретился со вдовой Рамзина. Она вспомнила свою беседу с одним из следователей незадолго до начала процесса. Следователь сказал ей, чтобы она не беспокоилась: жизнь ее мужу будет сохранена. Даже если она прочтет в газете, что его приговорили к расстрелу, и тогда пусть не падает духом: Леонид Константинович будет жить.

Дело "Промышленной партии" слушалось в Колонном зале Дома Союзов. Во время вечерних судебных заседаний мимо Дома Союзов стройными рядами шагали демонстранты с кровожадными лозунгами и декламировали хором:

— Смерть вредителям!

В начале декабря я шел по Кузнецкому мосту из студенческой столовой, помещавшейся там, где

теперь Школа-студия Художественного театра, на Маросейку (ныне улица Богдана Хмельницкого) в Институт (занимались мы вечерами). Тогда "Вечернюю Москву" продавали на улицах мальчишки и выкрикивали сенсационные новости, сообщаемые в сегодняшнем номере.

В тот день мальчишки весело кричали на углу Кузнецкого и Неглинки:

— Рас-стрел вредителей! Рас-стрел вредителей!

Газета раскупалась нарасхват. Я тоже купил "Вечерку"... Да, в самом деле: пять подсудимых приговорены к "высшей мере социальной защиты" — Рамзин, Ларичев, Федотов, Калинин, Чарновский; трое — к десяти годам лишения свободы...

Прокурор Крыленко закончил свою речь так: "Государственное обвинение требует от Специального присутствия Верховного суда расстрела подсудимых всех до одного". Реплика в скобках: "Бурные аплодисменты, крики ура..."

На другой день, в то же предвечернее время, я опять шел по Кузнецкому. На углу Кузнецкого и Неглинки газетчики с такою же веселою лихостью выкрикивали:

— Атмена приговора!.. Атмена приговора!..

Я не поверил своим ушам, подумал, что газетчики врут для приманки. Я выхватил у одного из них номер и с трудом поверил глазам: Центральный исполнительный комитет СССР всем приговоренным к высшей мере заменил расстрел лишением свободы на десять лет. Остальным трем подсудимым скостили два года.

Прочитав это постановление за подписью Калинина и Енукидзе, я окончательно убедился, что процесс — это спектакль: пьесу из жизни преступников состряпали драмоделы-халтурщики, а поставили бездарные режиссеры из Чухломы. Да и актеры переигрывали, изображая раскаяние, и нетвердо знали свои роли. В марте 1931 года на процессе

"Союзного бюро ЦК РСДРП (меньшевиков)" судьям приходилось останавливать подсудимых, предлагавших еще что-нибудь рассказать: нет, мол, довольно, и так наболтали с три короба. Один из главных обвиняемых, бывший член Президиума Госплана Громан сделал такое заявление:

"...за последние годы я каждый год болел, и раза по два в год у меня бывали припадки, каждый из которых мог грозить тяжелыми последствиями. Первый раз за все годы я восемь месяцев провел без припадка, за мной был чрезвычайно тщательный медицинский уход, мне давали и дается совершенно исключительный стол, особо продуманный коллегией специально приглашенных профессоров".

А в последнем слове Федотова более или менее зоркий взгляд мог кое-что прочесть между строк.

Федотов подчеркнул, что ему 67 лет.

"Прокурор не верит в нашу искренность. Я скажу — напрасно. Я уже говорил здесь о влиянии одиночества, о влиянии переживаний, которые мы перенесли в тюрьме. Многие месяцы — девять месяцев — вынашивались определенные мысли... силы мои сломлены..."

Из газет от 20 декабря 30-го года мы узнали, что ЦИК СССР в лице все тех же Калинина и Енукидзе постановлением от 19 декабря "удовлетворил просьбу тов. Рыкова Алексея Ивановича" и освободил его от обязанностей председателя Совета народных комиссаров и Совета труда и обороны. (В газетах от 31 марта 31-го года нам сообщили, что те же Калинин и Енукидзе постановлением от 30 марта назначили бывшего главу правительства Народным Комиссаром Почт и Телеграфов.)

Отстранению Рыкова от кормила власти предшествовала кампания против него, Бухарина и Томского на страницах "Правды". Они играют в молчанку, не отмежевываются от ими же вскормленных предателей вроде Рютина и Слепкова, от "право-левацкого

блока" Сырцова-Ломинадзе. В "Правде" от 2 ноября 1930 года заголовок: "Ученик бухаринской "школки" двурушник Марецкий исключен из партии". От теорий Бухарина-Рыкова-Томского один шаг до установок контрреволюционной эсеровско-кулацкой "Трудовой крестьянской партии" (ТКП) Кондратьева-Чаянова. (И профессор Кондратьев, и профессор Чаянов были тогда уже на Лубянке. Кондратьев выступал в качестве "свидетеля" на процессе "Союзного бюро меньшевиков").

2 ноября 30-го года "Правда" поместила статью И. Шмидта под ехидным заголовком: "Как товарищ Рыков борется с правым уклоном".

Оказывается, Рыкова послали делать доклад о XIII годовщине Октябрьской революции на общем собрании рабочих и служащих фабрики "Утильсырье". Поручение для главы правительстве аллегорически унижительное. В докладе Рыков рассказал, что недавно на заседании Совета народных комиссаров обсуждался доклад Наркомторга. Наркомторг обещал уже через два-три года не только вполне удовлетворить внутренние потребности страны в мясе, но и начать вывоз мяса за границу. Рыков возразил докладчику приблизительно следующее (автор статьи оговаривается, что передает мысль Рыкова своими словами): "Вы сначала накормите свой народ, а потом уж думайте о вывозе". Заверения Наркомторга — это обычное советское хвастовство. А слова Рыкова сохраняют свою силу донине. Скептический, трезвый ум, ум хозяина, а не фанатика и не прожектера, — вот чем взял в свое время Рыков, вот откуда его хотя и не громкая, но несомненная популярность.

Я не знал, что в последнее время Рыков был в сущности не у дел. Когда я на каникулах увиделся с матерью, то из разговоров с ней выяснилось, что мы одинаково тяжело переживали его отставку. Нам казалось, что обломилась последняя ветка, за кото-

рую в случае крайней необходимости могли бы ухватиться интеллигенция и крестьянство

В 29-м году полетели Наркомпрос Луначарский и Наркомздрав Семашко. Бухарин теперь — от жилетки рукав, Рыков — от баранки дырка. Ходил правдоподобный анекдот, отразивший характерное для Сталина вольное обращение со вчерашними соратниками, будто бы он цыкнул на Крупскую: "Молчи, старуха! А то я женой Ленина Артюхину сделаю" (члена ЦК И ЦКК ВКП(б)). На XVI партийном съезде ей не давали говорить:

(Г о л о с : Скажите о Бухарине, о выступлениях Рыкова и Томского.) Из того, что я говорила о правом уклоне, вытекает и моя точка зрения на выступление Томского и выступление Рыкова. (Г о л о с : Крайне недостаточно. Г о л о с : Что из этого вытекает?).

Вскоре после кончины Аллилуевой ко мне на школьные каникулы приехала погостить мать. Она побывала у своей гимназической подруги Елизаветы Яковлевны Гартунг, жены известного окулиста Виктора Петровича Одинцова. Виктор Петрович дружил со своим соседом по квартире терапевтом Максимом Петровичем Кончаловским (оба жили на Большой Молчановке, — дверь в дверь, — в одном из первых московских кооперативных домов), и тот ему под страшным секретом рассказал: его вызвали на осмотр тела Аллилуевой; умерла она не своей смертью, кто-то выстрелил ей в спину, но он, Кончаловский, подписал то заключение, какое требовалось. Темный слух ходил по Москве, что это — Ворошилов (не случайно "красный маршал" был окружен таким почетом!) Одинцов под строжайшим секретом пересказал услышанное от Кончаловского жене, а жена под не менее строгим секретом рассказала о гибели Аллилуевой своей лучшей гимназической подруге.

Вскоре заметка в "Правде" от 16 августа 1930

года требовала: "Закреть кунсткамеру памятников старины..."

Когда я приехал в Москву, была уже снесена Иверская часовня; взорван почти весь Симонов монастырь, потому что именно там удобнее всего построить Дворец культуры для рабочих. Архитектор Алексей Викторович Щусев пытался помешать сносу монастыря. " ...стройте в новых местах по-новому"¹, — взывал он к здравому смыслу "высших правительственных кругов", но к этому никто так и не прислушался.

Летним утром 31-го года я, сидя у себя за столом, вдруг почувствовал, как вся комната вздрогнула. Это взрывали Храм Христа Спасителя. И потом на много лет растянулся шабаш разоренья московских святых. Кому-то "помешали" Иверские ворота на границе Красной площади. Комендант Кремля ночью, неожиданно, тайком разломал Чудов монастырь — пусть ученые теперь машут кулаками, когда остались одни обломки.

Сломали церковь Параскевы-Пятницы в Охотном ряду. Снесли красавицу-церковь Успения Божьей Матери на Покровке. Анна Григорьевна Достоевская отметила в своих воспоминаниях: "Федор Михайлович чрезвычайно ценил архитектуру этой церкви и, бывая в Москве, непременно ехал на нее взглянуть". Снесли одну из самых древних московских церквочек — во имя Гребневской Божьей Матери, на углу Лубянской площади и Мясницкой. Смахнули палаты Василия Голицына в Охотном ряду. Разобрали почти всю Китайгородскую стену. Снесли

¹ Докладную записку Щусева цитирую по напечатанному в "Правде" от 13 января 1930 года фельетону "Дворец и крепость", принадлежащему перу Михаила Кольцова, который доказывал необходимость сноса не только собора, но и стен Симонова монастыря.

Триумфальные ворота около Александровского вокзала.

Первый секретарь Московского комитета партии Лазарь Каганович замахнулся и на Василия Блаженного.

Архитектор Иван Владиславович Жолтовский рассказывал мне о том, что произошло на одном из совещаний по реконструкции Москвы.

Перед Кагановичем стоял на столе макет Красной площади. Каганович схватил за маковку Василия Блаженного и отодвинул его в сторону.

— Это мы уберем, и тогда откроется широкая дорога в Замоскворечье, — объявил он.

— Ну уж Блаженного ты, брат, оставь, — сказал Ворошилов и водворил Блаженного на прежнее место.

А вот Минина и Пожарского все-таки передвинули — так, что они стали незаметны на фоне Блаженного. Москвичи объясняли это тем, что кто-то пустил стишок, вложенный в уста Минина, показывавшего на Кремль:

**Скажи-ка, князь,
Какая мразь
В стенах Кремлевских завелась?**

В феврале-марте 31 года в России гастролировал английский дирижер Альберт Коутс.

Возвращаясь после каникул в Москву, я зашел на перепутье в Калуге к нашей хорошей знакомой, калужской учительнице. У нее мне попался номер¹ "Учительской газеты" которая именовалась тогда "За коммунистическое" просвещение". В этом номере статья некоего Л. Лебединского была напечатана под тремя заголовками:

РЕАКЦИОННАЯ ВЫЛАЗКА В ВМШ²

¹ От 10 марта 1931 года.

²То есть в Высшей музыкальной школе — так тогда называлась московская Консерватория. Некоторое время она именовалась

УДАРИТЬ ПО ОБЫВАТЕЛЬСКОМУ ПРИМИРЕНЧЕСТВУ К КЛАССОВОМУ ВРАГУ В МУЗЫКЕ

С КЕМ ПЕРЕКЛИЧКА

Лебединский сетует на то, что "произведения фашиста, мистика, помешавшегося на католицизме, белоэмигранта Стравинского — "желанные номера" в наших концертах..." Творчество Рахманинова он называет "непроходимо мещанским". И самые "Колокола" Эдгара По в переводе белоэмигранта Бальмонта представляются ему контрреволюционными. О чем звонят колокольчики?

**Говорят они о том,
Что за днями заблужденья
Наступает возрожденье.**

А уже в Москве 24 марта я прочел в "Литературной газете" статью Д. Житомирского по поводу гастролей Коутса "О чем звонят колокола". Житомирского корчит, как гоголевскую ведьму, от "православного (?) свадебного ликования, которое переходит в мрачную мистическую оргию (?)".

И далее:

"На этом фоне — слова:

**А теперь нам нет спасенья:
Всюду пламень и кипенье,
Всюду страх и возмущенье.**

.....
Кто автор этого произведения? Сергей Рахманинов — давно переживший себя певец русского

ВМШ имени Феликса Кона, ничтожнейшего большевика, никакого отношения ни к музыке, ни к искусству вообще не имевшего и тем не менее занимавшего пост начальника Главискусства, а Московскому университету было присвоено имя Покровского. Артист Блюменталь-Тамарин сочинил на Кона эпиграмму:

Искусству нужен Феликс Кон,
Как ж... — клей синдетикон.

крупно-купеческого и мещанского салона, крайне измелывавший эпигон и реакционер в музыке..."

Булгакова травили не только "литературные налетчики", как тщатся изобразить В. Петелин в книге "Память сердца неистребима" (М., изд. "Правда", 1970, стр. 46) и И. Бэлза в статье "Генеалогия Мастера и Маргариты" ("Контекст", М., изд. "Наука", 1978). Статья члена Главреперткома А. Орлинского "Гражданская война на сцене МХАТ", громившая "Дни Турбиных" и утверждавшая, что в пьесе "петлюровщина фигурирует как некий сценический псевдоним революционных сил", увидела свет не где-нибудь, а на страницах органа ЦК ВКП(б) от 8 октября 1926 года.

20 июня 29-го года "Известия" поместили статью начальника Главреперткома О. Литовского.

Под заглавием "На переломе" и с подзаголовком "Советский театр сегодня" Литовский писал:

"Разве борьба за постановку "Бега" не есть отражение мелкобуржуазного натиска на театр? И не есть ли попытки протащить на сцену "Карамазовых" явление реакционного порядка?"

Наконец в этом году мы имели одну постановку, представлявшую собою злостный пасквиль на Октябрьскую революцию, целиком сыгравшую на руку враждебным нам силам; речь идет о "Багровом острове".

15 сентября того же года те же "Известия" напечатали статью "Перед поднятием занавеса (Перспективы теасезона)", принадлежавшую ржавому перу Ричарда Пикеля, бывшего заведующего секретариатом Зиновьева, в 36-м году осужденного вместе с Зиновьевым и казненного.

В статье Пикель злорадно острил:

"В этом сезоне зритель не увидит булгаковских пьес.¹ Закрылась "Зойкина квартира", кончились "Дни Турбиных", исчез "Багровый остров".

¹Эта фраза выделена в газете жирным шрифтом. - Н.Л.

Снятие булгаковских пьес знаменует собой тематическое оздоровление репертуара".

Книга и театр были, есть и, доколе я существую, будут для меня не отражением жизни, но самую жизнь, жизнью, как выражался Гоголь, "возведенной в перл создания". Художественный театр, хотя я видел тогда всего лишь четыре его спектакля, так же необходим был для моего внутреннего мира, как кислород для дыхания. Его история — глава из истории мировой культуры — питала мой ум и сердце. Я издали следил и за его праздниками, и за его буднями.

Как раз в 29-м году я попал на "Дни Турбиных". Это была не просто прекрасная пьеса, — как я смотрел на нее тогда и смотрю сейчас, — это был подвиг писателя, единственного из всех, кто волею судеб остался жить "под большевиками" отважился сказать правду о доблести истинно белых, а спектакль "Дни Турбиных" — не просто прекрасный спектакль: это был подвиг театра, не побоявшегося воплотить замысел автора.

Я писал о том, что "Братья Карамазовы" — моя любимая книга. Я еще в детстве наслушался рассказов матери о спектакле "Братья Карамазовы" в Художественном театре, где все было необычно: и чтец, которого русский театр раньше не знал, и то, что спектакль шел два вечера подряд, и то, что сцена в "Мокром" продолжалась полтора часа, и то, что режиссер Немирович-Данченко, придававший, как и Станиславский, такое большое значение живописному фону спектакля, здесь почти отказался от декораций, ибо ведь и сам Достоевский сводит пейзаж и интерьер к двум-трем мазкам; об этом спектакле-мистереи, участники которого то возво-

¹Эти три слова также выделены жирным шрифтом. - Н.Л.

дили зрителей на вершины, каких только может достигнуть душа человека, то погружались вместе с ними в бездну, и в антрактах зрители если и переговаривались, то шепотом, точно в храме, а уютный буфет Художественного театра пустовал. Имя Леонидова, которого я уже видел в "Вишневом саде", связывалось в моем представлении прежде всего с Митей, так же как имя Качалова, которого я уже видел в "Царе Федоре", связывалось в моем представлении прежде всего с Иваном.

Запрет, наложенный советскими цензорами и "наркопросветителями" на "Братьев Карамазовых" и на "Дни Турбиных", я воспринял как насилие над искусством и русским обществом, как преступление против всего, что есть лучшего в человеке, как хулу на Духа Святого.

...28 марта 30-го года Булгаков написал письмо правительству СССР, в русской литературе, пожалуй, не имеющее себе равных по смелости, и послал его Сталину, Молотову, Кагановичу, даже Бубнову — тогдашнему Народному Комиссару Просвещения, в ведении которого находились и театры. Это письмо вот уже несколько лет ходит по рукам.

В 60-х годах я вошел в состав комиссии по литературному наследству Булгакова, подружился с его вдовой — Еленой Сергеевной. Она дарила мне сборники постепенно выходивших на свет Божий произведений Булгакова. Сборник его пьес, изданный "Искусством" в 1962 году, она подарила мне с такой надписью:

"Николаю Михайловичу Любимову, совсем особенному человеку. С любовью Елена Булгакова Москва 4 12 62".

Елена Сергеевна изложила мне дальнейший ход событий.

Булгакову позвонил Сталин. Между ними произошел разговор. Вот он в кратком пересказе Елены Сергеевны:

Сталин. Мы получили ваше письмо, обсудили его. Я и другие товарищи решили, что мы можем отпустить вас за границу. Должно быть, мы очень вам надоели?

Булгаков. Я думаю, что русский писатель должен оставаться в России...

Сталин. Вот и я тоже так думаю.

Булгаков. Но я не могу жить без работы, а меня даже в корректоры не берут.

Сталин. А где бы вы хотели работать?

Булгаков. Мне бы хотелось быть режиссером в Художественном театре.

Сталин. За чем же дело стало?

Булгаков. Меня и туда не берут.

Сталин. Ну, я думаю, что после нашего с вами разговора вас туда возьмут.

1 апреля 30-го года Булгакова пригласили в Художественный театр и зачислили режиссером.

Сталин снял в 29-м году "Дни Турбиных" по просьбе возглавлявшейся Иваном Микитенко делегации украинских писателей, жаловавшейся, что в "Днях Турбиных" Булгаков оскорбил украинский народ. Тогда еще "культ личности" не достиг своего апогея, и Сталин уступил. Но в 32-м году, когда Сталин, выслушав устную реляцию Кагановича о пьесе Афиногенова "Страх", которую Каганович только что видел в Художественном театре, выразил недоумение: "Если можно ставить "Страх", то почему же нельзя ставить "Дни Турбиных"?". Вопрос Сталина, уже ходившего в "великих" и "гениальных", был воспринят как директива, а тут и Станиславский, как раз к тому времени неожиданно для него самого вошедший в особую милость к Сталину (Сталин даже просил его по любому поводу обращаться прямо к нему и дал ему, как впоследствии патриарху Алексию, свой телефон), воспользовался монаршьей милостью, чтобы замолвить слово за "Турбиных", и

в 32-м году "Дни Турбиных" без единой купюры были восстановлены. Сталин присутствовал на этом спектакле более десяти раз и аплодировал, высунувшись из ложи. А с ноября того же года в Художественном театре пошла булгаковская инсценировка "Мертвых душ". И теперь на вопрос: "Какживаете?" Булгаков отвечал:

— Благодарю вас. Великолепно. Я — штатный контрреволюционер с хорошим окладом.

В советской литературе разгром начался, как только она народилась. Но в 20-х годах погромщикам, орудовавшим сперва в журнале "На посту", а потом — в "На литературном посту" давали отпор Троцкий, Воронский, Полонский. Когда же Троцкий пал, а Воронского изгнали из "Красной нови", они обнаглели. Руководители российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП) находились под незримой защитой заместителя председателя ОГПУ Ягоды. (Ягода был женат на сестре генерального секретаря РАПП Авербаха.) Была у них поддержка и в МК, и в ЦК. Рапповцы, приставив нож к горлу писателей, спрашивали, кто они — союзники или враги? Первыми удостоились чести попасть в "союзники" Леонид Леонов — после "Соти", Мариэтта Шагинян — после "Гидроцентрали", Михаил Слонимский — после "Фомы Клешнева".

Но, в общем-то, рапповцы перетянули к себе считанные единицы. Иные из вступивших в ассоциацию продолжали держаться особняком (Багрицкий, Артем Веселый). Тогда пришла идея объявить "призыв ударников в литературу". Рабочих отрывали от дела, заставляли писать, писали за них.

Из призыва, как и следовало ожидать, ничего не вышло. Но те, кого удалось соблазнить, заболели одной из самых тяжелых душевных болезней, превратившись на всю жизнь в несчастных графоманов.

В конце 31-года рапповцы добились устранения последнего из опасных своих врагов.

Каганович вызвал к себе Вячеслава Павловича Полонского и объявил, что он больше не редактор "Нового мира".

Полонский напечатал в "Новом мире" целый массив из "Жизни Клима Самгина", "Море", "Жестокость", "Капитана Коняева", "Живую воду", "В грозу" Сергеева-Ценского, "Восемнадцатый год" и первую книгу "Петра Первого" Алексея Толстого, "Кащееву цепь" и "Журавлиную родину" Пришвина. В "Новом мире" тогда печатались Артем Веселый, Зощенко, Бабель, Соколов-Микитов, Пастернак, Есенин, Маяковский, Багрицкий, Мандельштам, Павел Васильев.

Известно, что Твардовский, будучи редактором "Нового мира", предпочитал литературу, от которой пахнет деревенским хлебом и прелой портянкой. Это были любимые его запахи.

Его, например, интересовал только "деревенский" Бунин. А к лучшим вещам Бунина (к "Братьям", "Господину из Сан-Франциско", "Снам Чанга", "Митиной любви", "Жизни Арсеньева") он остался холоден. Об этом мне рассказывала В. Бажанова, редактор девяти томного собрания сочинений Бунина, в редколлегию которого входил Твардовский.

Я не собираюсь умалять то хорошее, что сделал для русского общества Твардовский. И навсегда останусь ему благодарен за то, что он напечатал повести Василя Быкова, рассказы Солженицына, напечатал Можаяева, Александра Яшина, Шукшина, Наталью Баранскую, Войновича. Но Полонский отличался особой широтой вкуса, и в этом его огромное преимущество перед Твардовским. Петербуржец, еврей, Полонский залюбовался выплывающей из сказочного тумана клычковской деревенской Русью и опубликовал роман Клычкова "Чертухинский балакирь". Для Полонского не существовало излюбленных тем, как не существовало литературного кумовства. Он рассуждал так: "Вещь талантливая.

Давайте печатать! А кем был автор — левовец Кирсанов, конструктивист Сельвинский, крестьянский поэт Иван Приблудный — Полонскому было безразлично. И лишь в редких случаях скрепя сердце он отказывался что-либо публиковать против своей редакторской совести. Он вернул Пильняку "Красное дерево", отсоветовал Алексею Толстому писать "Девятнадцатый год".

И все-таки Полонский был смел, отчаянно смел. В 26-м году он напечатал "Повесть непогашенной луны" Бориса Пильняка. Пильняк за двадцать девять лет до "разоблачения культа личности" выжег на лбу Сталина клеймо убийцы.

Критик Дмитрий Александрович Горбов, впоследствии разошедшийся с Полонским, вспоминал и еще одно его качество: он никогда не навязывал авторам своих мнений.

— Вот тут я с вами не согласен, — говорил он, показывая Горбову то или иное место в его статье. — Вы на этом настаиваете? Что ж, Горбов за себя отвечает... В печать!

Полонский вынужден был лавировать, иначе он вылетел бы из "Нового мира" гораздо раньше. На него набрасывались газеты и журналы, предъявлявшие ему политические обвинения. Вот он возвращает очередной номер "Литературной газеты", а в нем статья Осипа Бескина с доносительским подзаголовком: "Кулацкий писатель и его правозаступник Полонский". Опять надо отбиваться!..

И Полонский отбивался. Третий раздел своих "Заметок журналиста", напечатанных в первом номере "Нового мира" за 30-й год, он озаглавил: "Осип Бескин и его учитель Булгарин".

"...Бескин вместо критики... избрал самый легкий, но и самый низкий путь: политической инсинуации... Это тот прием, законодателем которого был небезызвестный Фаддей Булгарин".

"...с Бескиным я не буду спорить, — заключает

раздел, посвященный Бескину, Полонский. — Ибо то, что он написал — не статья. Это даже не фельетон. Это — клеветон".

Полонский шел на уступки, бросал в пучину часть своих прав, для виду, нехотя, сквозь зубы цедил покаянные слова, "признавался в ошибках". И все же вел свою основную линию. Уже в предпоследней книге "Нового мира", на которой стоит подпись отв. редактора В.П. Полонского (это была десятая книга за 1931 год), Полонский напечатал рассказ Бабеля "Гапа Гужва" с подзаголовком: "Первая глава из книги "Великая Криница" — по-видимому, так и не написанной (рассказ не вошел потом ни в один из прижизненных и посмертных сборников автора "Конармии"). К сожалению, рассказ противный. От него, как и от некоторых других вещей Бабеля, воняет спермой и бабьим потом. Но до ужаса яркой выглядит в рассказе великокриницкая Мессалина — Гапа. Она так объясняет грозному уполномоченному рика по коллективизации, почему она выписалась из колхоза:

— ...А кажуть добрые люди, — произнесла она звучным, низким голосом, — кажуть, что в колхозе весь народ под одним одеялом спать будет...

Глаза ее смеялись в неподвижном лице.

— ...А я этому противница, гуртом спать, мы по двоих любим, и горилку, батькови нашему чорт, любим..."

И уже во втором часу ночи является она к уполномоченному только для того, чтобы задать ему вопрос:

"— ...что с блядьми будет?.. Житье будет блядям или нет?"

И приметы "года великого перелома" проступают в коротком бабелевском рассказе отчетливо. Как на ладони виден "судья, прозванный в районе "двести шестнадцать процентов". Этой цифры он добился на хлебозаготовках в буйном селе Воронькове.

О нем повествует старуха:

"— Вороньковский судья... в одни сутки произвел в Воронькове колхоз... Девять господарей он забрал в холодную... На утро их доля была идти на Сахалин... Перебули тыи господари ночь в холодной, является стража — брать их... Видчиняет стража дверь от острога, на свете полное утро, девять господарей качаются под балками на своих опоясках..."

На другой день Трофим сообщает Гапе сельские новости:

"— Ночью вся головка наехала... бабуся твою законвертовали... Голова рикю приехал, секретарь райкому..."

— ...бабусю за што?

— Кажуть, агитацию разводила про конец света..."

И — "безмолвие распростерлось над Великой Криницей, над плоской, могильной, обледенелой пустыней деревенской ночи".

Так кончается "Гапа Гужва". Под рассказом — дата: "Весна, 1930 г."

Тогда говорили, будто "Гапа Гужва" послужила одним из толчков к снятию Полонского.

Били его за все: за то, что он печатает Сергеева-Ценского, и за то, что он печатает Алексея Толстого и Пришвина, и за то, что он напечатал повесть Сейфуллиной "Выхваль" — повесть о дикости современной деревни, и за то, что на страницах "Нового мира" увидел свет роман Лидина "Отступник" — безотрадная в своей правдивости картина быта и духовной жизни советского студенчества нэповских времен!

В критическом отделе "Нового мира" Полонский печатал лучшего критика послереволюционного времени Абрама Захаровича Лежнева, в частности — цикл его антирапповских памфлетов "Критика критиков", исследования Леонида Гроссмана "Преступ-

ление Сухово-Кобылина", "Исторический фон "Выстрела", статью Маяковского "Как делать стихи?", статью Дермана о языке "Моей жизни в искусстве" Станиславского. Твардовский таких статей, как статья Дермана, никогда бы не напечатал по первозданному своему невежеству и узости, того "глазка", сквозь который он смотрел на жизнь.

Чего-чего только ни находили читатели в "Новом мире"! Романы, повести, рассказы, пьесы, стихотворения, поэмы, снабженные фотоснимками путевые очерки (среди них — очерки зоркого следопыта, писателя бунинской школы Соколова-Микитова), статьи о международном положении, критические эссе, литературные портреты и памфлеты, вновь найденные историко-литературные материалы, рецензии, статьи о театральные премьеры и о выставках картин — опять-таки с фотоснимками.

Полонский был наделен необходимым для главы журнала особым нюхом и хваткой дельца, которой, кстати сказать, не было у Воронского; вот почему, как только Полонский взял в свои руки "Новый мир", "Красной нови" пришлось уступить "Новому миру" первое место. Стоило Полонскому узнать, что кто-нибудь из писателей, которыми он дорожил, работает над новой интересной вещью, как он скупал ее на корню, иной раз перехватывал, перекупал.

В 50-х годах на новоселье у критика Николая Ивановича Замошкина, бывшего литературного секретаря "Нового мира", я встретил бывшую заведующую редакцией "Нового мира" Веру Константиновну Белоконь. Вера Константиновна вспомнила, что однажды в "Новый мир" пришло из станицы Вешенской письмо от Шолохова. Шолохов впервые предлагал "Новому миру" свой роман.

— Это была "Поднятая целина", — пояснила Вера Константиновна. — Только в рукописи роман назывался по-другому, а как — этого я вам не скажу, — загадочно прибавила она.

Письмо было получено, когда Полонский отдыхал на юге. Ему телеграфировали. Полонский немедленно прислал телеграмму, в которой просил ответить Шолохову согласием и обещал ему высшую ставку.

Полонский говорил авторам правду в глаза. Он высоко ценил Леонида Гроссмана как исследователя, но, прочитав в 31-м году его роман о Достоевском (это я знаю со слов самого Леонида Петровича), он вернул ему роман и сказал:

— Ну, вы не беллетрист. Мы можем напечатать только главы о петрашевцах — они написаны занимательно.

К тому же он был баснословно работоспособен. Диву даешься, как его на все хватало. Он выступал на диспутах. Писал полемические заметки и статьи ("Леф или Блеф?"). Писал литературные портреты, свидетельствовавшие об остроте его критического зрения. Назову для примера его статью о Пильняке: "Шахматы без короля"

Полонский вез несколько возов одновременно: редактировал журнал "Печать и революция", откликнувшийся на все сколько-нибудь значительные явления художественной и научной литературы, редактировал еженедельный иллюстрированный журнал "Красная нива", редактировал "Новый мир", был директором Музея изящных искусств.

Как только его откуда-нибудь снимали, дело разлаживалось. После того, как Полонского отстранили от редактирования "Печати и революции", журнал влачил жалкое существование всего один год, а затем приказал долго жить. Скончалась после вынужденного ухода Полонского и "Красная нива".

После того, как Полонский вынужден был покинуть "Новый мир", журнал бесславно прозябал вплоть до хрущевских времен, когда его главным редактором вторично назначили Александра Твардовского.

Теперь в помещении, которое занимает "Новый мир", можно заблудиться, как в Критском лабирин-

те. При Полонском редакция журнала занимала две комнаты и в течение долгого времени состояла из ответственного редактора, двух литературных секретарей — Замошкина и Николая Павловича Смирнова и заведующей редакцией (она же и машинистка) Белоконь. И ко всем он был на удивление внимателен. Замошкин говорил мне, что Полонский каждое лето уезжал отдыхать на юг и оттуда посылал посылки с фруктами ему, Смирнову и Белоконь. И еще его необыкновенная пунктуальность. Скорее перевернулся бы свет, чем он не явился бы в редакцию "Нового мира" в объявленные дни и часы приема авторов. Даже к Твардовскому надо было пробиваться сквозь заградительный отряд секретарш. "Входить без доклада" могли только избранные, только его любимчики. К Полонскому волен был прийти на прием кто угодно. Это я знаю по опыту.

В августе 31-го года я, тогда еще не напечатанный ни единой строчкой, пришел на прием к Полонскому и занял очередь после Георгия Никифорова. Я задумал организовать в Институте литературный кружок, и мне хотелось, чтобы он им руководил. И вот я уже в кабинете ответственного редактора. Человек с носом, как у Сирано де Бержерака, и большими по-еврейски скорбными глазами встает, пожимает мне руку, предлагает сесть в кресло и, не перебивая, выслушивает.

Я объясняю, почему я обратился именно к нему. Для меня он редактор лучшего в СССР журнала и прекрасный критик; я мысленно аплодировал ему, когда он напал на Леф; аплодирую и теперь, когда он громит рапповцев; еще в детстве я с живым интересом читал его дореволюционные обзорные статьи, статью о Леониде Андрееве и Федоре Сокологубе в доставшихся мне по наследству от отца "Вестнике знания" и "Ежегоднике человеческой культуры".

Все это я выпалил, а сам смотрел в упор на

Полонского и думал: "Где же петушиный задира и драчун, каким я представлял себе Вячеслава Полонского по его статьям и "Листкам из блокнота"?.. В глазах тоскующее изнеможение..."

Ответил он мне так:

— В другое время я бы с радостью взялся руководить вашим кружком. Но скажу вам откровенно: я смертельно устал. Думал вызвать кое-кого на дискуссию — и не вызвал, думал написать статью — и не написал. Атмосфера душная... Нет охоты работать... да нет охоты и жить...

Полонский уронил голову на руку.

Я стал торопливо прощаться. И долго потом недоумевал: почему он так говорил с незнакомым мальчишкой? Может статься, именно потому, что я был для него незнакомым приверженцем (а что я нелицемерный его поклонник — это он, конечно, сразу уловил в моем монологе и прочитал у меня в глазах), вот он и признался мне в том, что просилось выплеснуться, и что он стыдливо таил от родных и знакомых.

Немного погодя ему пришлось-таки ввязаться в дискуссию. В том же номере, что и "Гапа Гужва", напечатаны две его предсмертные речи, которые он произнес на дискуссии о творческом методе во Всероссийском союзе советских писателей.

Сейчас эти речи оставляют тягостное впечатление. Полонский кается, признается в мнимых ошибках, ставит себе в заслугу, что он "нещадно браковал реакционные произведения правых попутчиков" (это он-то, в том же номере поместивший "Гапу Гужву"!), делает реверансы РАПП (если б он знал, что не дни, но месяцы ее сочтены!). В то время его речи брали за сердце. По тем временам они казались верхом гражданского мужества. Полонский несколькими чертами подчеркивал, что он никогда не отмежевался от Воронского: "Я не помню ни одного выступления, печатного или устного, где бы я формально

отмежевался от Воронского. Это мне как-то претило. Почему? Да потому, что ошибки Воронского были часто моими собственными ошибками. Мы с ним шли вместе, и вместе ошибались. Нас сближали не только литературные, но и политические ошибки... И я, повинный в тех же ошибках, что и Воронский, не мог бросить в него камень...", " ...все те упреки, которые бросались по адресу Воронского, я готов принять на себя и разделить вместе с ним", "...весь период литературной борьбы, когда на Воронского сыпался град обвинений, когда он подвергался жесточайшей критике, когда из этой критики делались оргвыводы, я не делал формальных заявлений о моих несогласиях с Воронским. Было ли это полезно для меня как редактора и критика? Вы знаете превосходно, что ничего, кроме неприятностей, это мне не сулило. Тем не менее я поступал именно так".

Кто может бросить камень в самого Полонского за его увертки и извороты? Ведь он не скрывал в своей второй речи, что "пересматривал свои ошибки в условиях сплошной и систематической травли". Он заявил открыто:

"Очень тяжело работать, имея против себя такую могущественную организацию (Полонский имеет в виду РАПП), которая заявляет, что прав Полонский или не прав, признает он свои ошибки или не признает, все равно Полонского надо истребить". Он швырнул в лицо "товарищам из РАПП", что система, которую они применяют к нему, — это "система травли, система передержек, система извращений моих высказываний", и против этой системы он дрался и будет драться до последней капли крови. Так закончил Полонский свою последнюю речь. Ему аплодировали. Но он предчувствовал свое поражение. Слова, сказанные им по поводу только что вынесенной резолюции 4-го пленума правления РАПП, звучат безнадежно: " ...выходит так, что По-

лонский сейчас представляет последнюю опасность: покончили с Переверзевым, покончили с Воронским, надо покончить с Полонским. Что ж, кончайте, товарищи..."

Полонский недолго прожил после ухода из "Нового мира". В 32-м году он поехал в Магнитогорск. (Тогда прозаики, поэты, драматурги, критики и даже историки литературы ездили на новостройки и печатали очерки, начинавшиеся с неизменного: "Там, где еще недавно..." Этот зачин был так же обязателен в очерках о новостройках, как "Радуйся" в акафистах.) Перед отъездом Полонский купил на рынке с рук полушубок. Почему-то ему не пришло в голову продезинфицировать покупку. По дороге его, в жару и бреде, сняли с поезда и положили в больницу. В больнице он умер будто бы от сыпного тифа. Я слышал от его сестры, Клавдии Павловны (секретаря главного редактора Гослитиздата, где мы с ней и познакомились), что перед смертью он все повторял:

— Погубят литературу... Погубят литературу...

Смерть Полонского была очень похожа на неосознанное самоубийство.

А, кто знает, может, это было убийство?..

Может, Полонский первый, еще до ежовщины, поплатился за напечатанную им в "Новом мире" "Повесть непогашенной луны" Пильняка? Воронский, которому была посвящена эта повесть, впоследствии метнулся к троцкизму. Вот уже предлог для ареста — Пильняк постоянно вояжировал "по заграницам" — ну, конечно, шпион! Полонский троцкистом не был, за границу не выезжал. Придраться труднее.. Лучше начнем с него и отправим на тот свет тихонько: отравим, заразим... Самый тяжкий грех Полонского — опубликование "Повести непогашенной луны". Но за ним водятся и другие грехи: он наскაკивает на генерального секретаря РАПП Авербаха, состоящего в родстве с самим Ягода, он

"пустил мораль" на ценнейшего сотрудника ОГПУ Эльсберга. Лучше его убрать... Так спокойней...

Нет, недаром не только гениальный поэт, но и мудрый человек Борис Пастернак в стихотворении "На смерть Полонского", которого он нежно любил, в стихотворении, начинавшемся безоговорочно: "Ты был обречен", назвал его "неосторожным ребенком".

По свидетельству Сергеева-Ценского, который присутствовал на юбилее "Нового мира", праздновавшемся в декабре 34-го года, и рассказал мне о нем, Калинин, приветствуя "юбиляра", рубанул с плеча: куда, мол, Ивану Михайловичу до Вячеслава Павловича! Вот это был редактор!¹

Как бы то ни было, по народному выражению, Бог прибрал Полонского вовремя. До революции Полонский был меньшевиком. Во время гражданской войны заведовал литературно-издательским отделом Политического управления Красной Армии, попросту говоря, служил у Троцкого, хотя потом к троцкистской оппозиции официально не примкнул. В литературе разделял взгляды Троцкого и Воронского. В своей второй речи на дискуссии 31-го года он сам же об этом напомнил: "Как квалифицировал ЦК позицию Троцкого, Воронского и мою? Как капитулянтскую". Самое же главное, он напечатал "Повесть непогашенной луны". В 37-м году одного этого было более чем достаточно, чтобы учинить расправу.

С Полонским у меня была одна-единственная встреча. Воронского я не видел ни разу. Но внутренний его облик с годами вырисовался передо мной явственно.

На примере Воронского, пожалуй, легче, чем на

¹Калинин имел в виду Гронского, который после Полонского стал ответственным редактором "Нового мира".

чем-либо еще, проследить духовный путь русского интеллигента — поначалу убежденного большевика.

Писательница Елена Михайловна Тагер незадолго до гибели Воронского в беседе со мной отозвалась о нем так:

— Александр Константинович — аввакумовского духа человек.

Это — преувеличение. Аввакумовского неугасимого фанатизма Воронский не обнаружил: в конце концов он вышел из строя. Но в стан врагов не перешел.

Еще в Перемышле, читая статьи Воронского в "Красной Нови", я подпал под его обаяние. Воронский, в отличие от большинства советских "критиков", не был ни громилой, ни митинговым горланом. Он был настоящим критиком, критиком по призванию, хотя и стреноженным партийными путами, хотя в голосе его, бывало, нет-нет да и прозвучит властная нотка пусть мягкого, но все же начальника над писателями. Сперва он гордился тем, что на ногах у него путы, потом они стали тяготить его. Повелительные интонации исчезли.

В статьях Воронского чувствовалась любовь к литературе, и выражал он эту любовь свежими словами. Краски на иных из написанных им литературных портретах до сих пор не пожухли. Сущность Андрея Белого — прозаика сжато и очень верно определена Воронским с помощью метафоры самого Белого: "Мраморный гром". Так Воронский озаглавил свою статью об авторе "Петербургa".

Мне нравились прозаики и поэты, которые нравились Воронскому: Сергей Есенин, Алексей Толстой, Сергей Клычков, Всеволод Иванов, Борис Пильняк, Артем Веселый. Меня трогала та нежность, какую проявлял Воронский к Есенину. Я был всецело на стороне Воронского, когда он защищал Есенина от Бухарина, нападавшего после смерти поэта не столько на "есенинщину", сколько на самого

Есенина, которого он изображал певцом хулиганства.

Воронский держал курс на писательскую интеллигенцию — старую и молодую. Это укрепляло мои симпатии к нему. Книги так называемых "пролетарских" писателей — при всем моем тогдашнем интересе к литературной современности — вываливались у меня из рук. Воронский "недооценил" Серафимовича. Я "Железный поток" не дочитал — меня затошнило от стилистической безвкусицы автора. Воронский "недооценил" Фурманова. Я не смог дочитать "Мятеж" — мне было до того скучно, что однажды я над ним заснул. Я восторгался меткостью ударов, какие наносил Воронский шайке напостовских и налитпостовских бандитов. Главным образом за то, что Воронский защищал от них литературу, у него и отняли в 27-м году им же созданный с благословения Ленина журнал "Красная новь".

На короткое время Воронский примкнул к троцкизму. Я не думаю, чтобы Воронского прельстила экономическая и политическая программа троцкизма. Притягательная сила троцкизма для Воронского была в другом. Воронский был литературным единомышленником Троцкого. Троцкий еще при жизни Ленина поддержал Воронского и одобрил его за сближение со "стариками" и с "попутчиками". В фельетоне Валерьяна Правдухина, помещенном в первом номере "Красной нивы" за 24-й год под названием "Этюд о современных критиках", Воронскому была отведена роль гоголевского Остапа, который рубится с напостовскими лихими ляхами. И не сдобровать бы, мол, удалому Остапу, когда бы на выручку ему не подоспел Тарас-Троцкий¹. В лите-

¹Я тогда же прочел фельетон Правдухина, и в мальчишескую мою память запали и фамилия: Воронский, и та роль, в какой его изображает фельетонист.

ратурной борьбе политические противники менялись тогда местами: Троцкий был "правым", Бухарин — "левым". Троцкий с рыданием в голосе отслужил по Есенину панихиду. Бухарин плюнул в его могилу. В своих взглядах на политику партии в литературе Троцкий был близок к Ленину. Об этом прямо пишет Воронский в статье "О пролетарском искусстве и художественной политике нашей партии"¹: "Всякий, кто вспомнит последние... выступления в печати тов. Ленина, обязан признать полный контакт их с точкой зрения тов. Троцкого". Осенью 33-го года проходила последняя "чистка партии". На Воронского опять наскочили: ты, дескать, братался и якшался с "попутчиками", ты недооценил значение пролетарской литературы. В ответ на вопросы Воронский преспокойно достал из внутреннего кармана пиджака письмо. Это письмо написал ему Ленин. Основная мысль Ленина: пролетариат еще не скоро выдвинет истинных художников слова, а потому он советует товарищу Воронскому ориентироваться на тех старых и молодых писателей-интеллигентов, которые хотя бы и не всецело, но приняли Октябрьскую революцию. Сохранилось ли это письмо в архивах Комитета государственной безопасности?..

Но, конечно, не только общность литературных взглядов притягивала Воронского к Троцкому. По всей вероятности, он думал: "Лучше уж Троцкий, чем Сталин". Так рассуждал не один он. Так, вне всякого сомнения, рассуждала Крупская, названная в "Правде" от 30 декабря 1925 года "виднейшим представителем левой оппозиции", пошедшая про-

¹Воронский А., Искусство и жизнь. — Круг, Москва-Петербург, 1924, с. 96.

тив самого близкого ей в партии человека — против Бухарина, которому тогда было выгодно блокироваться со Сталиным, и только после разгрома троцкистов резко качнувшаяся "вправо", к бухаринцам: лишь бы не Сталин! Толкнула Воронского в объятия троцкистов гибель его друга Фрунзе (он умер 31 октября 25-го года).

Уже в хрущевские времена Всеволод Вячеславович Иванов рассказывал мне, как Воронский прямо с похорон Наркомвоенмора пришел в один дом, где собрались особенно близкие ему писатели. Были там Всеволод Иванов, Пильняк. Других я не запомнил. Поведав писателям тайну гибели Фрунзе, Воронский сказал:

— Вот бы об этом написать! Кто из вас возьмется?

— Я! — живо откликнулся Пильняк.

Сюжет остался за ним.

Что знает человек о своей участи?..

В эту минуту тот, кто предложил сюжет, и тот, кто за него ухватился, были вряд ли близки к мысли, что оба себя обрекли, что застольная эта беседа — начало их конца, что от того дома, где они собрались, для них обоих протянулась прямая, хотя и не короткая дорога к "Лубянке".

В пятой книге "Нового мира" за 26-й год появилась "Повесть непогашенной луны" Пильняка — повесть о том, как по приказу "негорбящегося человека" здоровый командарм, вынужденный подчиниться партийной дисциплине, лег на операционный стол и как по распоряжению того же "негорбящегося человека" командарм был отравлен хлороформом. Воронский, связанный с Фрунзе узами единомыслия и душевной близости еще с дореволюционных времен, выведен в повести под прозрачным псевдонимом: Попов (Воронский был сыном священника). Свою повесть Пильняк посвятил "Воронскому, дружески".

Пятая книга "Нового мира" была конфискована,

но какая-то часть тиража добралась до подписчиков. "Повесть непогашенной луны" вырезали, вместо нее вброшюровали рассказ Сытина.

На последней странице шестой книги напечатано:

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В 5-й книге журнала "Новый мир" напечатана повесть Бориса Пильняка "Повесть непогашенной луны". Хотя в предисловии повести и содержится указание, что речь идет не о смерти тов. Фрунзе, но вся бытовая обстановка, некоторые подробности и т.д. говорят об обратном. Повесть держит читателя в уверенности, что обстоятельства, при которых умер "командарм", герой повести, соответствуют действительным обстоятельствам и фактам, сопровождавшим смерть тов. Фрунзе. Подобное изображение глубоко печального и трагического события являются не только грубейшим искажением его, крайне оскорбительным для самой памяти тов. Фрунзе, но и злостной клеветой на нашу партию ВКП(б).

Повесть посвящена мне. Ввиду того, что подобное посвящение для меня, как для коммуниста, в высокой степени оскорбительно и могло бы набросить тень на мое партийное имя, заявляю, что я с негодованием отвергаю это посвящение.

С товарищеским приветом А. *Воронский*.

ОТ РЕДАКЦИИ

Помещая письмо тов. Воронского, редакция вполне присоединяется к его мнению. Редакция считает помещение в "Новом мире" повести Пильняка явной и грубой ошибкой.

Редакция.

Даже если не знать того, что предшествовало созданию повести, нельзя не прийти к выводу, что

Воронский написал (а быть может, только подписал?) это письмо под нажимом высшей партийной власти. В самом деле: мог ли Пильняк не показать Воронскому повесть, в которой он его вывел и которую он ему посвятил? Ну хорошо, пусть легкомысленный любимец Воронского Пильняк допустил такую непростительную оплошность, не подумав, что подводит близкого ему человека. А что же Вячеслав Полонский? Полонский был человек порядочный, Полонский был соратником Воронского, Полонский был, в отличие от беспартийного Пильняка, тертый калач в партийной борьбе. Уж он-то во всяком случае согласовал печатание повести с Воронским. Да и потом: если бы Полонский напечатал "Повесть" без ведома Воронского, их дружбе пришел бы конец. А между тем, когда Воронскому, отрешенному от редактирования "Красной нови", негде стало печататься, Полонский распахнул перед ним двери "Нового мира".

В первом номере журнала за 1928 год Полонский анонсировал статью Воронского "О художественной правде". Статья не увидела света, но не по вине редактора. Продолжение и окончание воспоминаний Воронского "За живой и мертвой водой" немного погодя появились в "Новом мире". Примем во внимание еще одно обстоятельство: Пильняк печатает посвященную Воронскому повесть не в "Красной нови", которую редактирует Воронский, а в "Новом мире". Неужто это случайность, а не заранее обдуманный, рассчитанный ход? История "Повести непогашенной луны" — это история "заговора трех". По всей вероятности, заговорщики не предполагали, что повесть вырежут. Но все-таки они достигли цели: повесть до читателя дошла, даже до читателя провинциального. Стоило это им пока не так уж дорого: Воронский отделался отмежеванием, Пильняк — покаянным письмом в редакцию "Нового мира" (опубликовано в книге первой за 27-й год). А

дело сделано. Что написано пером, того не вырубишь топором. Когда Сталин закрутил гайки, о "Повести непогашенной луны" боялись вспоминать, а не то что распространять ее. Но где-то у кого-то под спудом она долежала до времен "Самиздата".

За отстранением Воронского от "Красной нови" (1927) последовали исключение его из партии, арест, ссылка в Липецк. Потом — возвращение в Москву, но уже не на боевой пост, а в тихую заводь отдела классики ГИХЛ'а (Государственного издательства художественной литературы).

Что Воронский постепенно разочаровывался во всем, сжигал все, чему поклонялся, еще до ссылки в Липецк, это доказывает его редакторская деятельность.

В 23-м году Воронский напечатал в "Красной нови" стихотворение Есенина "Я обманывать себя не стану..." с весьма прозрачным намеком на Чеку ("Не расстреливал несчастных по темницам..."), в 25-м — "Стихи о соловье и поэте" Эдуарда Багрицкого: о соловье, пойманном и засаженном в клетку советской печати. В 27-м году, когда Воронский был выведен из редколлегии им созданного первого советского литературно-художественного журнала "Красная новь", он успел напечатать рассказ Сергеева-Ценского "Старый полоз" и начало его романа "Обреченные на гибель", а — если не считать повести Булгакова "Роковые яйца" — ничего более антисоциалистического в художественной литературе, издававшейся в Советском Союзе, тогда не было.

Я спросил у бывшего литературного секретаря редакции "Нового мира" (при Полонском и Гронском) Николая Павловича Смирнова, как мог, по его мнению, Воронский напечатать "Старого полоза" и "Обреченных".

— Воронский шел ва-банк, — ответил Смирнов.

В 32-м году Грифцов поделился со мной впечатлениями от Воронского:

— Станный коммунист этот Воронский! Сравнительно много знает, у него есть даже статья о Прусте (Прустианца Грифцова это особенно приятно поразило.) И потом, он пользуется каждым удобным случаем, чтобы дать понять, как мило ему давно прошедшее время, несмотря на тюрьму и ссылку, и как скверно живет теперь.

Насмотревшись на гепеушников, Воронский в книге "Желябов", вышедшей в 34-м году в серии "Жизнь замечательных людей", думается, неспроста обращает внимание читателя на благородство начальника Одесского жандармского управления Кнопа:

"Кноп доносил в Петербург: "Умолчание им (Желябовым — *И.Л.*) фамилий лиц, упомянутых в шифрованном письме, носит отпечаток преувеличенного рыцарского увлечения относительно понятий о чести..." Кноп ограничился отдачей Желябова на поруки".

Испытав на себе отношение гепеушников к ссыльным, Воронский в книге "За живой и мертвой водой" вспомнил исправника, сквозь пальцы смотревшего на роман его дочери со ссыльным Воронским. Вспомнил и дочь исправника Инну, раскрывшую Воронскому и его товарищам по несчастью провокаторшу и вовремя выкравшую у отца бумаги, уличавшие некоторых ссыльных в принадлежности к боевым дружинам, в террористической деятельности.

Побывавшие в советской тюрьме в ссылке, читая "Желябова" и "За живой и мертвой водой", не могли не сказать себе: такие люди, как жандарм Кноп, как исправник и его дочь, в среде ГПУ немислимы. Да, при царе сажали в одиночки и ссылали в рудники врагов самодержавия, расстреливали и вешали участников вооруженных восстаний, экспроприато-

ров и бомбистов. Военно-полевые суды, возникшие во времена эпидемии убийств, справедливо карая тех, кто метал бомбы в сановников, кто стрелял в них из-за угла, кто устраивал вооруженное ограбление почты и приканчивал совсем уж ни в чем не повинных бедняков-почтальонов и кучеров, допускали чудовищные ошибки. Но одно дело — самая непоправимая судебная ошибка, другое дело — состряпанная в ГПУ "липа". Воронский в своих воспоминаниях не рассказал ни об одном сфабрикованном жандармами деле. Посидев на Лубянке и побывав в советской ссылке, Воронский удостоверился, что в ОГПУ все, от членов коллегии до мелкой следовательской сошки, заняты мыслью, как бы побольше напечь "политических преступников". Я уже упоминал, что первое "дело" самого Воронского было на скорую руку состряпано Аграновым.

Да и весь подтекст книги Воронского "За живой и мертвой водой" подтверждает верность непосредственных впечатлений Грифцова от Воронского.

"Раньше, — пишет Воронский, — пленительными неясными предвосхищениями уносился я в будущее. Ныне я томим прошлым"¹.

"Вспоминая годы ссылки и то время, я вижу прежде всего моих соратников, совольников и друзей. Я благодарю судьбу за то, что она подарила мне их. Мои лучшие помыслы до сих пор связаны с ними"².

Историк русской литературы, член основанного Воронским литературного объединения (преимущественно состоявшего из молодежи) "Перевал" Николай Вениаминович Богословский, с которым мы познакомились и подружились после ежовщины,

¹А. Воронский. — "За живой и мертвой водой". М., изд. "Художественная литература", 1970, с. 141. Курсив мой. — Н.Л.

²А. Воронский. — "За живой и мертвой водой". М., изд. "Художественная литература", 1970, с. 209.

передавал мне содержание некоторых своих разговоров с Воронским, относящихся к началу 30-х годов. Богословскому было ясно, что Воронский шел от материализма к идеализму. Отход Воронского от материализма намечался, впрочем, уже в 20-е годы. Об этом свидетельствует его взгляд на подсознание как на материнское лоно творчества. О том же свидетельствует его "молчание — знак согласия" на проповедь его учеников-перевальцев — проповедь "надклассового гуманизма".

Богословскому запомнились слова Александра Константиновича:

— Надоел мне этот Гоффеншефер! Только и знает... — И тут Воронский изобразил гнусавую скороговорку Гоффеншера: — "Поль Лафарг, Поль Лафарг!"

С горечью говорил Воронский о себе:

— Вот и я захотел быть губернатором в литературе! Так мне и надо!

Богословский захаживал к нему в издательство. Однажды он присутствовал при такой сценке: младший редактор, один из тех, о ком говорят: "дурак дураком и уши холодные", просунул голову в дверь кабинета Воронского:

— Ляксан Константиныч! На партсобрание пора!

— Скажите, что я — за! — ответил большевик-подпольщик и стал запихивать рукописи в портфель. — Разойдись, Израиль, по свои шатрам! — с гримасой скуки обратился он к самому себе, а затем — к Богословскому: — Пойдемте домой, Николай Вениаминович!

Богословский точно запомнил еще одну фразу Воронского. Они вдвоем провели полдня на Москва-реке. Купались, загорали. Речь у них зашла о Сталине. Воронский говорил о нем как о царе Ироде. Потом мрачно задумался. И вдруг — с явственно враждебным оттенком в голосе:

— А что вы думаете? Ленин был тоже очень жестокий человек!..

А ведь, вспоминая себя в период между революцией 1905 года и первой мировой войной, Воронский писал: "Я... не мог забыть, что Марья Ильинишна — сестра Ленина, человека, больше и дороже которого для меня никого не было"

А ведь в 22-м году, в статье "Памяти В.Г. Короленко" Воронский с гордостью признавался, что он оправдывает казни, чинимые "красными". Значит, он оправдывал и расстрел эсеров, бок о бок с которыми еще так недавно горе горевал на тюремных нарах и в ссылках? Значит, он оправдывал тех, кто убил подростка-наследника и живьем сбросил в шахту великую княгиню Елизавету Федоровну? Значит, он оправдывал расстрел Гумилева? Значит, он оправдывал расстрелы людей, повинных только в том, что они — дворяне, фабриканты, купцы?..

А ведь в 25-м году в статье "Советская литература и белая эмиграция" он с простодушным до жути восхищением изрекает: "Революция — прекрасная мясорубка".

В 22-м году в статье "Евгений Замятин" Воронский сравнивает его с пассажиром, случайно попавшим на корабль Советской республики, не знающим, "куда несется корабль, к какой гавани пристанет, да и пристанет ли".¹

Воронский валит со своей, еще хмельной революционным хмелем головы на здоровую, трезвую, ясную голову Замятина. Замятин уже тогда понимал, что корабль, на который он попал в самом деле случайно и с которого он сойдет при первой возможности, причалит во всяком случае не к царству свободы. Воронских же этот корабль привел прямо-

¹"За живой и мертвой водой", с. 79.

хонько к воротам "Лубянки". Беда Воронских, Бухариных, Рыковых в том, что, разрушая до основания старый мир, они действовали по плану, вычерченному с почти геометрической точностью, а вот мир новый мерещился им смутно. Вспоминая большевистскую свою молодость, Воронский пишет об этом прямо: "...я творю волю неведомых и неукоснительно идущих к своей разрушительной цели людей".

Беда Воронских в том, что они слишком поздно прозревали. Только когда революция начала срезать самих сеятелей, они, подобно Хоме Бруту, сказали себе: "Эге, да это ведьма". Афоризм Георгия Авксентьевича Траубенберга относится не только к меньшевикам и эсерам, но и к Воронским:

— Надо быть вовремя умным.

Это трудно. Это очень трудно. Это едва ли не самое трудное в жизни. Но для политического деятеля это необходимо. Иначе сам провалишься в яму и других за собою потащишь.

А между тем Воронского еще когда предостерегал его товарищ по дореволюционной ссылке Новосельцев:

"— ...как бы шиворот-навыворот не вышло? Бывало это в истории, доложу вам, совсем даже не раз и не два... За позднее познание истины всегда платят полновесной ценой..."¹.

...После постановления ЦК о ликвидации РАПП (1932 год) в литературе чуть-чуть прояснело. Однако люди дальновидные предсказывали вслед за Соломоном Ривкиным: будет еще хуже. Писателей объединят в общий союз, чтобы легче было за ними следить.

Мракобесие не рассеялось, оно принимало разные обличья. В 32-м году, по случаю сорокалетия литературной деятельности Горького, пронесся шквал

¹"За живой и мертвой водой", с. 269.

переименований: Художественный театр — Горького, хотя там имела успех только одна пьеса Горького — "На дне"; Нижний Новгород — уже не Нижний Новгород, а Горький; Тверская улица в Москве — улица Горького. При всех обстоятельствах не терявшие чувства юмора москвичи продолжали переименования:

— Слыхали? Новые постановки ЦИК'а? Ну как же! О переименовании Народного Артиста Станиславского в Сталинславского, Народного Артиста Немировича-Данченко в Кагановича-Данченко и о переименовании всей нашей жизни в максимально горькую? А Демьян Бедный обиделся: почему это все Горький да Горький, а в его честь ничего не переименовывают? Ну и решили, чтобы его убогочить, переименовать памятник Пушкину в памятник Пушкину имени Демьяна Бедного.

Писатели растлевались на глазах. Сегодня один "перестроился", завтра, смотришь, другой. Коекого, для ускорения процесса перестройки, вызывали на Лубянку. Уже в 26-м году, во время генеральной репетиции "Дней Турбиных", вызвали Булгакова. Булгаков выдержал допрос, выдержал обыск и временное изъятие дневника (потом дневник по его требованию вернули, но он его сжег и больше дневника не заводил), он сдался под самый конец жизни, написав художественно слабую и политически наивную, не угодившую Сталину пьесу о нем "Батум"; пьесу не поставили, и писательское имя Булгакова осталось незапятнанным. Другие "раскалывались" при первом же вызове. Кто "перестраивался", кто шел в осведомители. Иных сажали, потом выпускали, и люди выходили оттуда рабами. Особенно легко "приручались" юнцы, выпорхнувшие в жизнь, когда не только евангельские заветы были разорваны в клочья, но и ветхозаветные скрижали разбил молот революции.

Павел Васильев в 31-м году недолго посидел на

Лубянке. В 33-м году в первомайском номере "Известий" я прочел его "Песню первого мая". Это, кажется, единственная во всей истории человечества песнь во славу тюремщикам и тюрьме.

Васильев пил не только

**За молнии, бьющие по крестам,
И молнии
В проводах над "Динамо",**

но и

**За молодость нашу, за ГПУ,
За соловьев и политотделы¹.**

И, наконец,

**...за те замки,
Которые караулят Торнтон².
Чужой беде не радуйся, голубок...**

Осенью 33-го года, проходя в писательскую столовую на Тверском бульваре, я услышал голос Клычкова, стоявшего на лестнице и кому-то изливавшего свое возмущение:

— Он еще подлее Пашки Васильева. А уж Пашка-то мерзавец из мерзавцев. Ведь я с ним последним делился.

Ключ к случайно до меня долетевшим словам Клычкова я нашел не скоро, в шестой книге "Нового мира" за 1934 год, где напечатаны клочки из стенограммы состоявшегося 3 апреля 33-го года в редакции вечера, посвященного творчеству Павла Васильева. (В сокращенной стенограмме опущены выступления Пастернака, Клычкова, — о них упоми-

¹Подразумеваются политотделы в совхозах, колхозах и машинно-тракторных станциях (МТС), введенные для политического надзора за крестьянами.

²Английский инженер Торнтон был незадолго до провозглашенного Васильевым тоста вместе с другими работавшими у нас английскими инженерами приговорен к тюремному заключению за "вредительство".

нается в выступлениях других участников вечера, которые с ними полемизируют.)

Павел Васильев говорил так:

"Тут — советское строительство, а с Клычкова, как с гуся вода... Разве Маяковский не пришел к революции и разве Клюев не остался до сих пор ярким врагом революции?.. Клычков должен сказать, что он на самом деле служил по существу делу контрреволюции, потому что для художника молчать и не выступать с революцией — значит выступать против революции".

Павла Васильева не спасли ни песнь во славу тюремных замков и замков, ни публичный донос на Клычкова и Клюева. В 37-м году ГПУ, НКВД то же, в знак благодарности за тост отлило для него, двадцатишестилетнего, пулю.

...На первом и втором курсах я учился в Институте прилежно, и лишь очень немногие предметы вызывали у меня брезгливую скуку, которую мне до времени удавалось, однако, преодолевать. Без особых усилий впрягся я в студенческий воз. И только в начале третьего курса почувствовал, что хомут стал натирать мне шею. Утратив провинциальное благоговение перед всем столичным, поняв, что нас учат "чему-нибудь и как-нибудь", что преподаватели языковых дисциплин и рады бы дать нам больше знаний, да часов у них кот наплакал, я стал добрую половину рабочего времени отдавать переводам, которые мне заказывали в издательствах и редакциях журналов. Я с прежней увлеченностью занимался на семинаре Грифцова по художественному переводу.

Пока вузовская общественная работа была мне в новинку, я ею не тяготился. Теперь и она мне осточертела.

На романском отделении нашими профсоюзными вождями были комсомольцы Тарабанова и Сабур. Они раздували пламя "социалистического соревно-

вания" и "ударничества", заносили студентов с лучшими "показателями" успеваемости и общественной работы на красную доску, "прогульщиков" — на черную. "Диамат" (диалектический материализм) преподавал у нас некий Патарая, являвший собой странную смесь чисто восточного идиотизма с восточным лукавством, говоривший по-русски с анекдотически восточным акцентом. Все у него непонятно откуда "красной нитью вытекало", но так никуда и не притекало. Речь его была по-восточному пышно расшита эпитетами и кое-где озвучена рифмами. О Троцком он говорил так:

— Этот нэпчтэннэйщий, сукинсыннэйщий, сановнэйщий, свиновнэйщий, злокачествэннэйщий дьявол...

Нам скоро стало ясно, что Патарая знает русский язык лучше, чем старается показать. Иной раз он якобы оговаривался, но в это время в его бараньих глазах зажигались насмешливые искорки. Так он на одном из собраний "оговорился", произнося фамилии председательницы и заместителя председателя нашего Профцехбюро.

— Товарищи Тарабарщина и Сумбур... — начал Патарая, и его прервал одобрителный хохот зала.

Действительно, оба несли вечно тарабарщину, у обоих в голове был сумбур.

Лекционный метод в те времена был признан "реакционным". Профессора и преподаватели все же читали лекции, но — контрабандой, до первого доноса кого-либо из студентов. Нас целых два года принуждали заниматься по методу "бригадно-лабораторному". Бригады на заводах и фабриках, бригады в колхозах, писатели бригадами выезжают на новостройки, бригадами сочиняют книги о гигантах пятилетки и о концлагерях. Бригадный метод чуть было не просочился и в художественный перевод. Академику Матвею Никаноровичу Розанову заморочили голову, и он при мне развивал идею кол-

лективного перевода "Фауста". В качестве одного из переводчиков трагических сцен предполагался Шервинский, видимо, подходивший для этой цели по своему темпераменту, — недаром мэтр Шервинского Брюсов прозвал его "воблой в обмороке", — почти все монологи и реплики Мефистофеля поручались Борису Ярхо как мастаку по части юмора, иронии и сарказма. Как бы эта "ударная бригада" перевела "Фауста", можно судить по дивным перлам, рассыпанным на страницах первого тома юбилейного собрания сочинений Гете.

**Слов пустых твоих Ничто
Не терплю я, мних!
Как подошву, в решето
Износил я их.**

**Образуя тело, грек
Пусть сминает глину,
Пусть ликует человек
Рук творящих сыну.**

**Как прекрасною с мужчиной
Половиною — жена,
Так прекрасной половиной
Нашей жизни — ночь дана.**

— Кто это? Неизданный Козьма Прутков? — спросит читатель.

— Отнюдь! Это стихи Гете: "Крепко и добротню", "Песнь и ваянье" в переводе Шервинского и "Филина" в переводе Кочеткова.

**Рвутся, дерутся, кусаются,
А все из-за корки сухой,
Что из нежных рук им милей, чем торт,
Хоть будь он амброзией натерт.**

А это, верно, из черновых набросков Достоевского к стихам капитана Лебядкина?

Ошибаетесь! Это из "Парка моей Лили" в переводе Бориса Исаковича Ярхо!

К счастью для русского читателя, затея перевода "Фауста" мощными силами бригады Шервинского — Ярхо не осуществилась. Впоследствии нас с лих-

вой вознаградил за эти скуловоротные вирши перевод Пастернака.

Наш курс делился на бригады. Студентам вменялось в обязанность "прорабатывать материал" коллективно. Бригады должны были вести строгий учет коллективных занятий и представлять рапортчики в "производственный сектор" Профцехбюро. Отвечать преподавателям бригада выдвигала кого ей было выгодно — того, кто тверже знал предмет. Наша бригада так ни разу и не собралась.

Мы изучали политическую экономию, историю Запада (понимай: историю революционного движения на Западе), историю ВКП(б), историю Коминтерна, экономическую политику советского государства, диалектический материализм, исторический материализм, ленинизм. Все это, кроме истории ВКП(б), вылетело у меня из головы, как скоро я покинул институтские стены, и ни на что мне в жизни не пригодилось. Дабы "политехнизировать" нас (политехнизация школ и вузов была декретирована уже тогда), нам читали "машиноведение". Зато нас лишили курса истории русской литературы и даже курса истории западной литературы — они не вмещались в учебный план, перегруженный "измами". Нам читали курс истории только французской литературы, но и этот куцый курс не был доведен до конца по причине "марксистской невыдержанности" профессоров.

По окончании первого семестра нас послали налаживать "ликбез" на московских фабриках и заводах. По окончании второго семестра нас послали на фабрики и заводы уже как физическую силу. Это называлось "рабочей практикой". Мы вертелись у рабочих под ногами. Иные нас жалели, другие ворчали. Мне повезло: я устроился на "практику" в типографию "Известий". От того дома, где я жил, до типографии было два шага. При типографии была приличная столовая, намного лучше студенчес-

кой, — меня туда прикрепил. Практика моя заключалась в том, что я сидел в "плоскопечатном" цеху, выравнивал стопы газетных листов, которые выбрасывала машина. Когда в машине что-то "заедало", и она начинала рвать листы, я беспомощно оглядывался на бригадира, балагурившего с работницами, и, силясь перекричать машинный гул, звал его на выручку. Никто мне не показал, как надо выключать рубильник. Да и листы я подравнивал по неопытности неаккуратно. После меня иной раз приходилось перекладывать целую гору.

Вскоре появилась возможность устроиться на настоящую практику там, где мы могли применить наши скромные знания. Но чтобы перейти с "рабочей" практики на специальную, требовалось разрешение директора. Мы пошли к нашей директорше — Ольге Григорьевне Аникст, матери историка англо-американской литературы Александра Аникста. Эта партийная аристократка, жена члена коллегии Госплана РСФСР, постоянно ездившая за границу, щеголявшая во всем заграничном, встретила нас надменно:

— Нет, нет, товарищи, вам необходимо перевариться в рабочем котле, — сверкая золотом верхних вставных передних зубов, на которые с трудом напозала губа, заключила она.

По окончании каждого семестра и учебного года кафедры устраивали итоговые заседания с участием преподавателей и студентов — "академуполномоченных", следивших за успеваемостью товарищей, "профуполномоченных", ответственных за "общественное лицо" курса, парторгов и комсоргов. Студенты ставили отметки профессорско-преподавательскому составу, заявляли, кем и за что они довольны, кем и за что недовольны.

И вдруг в сентябре 32-го года последовало "историческое" постановление ЦИК СССР о высшей школе, в котором пространно доказывалось, что дважды

два — не три и не пять, а четыре. Лекционный метод реабилитировался, практика упорядочивалась, роль преподавателей повышалась. Пришел конец студенческим самосудам над ними. Пришел конец "коллективным зачетам". Снова вводились государственные экзамены, дипломные работы.

Но мне довелось жить более или менее нормальной студенческой жизнью всего один год. Почти все гуманитарные вузы были тогда трехгодичные. Если фабрики и заводы "выполняют" пятилетку в четыре, а то и в три года, то уж гуманитарные-то вузы могут и должны "уложиться" в три.

Конечно, нас вынимали из печки недопеченными: институтское начальство меньше всего беспокоилось о том, чтобы будущие переводчики и преподаватели иностранных языков знали иностранные языки. От языкового материка в плане оставалась узенькая полоска — берега его размыл марксизм-ленинизм, преимущественно сталинизм.

У нас отнимали время субботники и митинги, на которых надлежало то требовать расстрела рамзинцев, то требовать от "товарища Бухарина" полного признания всех его ошибок. (Я покорно и поначалу даже не без любопытства ходил на всякого рода сборища, увильнул только от "антивредительского" митинга, и ноги моей никогда не было на митингах антирелигиозных.)

По школе я плакал горькими слезами. Покидая Институт, я облегченно вздохнул. Моя alma mater — не московское высшее учебное заведение, а перемышльская средняя школа.

Мои связи с товарищами и товарками по Институту оборвались вскоре после того, как я сдал последний экзамен. В течение трех лет я словно ехал домой в поезде дальнего следования. Соседи по купе у меня подобрались славные. Мы не ссорились, — напротив, мирно беседовали о трудностях пути, но и задушевных разговоров не вели, оказывали друг

другу мелкие услуги, но едва поезд замедлил ход перед конечной станцией, как мы засуетились, стали собирать вещи, двинулись к выходу, чтобы поскорей занять очередь к такси, в перронной толчее тотчас потеряли друг друга из виду, да, признаться, и не оглядывались, а после не искали встреч. Только с одной подругой я виделся до тех пор, пока нас не развела судьба. Но я подружился не только с ней, а и с ее родителями. Я бывал у нее в доме, пока его не развалили ежовщина и война.

Состав студентов Московского института новых языков был разношерстный. На моем курсе и на старших курсах преобладала московская "золотая молодежь", не попавшая в другие вузы по "социальному происхождению": дети юристов, экономистов-плановиков. Эта публика "правой ногой не сморкалась, левой не утиралась". Она тщательно наводила глянец на себя и по внешнему лоску судила о других. На первых порах меня к ней потянуло. Но мне не потребовалось много времени, чтобы под маской "блестящих" интеллигентов разглядеть обыкновенных мещан.

От этих я скоро отстал, но не пристал и к другим — к "парттысячникам", которых партийные организации ежегодно командировывали в вузы для увеличения партийной прослойки. Среди них встречались неплохие "ребята", хоть и были они в большинстве своем — провинциалы. Они мужественно голодали, жили не в отдельных и даже не в коммунальных квартирах, а в набитом битком общежитии на Стромынке. Девушки ходили в чиненых юнгштурмовках, в дешевых платьицах, в засаленных, давно потерявших форму стоптанных туфлях. Сильный пол был еще небрежнее в своем убранстве. Меня, "интеллигентного пролетария", связывало с ними презрение к бытовому благополучию. Но вот беда: нам не о чем было говорить. Среди них было немало помышляющих только о карьере, но находились и

такие, кто был твердо убежден, что мы строим социализм, что раскулачивание необходимо, что Рамзин действительно вредитель, а Бухарин действительно правый оппортунист и капитулянт. Меня отпугивала от этой породы людей ее малограмотность, ее тупость и узколобость.

Женя Тарабанова уверяла меня:

— Пушкин — не паэт. Дворянин не может быть настоящим паэтом. Ведь у него же дворянская идеология. Вот Жаров, Безыменский — это паэты!

И все же я вышел из Института не с пустым чемоданом.

Я научился читать трудные для понимания книги иностранных авторов, почти обходясь без словаря. Я писал матери письма по-французски. На третьем курсе, исполняя поручения издательств и редакций журналов, я переводил с французского и испанского статьи и рассказы, переводил на французский язык письма французским писателям, артистам, художникам, театральным деятелям. К концу пребывания в Институте по договору с издательством "Academia" перевел три пьесы Мериме. (Эти мои переводы до сих пор переиздаются.) То, что я освоился с французским языком, я в изрядной мере обязан опытным преподавательницам, авторам трудов по грамматике и лексикологии французского языка Марии Августовне Уэн, Адриенне Адриановне Провандье-Сырейщиковой, Люсиле Жильбертовне Поммер.

Федор Викторович Кельин преподавал у нас испанский язык разбросанно, бессистемно; чувствовалось, что преподавать ему скучно. И все-таки если бы наш декан Владимир Ефимович Грановский не настоял на превращении французского отделения в романское и не пригласил преподавать испанский язык Кельина, я бы, наверное, не перевел "Дон Кихота".

Мне стоило поступить в Институт новых языков и

вытерпеть всю хаотичность и нелепость институтской жизни только ради того, чтобы начать учиться у Леонида Петровича Гроссмана и Бориса Александровича Грифцова и свести с ними близкое знакомство.

Внешность Гроссмана останавливала взгляд. Меня Бог ростом не обидел, но когда я, стоя, разговаривал с Леонидом Петровичем или шел рядом с ним, сам себе я казался лилипутом, а Леонид Петрович — Гулливером. Вышине Леонида Петровича соответствовали крупные черты лица и крупная голова, которую, казалось, с трудом поддерживало узкое туловище, и оттого она у него покачивалась при ходьбе или клонилась набок. Общее впечатление благородной внушительности усиливала тогда уже сильно прохваченная сединой волнистая чернь волос. Когда он задумывался, его большие, черные, слегка навывкате, глаза принимали строгое выражение. А в бесхитростной улыбке, приоткрывавшей верхний ряд зубов, неровных, как у ребенка, у которого еще не выпали молочные зубы, было что-то детское.

Леонид Петрович читал у нас теорию литературы. Определяя варваризмы и прозаизмы, метафоры и метонимии, Леонид Петрович засыпал нас приводимыми на память цитатами из русских классиков, преимущественно — их поэтов. По одному тому, как он читал стихи и прозу, было видно, что он не просто любит, а боготворит русскую литературу. Русская литература была для него храмом, и он не позволял даже легкой шутки над его святынями. Не помню, по какому поводу, я прочел наизусть шутливую пародию на Пушкина из сборника "Парнас дыбом":

**Одна в глуши лесов сосновых
Старушка дряхлая жила
И другом дней своих суровых
Имела серого козла.
Козел, томим духовной жаждой,**

**В дремучий лес пошел однажды;
И растерзал его там волк.
Козлиный глас навек умолк.
Остались бабушке лишь ножки,
Утехою минувших дней,
И память о козле больней,
Лишь поглядит на козьи рожки.
Одна, одна в лесной глуши
Тоскует о козле в тиши.**

Леонид Петрович не сделал мне замечания, — слишком для этого он был деликатен. Он ответил мне стихами из "Моцарта и Сальери":

**Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля,
Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией бесчестит Алигьери.**

Гроссман был не способен на резкую отповедь. Когда бойкий, но пустопорожний фельетонист Левилов сказал ему по поводу какой-то фразы Достоевского:

— До чего ж это по-идиотски звучит!

Леонид Петрович мягко возразил:

— У Достоевского это звучит не по-идиотски.

Гроссман читал лекции глуховатым, негибким баском, слегка в нос, с одесским акцентом, но то, что у другого лектора воспринималось бы как притупляющие внимание недостатки, у него как-то не замечалось. Недостатки лектора Гроссмана поглощала захватывающая дух широта знаний, поглощала свобода, с какою лилась его плавная, живописная речь, поглощал его тихий восторг перед русским словом, перераставший в восторг перед Россией.

Он читал, по своему обыкновению скандируя слоги, четко выговаривая согласные, стихи Алексея Конст. Толстого:

**Край ты мой, родимый край,
Конский бег на воле,
В небе крик орлиных стай,
Волчий голос в поле!**

**Гой ты, родина моя!
Гой ты, бор дремучий!
Свет полночный соловья,
Ветер, степь да тучи!**

А я, глядя на его откинутую голову и вдруг влажно засиявшие под стеклами пенсне глаза, думал:

"Да этот одесский еврей с его нерусским выговором куда "русее" всех русских западников и социалистов!.."

...После одной из лекций Гроссмана я подошел к нему в коридоре и признался в моем влечении к Достоевскому.

Леонид Петрович с радостным изумлением склонил ко мне свою голову.

— Вы любите Достоевского, да? — как бы желая услышать от меня подтверждение, спросил он. — Вы меня очень обрадовали. Любящих Достоевского теперь наперечет. В сущности, это даже небезопасно, одну мою знакомую студентку исключили из вуза только за то, что она изъявила настойчивое желание специализироваться по Достоевскому.

С этого дня мы душевно сблизились.

Самыми большими любимцами Гроссмана были Пушкин и Достоевский.

Мне запомнились его слова:

— Даже у Достоевского иной раз не находишь того, что потом непременно найдешь у Пушкина.

Тогда я эти слова принял на веру. Теперь я в этом контексте Пушкина и Достоевского частенько представляю местами.

Гроссмана травили и до и после ликвидации РАПП, и до и после войны, вышибли из Института новых языков, в 34-м году поначалу отказали в приеме в Союз писателей, после войны выгнали из Московского университета, ославили "космополитом" и "низкопоклонником перед Западом" (нашли кого!), редко и неохотно печатали. На него с насмешливого "высока" посматривали формалисты, придирав-

шиеся к каждой допущенной им фактической неточности (как будто они сами были свободны от ошибок!), не прощавшие ему "красивостей", к которым его в самом деле подчас тянуло, стремления елико возможно скорее, по его собственному выражению, "воспарить над материалом". Из-за этой поспешности он иногда терпел аварии, и находились такие, кто не желал видеть его исследовательский, ораторский и писательский талант, его дар говорить об отвлеченных предметах так, что студенты, актеры, посетители публичных лекций слушали его, затаив дыхание, дар писать об отвлеченных предметах с порою могучей силой образности, с мастерством резчика по слову. Этим Гроссман резко отличается от иных формалистов — ну, скажем, от академика Виноградова, который всю свою жизнь писал о русском языке так, что можно было подумать, будто он его ненавидит — столь варварски он с ним обращался. Гроссман находил нравственную поддержку не в литературной среде, а в аудиториях и у читателей. Литератору Гроссману легко дышалось лишь в начале и в конце пути. Но он не утратил ни жизнерадостности, ни исследовательской энергии, ни действенной благожелательности к одаренной молодежи, ни любопытства к новым явлениям в искусстве и литературе. Он любил театр и, пока не слег, старался не пропускать ни одной премьеры. Он притягивал к себе своей благожелательностью и широтой кругозора. Вильям-Вильмонт рассказывал мне, что ему стоило съездить в Ялтинский дом творчества только ради общения с Гроссманом, который тоже там тогда отдыхал. Вильмонт работал над статьей о Достоевском и Шиллере. Они с Гроссманом не могли наговориться. И сколько Гроссман дал ему ценных советов!..

В 1963 году Михаил Михайлович Бахтин прислал мне в подарок свою только что вышедшую книгу "Проблемы поэтики Достоевского". Я с гордостью

за своего учителя убедился, что Бахтин, ученый с мировым именем, высоко ценит работы Гроссмана о Достоевском, в иных случаях отдает ему предпочтение перед другими русскими специалистами, видит в нем первооткрывателя некоторых особенностей поэтики Достоевского: "Л.П. Гроссмана нужно признать основоположником объективного и последовательного изучения поэтики Достоевского..." — пишет Бахтин. Он приводит длинную цитату из книги Гроссмана "Поэтика Достоевского", кончающуюся так: "Достоевский... смело бросает в свои тигеля все новые и новые элементы, зная и веря, что в разгаре его творческой работы сырые клочья будничной действительности, сенсации бульварных повествований и боговдохновенные страницы священных книг расплавятся, сольются в новый состав и примут глубокий отпечаток его личного стиля и тона".

"Это великолепная описательная характеристика жанровых и композиционных особенностей романов Достоевского", — подводит итог Бахтин.

Изыскания и находки Гроссмана, так же как и Долинина, легли в основу академического полного собрания сочинений Достоевского.

Под конец жизни он мне сказал:

— Для работы над Достоевским теперь мне не надо ходить по библиотекам — у меня все тут: и русская, и иностранная литература о Достоевском.

Выход книги Бахтина совпал с переизданием книги Гроссмана о Достоевском в серии "Жизнь замечательных людей". Я поздравил Леонида Петровича по телефону. Он пригласил меня к себе на Пречистенку. Он жил много лет в двухэтажном флигеле во дворе бывшей Поливановской гимназии (вход с Малого Левшинского переулка), — там я бывал у него еще студентом.

Я сказал Леониду Петровичу, что нынче у него двойной праздник: во-первых, переиздание его книги, что непреложно свидетельствует об ее успехе, а

во-вторых, выход книги Бахтина. Праздник Бахтина — это и его праздник, потому что хотя Бахтин кое-где и спорит с ним как равный с равным, но признает в нем землепроходца.

На протяжении всего моего многолетнего общения с Леонидом Петровичем я ни разу не уловил в его голосе ни одной хвастливой, тщеславной нотки. Тут Гроссман улыбнулся своей детской, на этот раз чуть-чуть недоверчивой и все же счастливой улыбкой.

— У вас в самом деле создалось впечатление, что Бахтин выделяет меня среди достоевистов? — спросил он. — Мне тоже так показалось, но я боялся ошибиться.

Мы с Леонидом Петровичем распили бутылку грузинского вина, потом долго, со вкусом пили чай (он даже вечером любил пить крепкий, душистый).

Последний мой разговор с Леонидом Петровичем утвердил меня в мысли, что это мягкий в обращении с людьми человек остается непоколебим, как гранит, в своих литературных взглядах. Он говорил мне, что по-прежнему высоко ценит книгу о Достоевском Акима Львовича Волинского и считает себя его учеником, по-прежнему видит в Бакуanine одного из прототипов Ставрогина. Доводы противников, в частности — Вячеслава Полонского, не переубедили и не поколебали его, и он снова вернулся к этой теме в биографии Достоевского (ЖЗЛ). Остался он на прежних позициях и как биограф Сухово-Кобылина. В 30-х годах против Гроссмана выступил его двоюродный брат, тоже Гроссман, считающий, что Диманш убил не Сухово-Кобылин, а крепостные. По этому поводу юморист Эмиль Кроткий сочинил эпиграмму на мотив пушкинского "Ворона":

**Гроссман к Гроссману летит,
Гроссман Гроссману кричит:
Гроссман! где б нам отобедать?
Как бы нам о том поведать?**

**Гроссман Гроссману в ответ:
Знаю, будет нам обед;
В чистом поле под ракитой
Труп француженки убитой.**

Леонид Петрович стоял на своем: Сухово-Кобылину с помощью связей удалось замять дело. Если дореформенный суд обелил крепостных, значит, они не виновны.

На мой вопрос, о ком Леониду Петровичу хотелось бы написать теперь, он ответил:

— О Блоке — для "Жизни замечательных людей". Эта его мечта не сбылась.

Свою книгу о Достоевском он подарил мне в тот вечер с надписью:

"Дорогому Коле Любимову, моему ученику и другу. Л. Гроссман".

Вскоре после нашей встречи Леонид Петрович заболел и уже не осилил болезни. Я справлялся о его здоровье по телефону. В последний раз, когда я ему позвонил, Леонид Петрович был так слаб, что не мог взять трубку. Я попросил ухаживавшую за ним женщину сказать Леониду Петровичу, что звонит Коля Любимов и просит передать ему сердечный привет. Женщина меня знала.

— Ах, это Коля Любимов? — переспросила она. — Сейчас передам, сейчас передам... Леонид Петрович рад, что вы ему позвонили, только вот сам еще слаб, трудно ему говорить... Велит сказать, что благодарит вас за память и кланяется... Леониду Петровичу лучше... Бог даст, скоро поправится...

Мне было ясно, что эти две фразы женщина прибавила, чтобы подбодрить умирающего...

...Когда Борис Александрович Грифцов читал лекции по западной литературе в Институте имени Брюсова и на Высших Литературных курсах, впоследствии упраздненных, слушать его обычно сбегались студенты и младших и старших курсов. Они называли его "Гений с лицом демона". Гением

он не был — он был просто очень талантливым человеком. Лицо его принимало порой уничижительное, презрительное, насмешливое, скептическое выражение, но демонического в нем не было ничего.

В нашем Институте он заведовал кафедрой перевода, читая теорию перевода и вел семинар по художественному переводу.

В теоретические дебри он нас не заводил. Он ограничился несколькими вводными лекциями, преподавал азбуку художественного перевода, а потом стал чередовать лекции по французской литературе XIX и XX веков, восполняя таким образом пробел в нашем учебном плане, с переводческим семинаром. На лекции Грифцов вырисовывал творческий облик французского писателя, раскрывал его стилиевой принцип, затем предлагал нам для перевода отрывки из его романа, повести или рассказа. Переводили мы дома, сдавали свои тетрадки и листочки Грифцову, он их читал, а на следующем занятии разбирал, да так тщательно и придирчиво, что в наш студенческий речевой обиход вошло даже новое слово: "прогрифцовать" чей-нибудь перевод. Этот глагол понравился Борису Александровичу. Он подарил мне и моим двум товарищам письма Флобера в своем переводе и надписал: "...для коллективного грифцования".

Мы учились плавать, не стоя на берегу, а барахтаясь в воде. На глубоких местах Грифцов протягивал нам руку. Мы убеждались на деле, что искусство перевода как всякое искусство требует изобретательности, изворотливости, что почти каждое правило требует исключений.

В выборе авторов для перевода Грифцов был иногда субъективен. Он терпеть не мог Мопассана, называл его пошляком, эротоманом, терпеть не мог Гюго, называл его напыщенным болтуном и водолеем, не дал нам перевести из них ни одной фразы. Зато из Бальзака и Пруста мы перевели три больших

отрывка, из Шатобриана, Шарля-Луи Филиппа и из Жироду — два.

С неохотой я переводил только Бальзака. Следующие строки из письма Тургенева Вейнбергу от 22 октября 1882 года доставили мне впоследствии злорадное удовлетворение:

"Бальзака... я никогда не мог прочесть более десяти страниц сряду, до того он мне противен и чужд."

По заказу я Бальзака не переводил никогда.

Вживание в отрывок из "Госпожи Бовари" (дуэт Родольфа и Эммы, прерываемый речью приехавшего на сельскохозяйственную выставку советника) и в отрывок из "Под сенью девушек в цвету" Пруста (описание моря, увиденного из окна гостиницы) много-много лет спустя облегчило мне работу над ними, когда я переводил "Бовари" и "Девушек" целиком.

При разборе наших работ Грифцов проявлял язвительную беспощадность. Он часто говорил, что нет ничего страшнее серого перевода. Пусть в переводе будут смысловые неточности, даже грубые ошибки, — их легче всего углядеть и устранить. Пусть перевод грешит излишней цветистостью языка. С течением времени вкус и опыт научит убирать лишние мазки. Только не серость! Только не безликость! И только не буквализм! Только не — "с глазами, наполненными слезами"!

Это не мешало ему поднимать меня на смех за русопятство, но мое самолюбие не страдало: я смеялся над собой таким же веселым смехом, как и мои товарищи. Я чувствовал, что Грифцов любит меня как студента, только любовь свою выражает своеобразно: жучит часто, а хвалит редко, но если уж хвалит, то в сильных выражениях.

Грифцов лепил из меня переводчика и на лекциях, и на семинаре, и беседа со мной у себя в кабинете.

Я выдвинулся у него не сразу — и, как это я понял много позднее, не по своей вине.

Для начала Грифцов предлагал нам переводить отдельные фразы. Это была его единственная педагогическая ошибка. Перевод отдельных фраз мне редко когда удавался. Фраза живет в контексте. Вырванная из него, с обрубленными сучьями и ветвями, она засыхает, как дерево. Уже приобретая опыт, я пытался, вчитываясь в произведение, к которому мне предстояло подобрать русский стилевой ключ, переводить фразы из разных глав и частей. И не было случая, чтобы потом, дойдя до какой-либо из этих фраз, я не переводил ее заново, чтобы я не отказывался от заготовки. Вырастая из контекста, фраза требовала иного звучания. На занятиях у Грифцова дело у меня пошло на лад, как только он от фраз перешел к связным отрывкам.

С чувством слова я, по-видимому, родился. Грифцов обострил его во мне. Грифцов взрастил его во мне. Он вышучивал меня только когда я в своих руссификаторских увлечениях доходил до комических перехлестов, но тут же оговаривался, что мальчишеское озорство у меня пройдет; перемелется — мука будет, а зерна, мол, у меня много. Он давал волю клокотавшей во мне и рвавшейся наружу стихии просторечия. Если б он ставил ей запруды, я не перевел бы ни "Дон Кихота", ни "Гаргантюа и Пантагрюэля".

Под тем, что Грифцову представлялось неудачным в наших переводах, он проводил уничижительную волнистую линию, над тем, что вызывало его одобрение, ставил крестик. И как раз чаще всего я получал крестики за налитые соком русские слова.

Грифцов возился со мной. Когда я перевел для "Academia" Мериме, он "прогрифцовал" все три моих перевода.

У меня сохранилась рукопись моего перевода комедии "Небо и ад" с поправками Грифцова и с

его краткой оценкой на первой странице над заглавием:

Сделав небольшие поправки, вполне можно отдавать в набор этот отличный перевод.

5.5.33.

Б. Грифцов

Со способными студентами, проявлявшими особенно живой интерес к его предмету, Грифцов охотно беседовал о литературе, рассказывал им о своих итальянских впечатлениях. Неутомимый в ходьбе, он обычно возвращался из Института, помещавшегося то на Варварке, то на Маросейке, то в Малом Черкасском переулке, то на Чистых прудах, к себе домой в Чернышевский переулок (ул. Станкевича) пешком. Мы провожали его и по дороге забрасывали вопросами. Ответы Грифцова на вопросы об его отношении к русской современной литературе были почти всегда издевательски уничтожающи. Его суждения отличались нарочитой резкостью. Он пускал в ход сильные противоядия, чтобы вытравить из нас дурной вкус. Особенно доставалось от него Пильняку и Олеше. Вероятно, они казались ему наиболее для нас опасными. Развенчивать Федора Гладкова, Чумандрину, Панферова или Ставского ему, конечно, не приходило в голову, тем более что он и сам-то их не читал.

Собрав наши работы, я опускал их в почтовый ящик, висевший на двери его квартиры, — мне это поручалось, потому что я жил неподалеку от него. Я поднимался по лестнице на второй этаж. Меня обдавало примусной вонью из коридора, в который переходила верхняя площадка. Ступать по этой лестнице, дыша ароматом коммунальной квартиры, думать: "А вдруг дверь откроется, и выйдет Борис Александрович — вот было бы хорошо! Нет, пусть лучше не выходит — страшно!", дрогнувшей рукой

опускать листочки в ящик с надписью: "Б.А. Грифцов", — какое это было блаженство!

Студентом второго курса я был допущен в "святая святых", а затем стал частым его посетителем — стоило мне позвонить по номеру: 5-60-21.

"Святая святых" представляло собой закуток, отгороженный от тесной прихожей тонкой переборкой. В кабинете у Бориса Александровича негде было повернуться. Его письменный стол был завален книгами, рукописями и переводами студентов, две стены от пола до потолка заставлены полками с книгами. На третьей стене с единственным окном висели три портрета: портрет хозяина работы Ульянова, портрет Брюсова и портрет Пруста.

Брюсова Грифцов считал своим учителем. Брюсов был для него не только большим поэтом, но и крупным мыслителем. Статью Брюсова о Гоголе "Испепеленный" он ставил выше всего, что было сказано о Гоголе. Он утверждал, что Брюсов открыл новый период в истории русской литературы, что он повысил вес художественного слова, повысил ответственность писателя перед словом, что в эпоху Брюсова даже непосвященным стало ясно, что есть поэзия и что есть стихослагательство.

Приятие Брюсовым Октября, его вступление в Коммунистическую партию Грифцов, должно быть, пережил в свое время болезненно, но не отрекся от учителя. Когда же я его спросил, зачем это Брюсову понадобилось, он ответил так:

— Брюсов стал коммунистом в пику "Русским ведомостям".

О несочувствии Грифцова к официальной идеологии я догадывался по отдельным его суждениям и сообщениям, в частности — по его рассказу о том, как он познакомился с публицистом, искусствоведам и критиком Михаилом Петровичем Неведомским (Милашевским).

Оба одно время преподавали в Тверском педа-

гогическом институте. Знакомы они были шапочно. Но вот как-то они в ожидании начала своих лекций сидели в преподавательской. На столе кто-то забыл "Русскую историю в самом сжатом очерке" Покровского.

— Скажите, пожалуйста, какого вы мнения об этой книге? — неожиданно обратился к Грифцову Неведомский.

— Большой мерзости я за всю свою жизнь в руках не держал, — ответил Борис Александрович.

— В таком случае позвольте пожать вашу руку! — воскликнул Неведомский.

Так возникла их многолетняя дружба.

Как-то, году в 32-м, я сказал Грифцову, что письмо Леонида Леонова в "Литературную газету" подлое, и даже без оттенка благородства (кажется, это был ответ писателю-эмигранту Ивану Наживину).

— Что же вы удивляетесь? Талант у Леонова не Бог весть какой, но есть, и школа неплохая: Достоевский, Лесков, Замятин, а вот уж порядочность и Леонид Максимович — это две вещи несовместные, — закончил Грифцов свой эскиз к портрету Леонова.

Грифцов давал мне читать свои книги: "Искусство Греции", "Рим", написанную вместе с Муратовым монографию о художнике Ульянове, "Теорию романа", и даже такие свои работы, которые, если бы какой-нибудь недоброхот о них вспомнил, могли бы ему повредить: книгу "Три мыслителя" (о Розанове, Мережковском и Льве Шестове), статью "Судьба Константина Леонтьева" в "Русской мысли" и ругательски-ругательную статью в журнале "София" о письмах Белинского. Подарил он мне изданный после революции в Берлине свой автобиографический роман "Бесполезные воспоминания" (книга не сохранилась, но надпись я запомнил: "Николаю Михайловичу Любимову эту много веков тому назад написанную книгу") и последнюю свою книгу "Как работал Бальзак" с надписью: "Если эта книга ус-

танавливает три манеры Бальзака, то Вам, Николай Михайлович, чрезмерно заботливо следящему за слабым творчеством ее автора, может быть, будет бесполезным и такой авторский комментарий: она написана в третьей, и, очевидно, последней, грифцовской манере.

Сент. 1937.

Б. Грифцов"

Грифцова воспитали символизм и формализм. От иных формалистических крайностей он так и не избавился. Он заходил за черту, которой и не думал переступить в своих стиховедческих трудах Андрей Белый. Раз по наблюдениям Белого четырехстопный ямб у Лермонтова недостаточно гибок, значит, Лермонтов — слабый поэт; Лермонтов — незавершенный прозаик: таков был основной тезис доклада, который сделал Грифцов в Государственной академии художественных наук и который, разумеется, не имел успеха.

Однажды, когда мы гуляли вдвоем по Москве, он, размышляя вслух, привел в пример Ал. Ник. Толстого:

— Алексею Толстому, вернее всего, в детстве сказал мальчишка: "Если ты и впрямь барчук, сбегай принеси пряничка, тогда хитрость покажу". Эти слова долго хранились в памяти Толстого и долежались до того дня, когда Толстой подумал, что приблизительно так мог сказать малолетнему Петру Меншиков. Вот с чего у писателя начинается работа над вещью, а не с "идейного замысла".

Впоследствии я освободился от того сковывающего, что было во влиянии Грифцова на меня. Но в пору моего переводческого ученичества даже его ультраформализм шел мне на пользу.

Грифцов любил пооригинальничать. Он, например, пытался доказать мне, что поэмы Баратынского выше поэм Пушкина, что романы Константина Леонтьева выше романов Тургенева. Я остался при своем мнении. Но, благодаря тому, что меня с трех

сторон подталкивали Гроссман, Грифцов и Багрицкий, я вошел в дотолем неведомый мне мир поэзии Баратынского, Языкова, Павловой. Грифцова привел к Павловой Брюсов: ему, как и Брюсову, близок был взгляд на поэзию, в широком смысле слова, как на ремесло, хотя бы и святое. Недаром наивысшей похвалой в устах Грифцова было: "Здорово сделано!" Это Грифцов открыл мне Случевского, прочитав наизусть стихотворение, которое, как я догадался потом, должно было быть особенно близко Грифцову, ибо оно отражало трагедию его личной жизни:

**Упала молния в ручей.
Вода не стала горячей.
А что ручей до дна пронзен,
Сквозь шелест струй не слышит он.
Зато и молнии струя,
Упав, лишилась бытия...
Другого не было пути...
И я прощу, и ты прости.**

Грифцову нравилось казаться холодным и надменным насмешником. Надменен он был, впрочем, только с ему равными и теми студентами, которых он презирал за тупоумие или подлость. Впечатление человека недоброго, какое Борис Александрович производил на людей, близко с ним знакомых, довершала усмешка, обнажавшая запломбированные кривоватые зубы, и привычка, обращая к слушателям горделивый профиль, с какой-то зловещей медлительностью потирать руки. Даже в том, как он, и без того невысокий, впалогрудый, сутулился, ежился, ощущалось желание обособиться. Но у этого "сухаря" глаза были веселые, даже озорные, и человек он был сердечный.

Незадолго до окончания Института я вызвал гнев партийных, комсомольских и профсоюзных вождей нашего отделения тем, что властью "профуполномоченного" не пустил свой курс на очередной субботник, потому что нужно было готовиться к

экзамену. Мы пошли на субботник, но после экзамена. Когда вышло постановление ЦИК СССР о высшей школе, воспрещавшее перегружать студентов общественной работой, я в шутку сказал одному из общественных деятелей нашего переводческого факультета:

— Попили нашей кровушки, будя!

Спустя несколько месяцев шутка всплыла, и ей придали антисоветский смысл.

Я чувствовал, что одной из пружин начавшегося против меня гонения была самая обыкновенная зависть. На комсомольском собрании один графоман, некий Быстряков, пристававший то к Грифцову, то к Кельину, чтобы они прочли его графоманскую поэму, с возмущением говорил о том, что я, гнилой интеллигент, и никакой не комсомолец, "пробрался" в редакции журналов, где меня печатают. На том же собрании я был объявлен "чуждым нашему обществу элементом". Но когда дело дошло до нового директора Константинопольского, он дал ему "задний ход", рассудив, что я поступил разумно, не пустив свой курс на субботник накануне экзамена, да еще по такому важному предмету, как марксизм. А то, что я, еще студент, печатаюсь — так это даже хорошо: и для меня практика, и марку Института повышает. Но Борис Александрович руководил мною, наставляя, как и что отвечать на нескончаемых допросах.

На подготовку к государственным экзаменам и написание дипломных работ нам дали месяц. Я все-таки опасался, что меня на марксизме срежут. Грифцов разделял мои опасения. Я уехал на месяц в Перемышль и дни и ночи готовился к экзамену. Чтобы в случае необходимости защитить меня, Грифцов на правах руководителя "ведущей" кафедры присутствовал на этом генеральном смотре нашей политической зрелости. Но все, слава Богу, кончилось благополучно.

По окончании экзамена Грифцов подошел ко мне и, не скрывая под ехидной усмешкой торжества, не преминул меня кольнуть:

— Вот только вы к месту и не к месту употребляли слово "теперь".

Для того, чтобы специализироваться по художественному, или, как в то время называли его, литературному переводу, нужно было разрешение заведующего кафедрой. На нашем курсе Грифцов дал такое разрешение четверым, в том числе — мне.

Борис Александрович сказал, что если я представлю ему перевод "Неба и ада" Мериме с подробным предисловием переводчика, то это и станет моей дипломной работой.

Я писал о принципах перевода драматургии, о стиле Мериме, сблизил его со стилем пушкинской драматургии — предельный лаконизм, выразительность скупых подробностей.

Из моего предисловия мне запомнилась одна-единственная фраза: "Раскатившись на бойком и живом русском языке, переводчик должен вовремя затормозить..." Спустя много лет Борис Александрович, наверное, с удовлетворением прочел бы в статье Ник. Ник. Вильям-Вильмонта о моем переводе "Гаргантюа и Пантагрюэля", где автор статьи называет меня "суровым мастером".

Я любил Бориса Александровича, как редко кого-то любил в жизни. Моя благодарность ему умрет только вместе со мной. Каждое его слово было мне как подарок, и я не в силах отказать себе в радости привести здесь его по-грифцовски лаконичный отзыв о моей работе, переписанный мною слово в слово:

"Перевод комедии "Небо и ад" выполнен с большим талантом и как раз так, что он вполне оправдывает и осуществляет положения статьи, приложенной к переводу, — статьи очень содержательной, свидетельствующей и о теоретической

зрелости т. Любимова. Русский перевод комедии Мериме, напечатанный лет 10 назад и принятый к постановке в театре Вахтангова, вполне грамотен, но безличен. Заслуга т. Любимова в том, что, переводя точно, он дает каждому персонажу свой характерный язык. Особенно выразительны реплики брата Бартоломе, построенные переводчиком в пародическом тоне, отлично выдержанном и колоритном. Перевод т. Любимова был мною проверен в черновике. В нем не оказалось ошибок. И мои (самые незначительные) поправки сводились лишь к стилистическим частностям." Институт смело может рекомендовать т. Любимова для ответственной работы по литературному переводу.

Очень хорошо.

Зав. кафедрой перевода

Б. Грифцов

Оправдал ли я надежды Грифцова — судить не мне. Но пожелание его сбылось: почти всю свою переводческую жизнь я выполнял ответственную (то есть трудно выполнимую) работу. В доказательство сошлюсь на "Декамерона" Бокаччо, "Дон Кихота" и "Странствия Персилеса и Сихизмунды" Сервантеса, "Гаргантюа и Пантагрюэля" Рабле, "Брак поневоле" и "Мещанина во дворянстве" Мольера, трилогию Бомарше, "Коварство и любовь" Шиллера, "Хронику царствования Карла IX" Мериме, "Красное и черное" Стендаля, "Госпожу Бовари" Флобера, "Милого друга" Мопассана, трилогию о Тартарене, "Королей в изгнании" и "Сафо" Доде, "Лестницу славы" Скриба, "Легенду об Уленшпигеле" де Костера, "Монну Ванну", "Синюю птицу" и "Обручение" Метерлинка, "Дантона" Ромена Роллана, "В поисках утраченного времени" Пруста.

Несколько месяцев спустя со мной случилось несчастье. Борис Александрович направил мою мать с

запиской к своему другу Неведомскому, у которого были связи в высших сферах:

Дорогой Михаил Петрович!

Помогите Елене Михайловне Любимовой так, как помогли бы мне.

Б. Грифцов.

Тогда же Борис Александрович доверительно сообщил моей матери, что его вызывали на "Лубянку" и предлагали сотрудничать. Грифцов отговорился тем, что живет крайне замкнуто и почти ни с кем не видится. Это была истинная правда: работал он с утра до вечера, из дому выходил по делам, на вечернюю прогулку да изредка в гости к писателю Ивану Алексеевичу Новикову, автору книги, которую очень любил читатель 30-40 годов, — "Пушкин в изгнании". Я бывал у Грифцова часто и только однажды видел у него гостей: в тот вечер будущий академик Виктор Владимирович Виноградов читал отрывки из своей книги о языке Пушкина.

И все-таки Грифцов мог опасаться повторных вызовов, а в ежовщину — ареста.

— Все мои друзья очутились за границей, — говорил он мне.

Он имел в виду Муратова, оставшегося ближайшим его другом после того, как к Муратову ушла его первая жена, Бориса Зайцева, высланных советским правительством за границу Бердяева и Осоргина.

Быть может, у Бориса Александровича независимо от страха за себя и семью исподволь развивалась душевная болезнь. Но страх несомненно ускорил распад его личности. В ежовщину он изъяснялся с помощью официозных слов даже у себя в кабинете, даже со мной. Малейшее проявление вольнодумства раздражало его.

Как-то я сказал, что учитель Николая Островского — бульварный писака Брешко-Брешковский и что "Рожденный бурей" — это роман Брешко "Шпионы и герои", но только двадцать пятого сорта.

— Если вы так думаете, вам нечего делать в литературе! — не скрывая гнева, воскликнул Грифцов.

После таких приступов он всякий раз смущенно сникал.

Болезнь прогрессировала. Борис Александрович постепенно терял дар речи. От бывшего ядовито-холодного, вспыльчивого Грифцова ничего не осталось. В прихожую выходил встречать меня благодушный старичок и, смущенно улыбаясь, тряс мою руку — тряс, тряс и все не мог остановиться, пока меня не вырвала его жена.

В столовой, за чаем, он обращался ко мне:

— Сколько... сколько... сколько... — повторял он и яростно тер себе лоб, а я старался догадаться, о чем он хочет спросить: сколько глав "Дон Кихота" я перевел? Сколько мне лет?..

И вдруг Борис Александрович, сделав над собой крайнее усилие, произнес скороговоркой:

— ...Сколько у вас детей?

Нужно было чем-нибудь удивить его — только тогда он единым духом произносил целое предложение.

Хорошо и давно знавший Грифцова критик Константин Григорьевич Локс, когда мы, идя вдвоем из издательства, заговорили о Борисе Александровиче, поставил его болезни такой диагноз:

— Грифцова запугали, и он стал писать и говорить не своими словами. Он утратил настоящие слова, а потом и утратил речь.

Грифцов высмеивал Леонида Гроссмана, главным образом — его пристрастие к "высокому слогу", справедливо, но чересчур зло критиковал его исто-

рические романы, он не оставлял в покое даже его внешность.

...На похоронах Грифцова были его родственники, двое его учеников — Наталья Ивановна Немчинова и я, и двое из его бывших коллег по Институту имени Брюсова и Институту новых языков: Георгий Аркадьевич Шенгели и Леонид Петрович Гроссман. Вот и все.

Между тем я все свободное время посвящал театру и современной литературе. Я старался не пропускать литературных вечеров.

Был я, помнится, на вечере Алексея Толстого в Политехническом музее, где он читал только что напечатанные им главы второй книги "Петра". Толстой читал по-особенному — то почти на церковный распев: "Кричали петухи в мутном рассвете... Неохотно занималось февральское утро. Медленно, тяжело плыл над мглистыми улицами великопостный звон"; то смакуя бытовые подробности. Когда читал смешные места, сам оставался серьезным, а публика заливалась смехом. У сидевшего в президиуме Пильняка от смеха очки съезжали на кончик носа.

Ходил я на вечера Кирсанова и Сельвинского в Клуб ФОСП (Федерации объединений советских писателей) на Поварской (позже там было Правление Союза писателей СССР).

Сельвинский читал так, что даже его стихи из "Электрозаводской газеты", в которых я потом не мог отличить, где же кончается графоман и где начинается поэт, слушатели принимали восторженно. Дикция у Сельвинского была такая, что хоть сейчас на сцену. Когда он читал "Балладу о барабанщике", казалось, что кто-то выбивает четкую дробь:

**Барабаны в банте,
Славу барабаньте,
Барабарабаньте
Во весь. Свой. Раж.**

**Н и
В Провансе —
Н и
В Брабанте —
Нет барабанщиков
Таких. Как. Наш.**

У Сельвинского был обаятельный тембр голоса. Цыганская его хрипотца струной гитары рокотала в "Цыганских рапсодиях":

**Гей-та гойп-та гундаала
Задымило дундаала
Прэндэ-вндэ-дэнти-воля
Тнды?-руды дундаала.**

А несколько лет спустя он пел включенный им в стихотворение "Охота на нерпу" куплет из итальянской песенки "Marechiare" не хуже иных профессиональных певцов.

Чернявый карапуз Кирсанов заставлял забывать о своей наружности и даже о том, что он слегка гнусавил. Он, как и Сельвинский, был мастером эстрадного жанра в поэзии, но только менее изощренный и не с таким широким диапазоном голоса. Он читал "Германию", вернее, почти всю ее пел на мотив "шимми", и я почти слышал, как чеканным прусским шагом проходит по Берлину полк:

**Фридрих Великий,
подводная лодка,
пуля дум-дум,
цеппелиннн...
Уннитер-ден-Линннден,
пружинной походкой
Полк
оставляет
Берлиннн.**

А чуть погода — жалобный, унылый звук флейты:

**Стены Вердена
в зареве утр...
Пуля в груди —
костеней!
Дома, где Гретхен**

и старая Mutter, —
Кайзер Вильгельм
на стене...

После перерыва — по обыкновению, долгое и нудное обсуждение. Шелуха безликих слов. И только когда на эстраде появляется пародист Архангельский, внешне чем-то напоминающий мулата, слушателям снова дышится легко. Архангельский, равный Ираклию Андронику в искусстве перевоплощения, жесточе и тоньше Андроникова. С помощью художественных средств, характерных для пародируемого автора, Архангельский доводит до абсурда его стилевую систему. Его выступления убийственны. Он пародирует Фадеева так, что его пародия превращается в пародию на Льва Толстого, но только вступившего в Коммунистическую партию и марксистски подкованного: слова взяты из советского лексикона, синтаксис и интонация — толстовские.

На эстраде Архангельский начинает с краткого предисловия:

— Товарищи! Я принадлежу к тому немногочисленному, уже вымирающему племени, которое не умеет выступать в прениях. Поэтому разрешите мне вместо выступления прочесть пародию...

Нет, мне есть за что добром помянуть эти годы. И великим, тогда еще недоосознанным мною, но осиявшим всю дальнейшую жизнь мою счастьем, было то, что я жил среди умных, добрых, честных и талантливых людей.

Москва, 1971—1986.

НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО Н. БУХАРИНА

Весьма секретно
Лично

Прошу никого другого
без разрешения И.В.

Сталина не читать*

И.В. Сталину

7 страниц + 7 стр. докл. зап.

Иосиф Виссарионович!

Пишу это письмо, как, возможно, последнее, предсмертное, свое письмо. Поэтому прошу разрешить мне писать его, несмотря на то, что я арестант, без всякой официальщины, тем более, что я его пишу только тебе, и самый факт его существования или несуществования целиком лежит в твоих руках...

Сейчас переворачивается последняя страница моей драмы и, возможно, моей физической жизни. Я мучительно думал, браться ли мне за перо или

нет, — я весь дрожу сейчас от волнения и тысячи эмоций и едва владею собой. Но именно потому, что речь идет о пределе, я хочу проститься с тобой заранее, пока еще не поздно, и пока пишет еще рука, и пока открыты еще глаза мои, и пока так или иначе функционирует мой мозг.

Чтобы не было никаких недоразумений, я с самого начала говорю тебе, что для мира (общества) я 1) ничего не собираюсь брать назад из того, что я понаписал; 2) я ничего в этом смысле (и по связи с этим) не намерен у тебя ни просить, ни о чем не хочу умолять, чтобы сводило дело с тех рельс, по которым оно катится. Но для твоей личной информации я пишу. Я не могу уйти из жизни, не написав тебе этих последних строк, ибо меня обуревают мучения, о которых ты должен знать.

1) Стоя на краю пропасти, из которой нет возврата, я даю тебе предсмертное честное слово, что я невиновен в тех преступлениях, которые я подтвердил на следствии.

2) Перебирая все в уме, насколько я способен, я могу, в дополнение к тому, что я говорил на пленуме¹, лишь отметить:

а) что когда-то я от кого-то слышал о выкрике, кажется, Кузьмина, но никогда не придавал этому никакого серьезного значения — мне и в голову не приходило;

в) что о конференции, о которой я ничего не знал (как и о рютинской платформе) мне бегло, на улице post factum, сказал Айхенвальд ("ребята собирались, делать доклад")², — или что-то в таком роде, и я тогда это скрыл, пожалев "ребят";

с) что в 1932 году я двурушничал и по отношению к "ученикам", искренне думая, что я их приведу целиком к партии, а иначе оттолкну. Вот и все. Тем я очищаю свою совесть до мелочей. Все остальное или не было или, если было, то я об этом не имел никакого представления.

Я на пленуме говорил таким образом сущую правду, только мне не верили. И тут я говорю абсолютную правду: все последние годы я честно и искренно проводил партийную линию и научился по-умному тебя ценить и любить.

3) Мне не было никакого "выхода", кроме как подтверждать обвинения и показания других и развивать их: либо иначе выходило бы, что я "не разрушаюсь".

4) Кроме внешних моментов и аргумента 3) (выше), я, думая над тем, что происходит, соорудил примерно такую концепцию:

Есть какая-то большая и смелая политическая идея генеральной чистки а) в связи с предвоенным временем, б) в связи с переходом к демократии. Эта чистка захватывает а) виновных, б) подозрительных и с) потенциально-подозрительных. Без меня здесь не могли обойтись. Одних обезвреживают так-то, других — по другому, третьих — по третьему. Страховочным моментом является и то, что люди неизбежно говорят друг о друге и навсегда поселяют друг к другу недоверие (сужу по себе: как я озлился на Радека³, который на меня натрепал! а потом и сам пошел по этому пути...). Таким образом, у руководства создается полная гарантия.

Ради бога, не пойми так, что я здесь скрыто упрекаю, даже в размышлениях с самим собой. Я настолько вырос из детских пеленок, что понимаю, что большие планы, большие идеи и большие интересы перекрывают все, и было бы мелочным ставить вопрос о своей собственной персоне наряду с всемирно-историческими задачами, лежащими прежде всего на твоих плечах.

Но тут-то у меня и главная мука, и главный мучительный парадокс.

5) Если бы я был абсолютно уверен, что ты именно так и думаешь, то у меня на душе было бы много спокойнее. Ну, что же! Нужно, так нужно. Но поверь,

у меня сердце обливается горячей струей крови, когда я подумаю, что ты можешь верить в мои преступления и в глубине души сам думаешь, что я во всех ужасах действительно виновен. Тогда что же выходит? Что я сам помогаю лишиться ряда людей (начиная с себя самого!), то есть делаю заведомое зло! Тогда это ничем не оправдано. И все путается у меня в голове и хочется на крик кричать и биться головою о стенку: ведь я же становлюсь причиной гибели других. Что же делать? Что делать?

б) Я ни на йоту не злобствую и не ожесточен. Я — не христианин. Но у меня есть свои странности. Я считаю, что несу расплату за те годы, когда я действительно вел борьбу. И если хочешь уж знать, то больше всего меня угнетает один факт, который ты, может быть, и позабыл: однажды, вероятно, летом 1928 года, я был у тебя, и ты мне говоришь: знаешь, отчего я с тобой дружу: ты ведь неспособен на интригу? Я говорю: Да. А в это время я бегал к Каменеву ("первое свидание"). Хочешь верь, хочешь не верь, но вот этот факт стоит у меня в голове, как какой-то первородный грех для иудея. Боже, какой я был мальчишка и дурак! А теперь плачу за это своей честью и всей жизнью. За это прости меня, Коба. Я пишу и плачу. Мне уже ничего не нужно, да ты и сам знаешь, что я скорее ухудшаю свое положение, что позволяю себе все это писать. Но не могу, не могу просто молчать, не сказав тебе последнего "прости". Вот поэтому я и не злоблюсь ни на кого, начиная с руководства и кончая следователями, и у тебя прошу прощенья, хотя я уже наказан так, что все померкло, и темнота пала на глаза мои.

7) Когда у меня были галлюцинации, я видел несколько раз тебя и один раз Надежду Сергеевну**. Она подошла ко мне и говорит: "Что же это такое сделали с Вами, Н.И.? Я Иосифу скажу, чтобы он Вас взял на поруки". Это было так реально, что я

чуть было не вскочил и не стал писать тебе, чтоб... ты взял меня на поруки! Так у меня реальность была перетасована с бредом. Я знаю, что Н.С. не поверила бы ни за что, что я злоумышлял против тебя, и не даром подсознательное моего несчастного "я" вызывало этот бред. А с тобой я часами разговаривал... Господи, если бы был такой инструмент, чтобы ты видел всю мою расклеванную и истерзанную душу! Если б ты видел, как я внутренне к тебе привязан, совсем по-другому, чем Стецкие и Тали!⁴ Ну, да это "психология" — прости. Теперь нет ангела, который отвел бы меч Аврамов, и роковые судьбы осуществляются!

8) Позволь, наконец, перейти к последним моим небольшим просьбам:

а) мне легче тысячу раз умереть, чем пережить предстоящий процесс: я просто не знаю, как совладаю сам с собой — ты знаешь мою природу; я не враг ни партии, ни СССР, и я все сделаю, что в моих силах, но силы эти в такой обстановке минимальны, и тяжкие чувства подымаются в душе; я бы, забыв стыд и гордость, на коленях умолял бы, чтобы не было этого. Но это, вероятно, уже невозможно, я бы просил, если возможно, дать мне возможность умереть до суда, хотя я знаю, как ты сурово смотришь на такие вопросы.

в) если⁵ меня ждет смертный приговор, то я заранее тебя прошу, заклинаю прямо всем, что тебе дорого, заменить расстрел тем, что я сам выпью в камере яд (дать мне морфию, чтоб я заснул и не просыпался). Для меня этот пункт крайне важен, я не знаю, какие слова я должен найти, чтобы умолить об этом, как о милости: ведь политически это ничему не помешает, да никто этого и знать не будет. Но дайте мне провести последние секунды так, как я хочу. Сжальтесь! Ты, зная меня хорошо, поймешь. Я иногда смотрю ясными глазами в лицо смерти, точно так же, как — знаю хорошо — что способен

на храбрые поступки. А иногда тот же я бываю так смятен, что ничего во мне не остается. Так если мне суждена смерть, прошу о морфийной чаше. Молю о этом...

с) прошу дать проститься с женой и сыном. Дочери не нужно: жаль ее, это ей слишком будет тяжело, так же, как Наде и отцу. А Аня — молодая, переживет, да и мне хочется сказать ей последние слова. Я просил бы дать мне с ней свидание до суда. Аргументы таковы: если мои домашние увидят, в чем я сознался, они могут покончить с собой от неожиданности. Я как-то должен подготовиться к этому. Мне кажется, что это в интересах дела и в его официальной интерпретации.

д) если мне будет сохранена, паче чаяния, жизнь, то я бы просил (хотя мне нужно было бы поговорить с женой)

*) либо выслать меня в Америку на n лет. Аргументы за: я провел бы кампанию по процессам, вел бы смертельную борьбу против Троцкого, перетянул бы большие слои колеблющейся интеллигенции, был бы фактически Анти-Троцким, и вел бы это дело с большим размахом и прямо с энтузиазмом; можно было бы послать со мной квалифицированного чекиста, и в качестве добавочной гарантии, на полгода задержать здесь жену, пока я на деле не докажу, как я бью морду Троцкому и К° и т.д.

**) но если есть хоть атом сомнения, то выслать меня хоть на 25 лет в Печору или Колыму, в лагерь: я бы поставил там: университет, краеведческий музей, технич. станции и т.д., институты, картинную галерею, этнограф-музей, зоо- и фито- музей, журнал лагерный, газету.

Словом, повел бы пионерскую зачинательскую культурную работу, поселившись там до конца дней своих с семьей.

Во всяком случае, я заявляю, что работал бы где угодно как сильная машина.

Однако, по правде сказать, я на это не надеюсь, ибо самый факт изменения директивы февральского пленума говорит за себя (а я ведь вижу, что дело идет к тому, что не сегодня-завтра процесс).

Вот, кажется, все мои последние просьбы (еще: Философская работа, оставшаяся у меня, — я в ней сделал много полезного).

Иосиф Виссарионович! Ты потерял во мне одного из способнейших своих генералов, тебе действительно преданных. Но это уж прошлое. Мне вспоминается, как Маркс писал о Барклае де Толли, обвиненном в измене, что Александр I потерял в нем зря такого помощника. Горько думать обо всем этом. Но я готовлюсь душевно к уходу от земной юдоли, и нет во мне по отношению ко всем вам и к партии, и ко всему делу — ничего, кроме великой, безграничной любви. Я делаю все человечески возможное и невозможное. Обо всем я тебе написал. Поставил все точки над i. Сделал это заранее, так как совсем не знаю, в каком я буду состоянии завтра и послезавтра etc.

Может быть, что у меня, как у неврастеника, будет такая универсальная апатия, что и пальцем не смогу пошевелинуть.

А сейчас, хоть с головной болью и со слезами на глазах, все же пишу. Моя внутренняя совесть чиста перед тобой теперь, Коба. Прошу у тебя последнего прощенья (душевного, а не другого). Мысленно поэтому тебя обнимаю. Прощай навеки и не поминай лихом своего несчастного.

Н. БУХАРИН

10.XII.37 г.

Сюда приложение на 7 страницах.***

*АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 427. Л. 13-18.
Маш. Копия. Л. 19-22. Автограф.*

* В 1956 г. письмо Н.И. Бухарина рассылалось членам Президиума ЦК, кандидатам в члены Президиума ЦК и секретарям ЦК КПСС.

** Н.С. Аллилуева — жена И.В. Сталина.

*** Письмо Н. Бухарина поступило в Особый отдел ЦК 2.XII.1938 г. без приложения. Другого экземпляра письма в архиве не имеется.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Имеется в виду пленум ЦК ВКП(б), проходивший с 23 февраля по 5 марта 1937 года. Решением пленума по докладу Ежова "дело Бухарина и Рыкова" было передано в НКВД.

2. Кузьмин В.В. и Айхенвальд А.Ю. — представители группы молодых партийных работников-экономистов, объединившихся вокруг Н.И. Бухарина ("бухаринская школа"). На одном из заседаний этой группы, якобы в присутствии Н.И. Бухарина, В.В. Кузьмин заявил о своем желании убить Сталина. В 1932-1933 годах многие представители "бухаринской школы" были арестованы и впоследствии расстреляны. Документальных подтверждений о проведении нелегальной конференции, о которой упоминается в письме, и участии в ней Н.И. Бухарина не обнаружено.

Рютинская платформа названа по имени ее автора Рютина М.Н. (1890-1937). В марте 1932 года Рютин и его сторонники подготовили проекты двух документов: платформу под названием "Сталин и кризис пролетарской диктатуры" и обращение "Ко всем членам партии". Во время очной ставки в ЦК ВКП(б) 13 января 1937 года между В. Астровым и Бухариным Сталин высказал предположение, что автором рютинской платформы был Бухарин (Ф. 3. Оп. 24. Д. 270. Л. 68).

3. Радек К.Б. (1885-1939) — видный деятель партии и Советского государства. В 1936 году был арестован, под давлением следствия давал сфабрикованные показания против Н.И. Бухарина. 30 января 1939 года осужден Военной коллегией Верховного суда СССР по делу так называемого "параллельного антисоветского центра" к 10 годам тюремного заключения. Убит в тюрьме 19 мая 1939 года.

4. Стецкий А.И. в 1930-1938 гг. заведующий отделом ЦК партии и одновременно главный редактор журнала "Большевик".

Таль Б.М. в 1935-1937 гг. заведующий отделом печати и издательств ЦК ВКП(б), в 1935 году член редколлегии газеты "Правда", в 1936-м заместитель главного редактора газеты "Известия".

5. После слова "если" Бухарин зачеркнул слова: "Вы предрешили".

(Журн. "Источник", 1)

АУТСАЙДЕР

С выставкой американского художника Парвиса Янга, озаглавленной "Картины с улицы", я познакомился, оказавшись недалеко от Майами, в Центре искусства и культуры на бульваре Голливуда. Из тоненького каталога, стопка которого продавалась за столом у входа, (да еще из вырезки из газеты "Майами Геральд", лежавшей рядом) мало можно было узнать о жизни 50-летнего художника, который вот уже двадцать лет безвыездно живет в затерявшемся в глубинке Флориды "Овертауне". Разве лишь то, что далекие его предки были выходцы из Африки и что он не кончал академии художеств и, вообще, ни одного дня в жизни не учился. "Если вы проникнете в мои картины, вы проникнете в мою душу. Это и есть жизнь, которую веду". Этой несколько выпендренной фразой Янга о самом себе и начинается эссе о нем Элиза Тернер в газете "Майами Геральд". Эссе открывает портрет человека, чей пол и возраст трудно определить, склонившегося над автомобилем, запаркованным в тени, падающей от эстакады. "Как будто все происходит под мостом, — продолжает художник. — Я знаю, что истэблшмент не любит тех, кто ночует под этим мостом — бездомных — именно поэтому я и рисую их жизнь".

Жизнь эта исполнена фантазий: улица, на которой сгру-

дились многоэтажные дома, рядом светящиеся головы ангелов, беременные женщины с чувственными животами, гробы и кресты, трайлеры, доверху груженные товарами и пересекающие город, словно гигантскую усадьбу, раскинувшуюся вокруг кораллового замка. И рядом почему-то горбатые вагоны метро, и фантастические лошади, и два джазиста, и снова мост, и снова толпы людей. Художник пишет на листах фанеры, на досках, которые находит на улице, на кусках картона, на крышках столов, на оконных рамах. Все это как бы еще раз подчеркивает, что он здесь свой человек, породнившийся с этой улицей, изо дня в день живущий ее жизнью.

Джон Оллман, в течение 23 лет бессменный директор знаменитой галереи Флейшера в Филадельфии, говорит, что он никогда не переживал таких чувств, какие вызывает у него творчество этого уличного художника, обладающее особой силой воздействия, каким-то особым магнетизмом. В работах Парвиса Янга ощущаются ритмы танца и звуки музыки.

Что же придает им эту энергию и поэтичность? В каких традициях работает художник? К кому из американских мастеров близок? Чью школу продолжает? Джон Оллман да и другие критики, пишущие о Янге, не отвечают на этот вопрос. Зато ответ, которым заканчивает свое эссе Элиза Тернер, наводит на многие размышления. Она утверждает, что работы Янга находятся в стороне от столбовой дороги искусства, что в американской живописи он пришелец, аутсайдер, попутно мы узнаем, что при всей клановости западного искусства аутсайдеры с начала 20 века занимают в нем все более видное место. Многие из них были изгоями общества, формировались за стенами тюрем и психиатрических больниц, что не мешало вырастать им в крупных мастеров и приобретать поклонников на рынке искусств (Так, например, картина психически больного мексиканца Мартина Рамиреса "Туннели и поезда", работающего на железной дороге, была продана за 100 тысяч долларов).

Однако чем объясняются успехи аутсайдеров (того же Парвиса Янга), не объясняет и Элиза Тернер. А точку зрения Клаудии Полей, составителя каталога народного искусства "Глазами памяти", она называет не иначе, как циничной. "Проблема в том, — подчеркивает Полей, — что многие работы современных художников выглядят в

глазах рядового зрителя настолько изощренными и сложными, что он начинает им предпочитать простое, честное и целостное искусство". Таким образом, критика, не называя вещи своими именами (и, может быть, сама того не замечая), обращает взор назад, к искусству, которое еще вчера называла искусством вчерашнего дня и в котором превалировали целостные и общедоступные категории реализма.

Но и в этом контексте искусство Парвиса Янга вряд ли возможно понять. Его исполненные фантастики работы, хоть и отражают как будто повседневную и нехитрую жизнь улицы, на самом деле наполнены каким-то особым и не сразу уловимым духом и настроением, талантливо закодированными кистью художника. Не отсюда ли эта энергия и магнетизм, что перед нами не просто улица, а улица, где день и ночь человеку приходится бороться за выживание, улица социально напряженная, наэлектризованная, готовая в любую минуту взорваться — кинь спичку, и грянут поджоги и бунты, подобные тем, что не так давно потрясли Лос Анжелес? Взгляните на искривленные вагоны метро, на плачущих ангелов, на изломанные мосты, абсолютно все на пределе, и совсем не случайно художник говорит об истэблишменте, который не любит улицу и ее бездомных героев, и именно поэтому он, Парвис Янг, и рисует их.

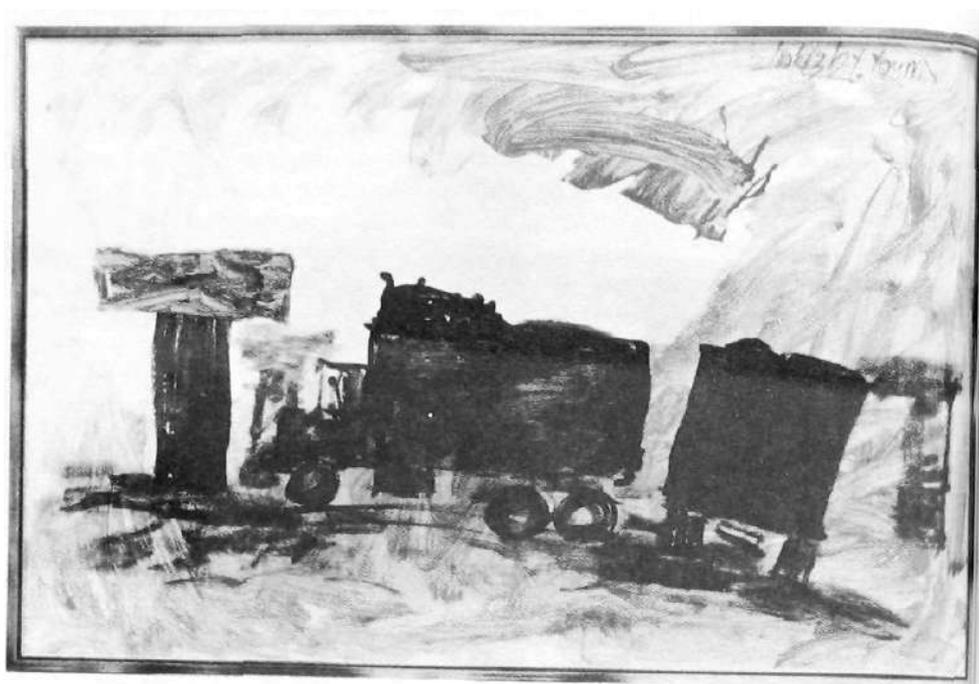
В стране, откуда мы приехали, еще недавно Янга провозгласили бы борцом за социальный прогресс и справедливость, в демократической же Америке он просто блестящий аутсайдер, покоряющий тем, что смотрит на окружающий мир своими глазами и упорно ищет свои малоизвестные публике пути в искусстве.

*В. Петровский,
Флорида.*



ДЖАЗИСТЫ

Акрилик. Краски, приготовленные художником. Выполнено на крышке стола.



ВАГОНЫ МЕТРО

Масло и самодельные краски на бумаге



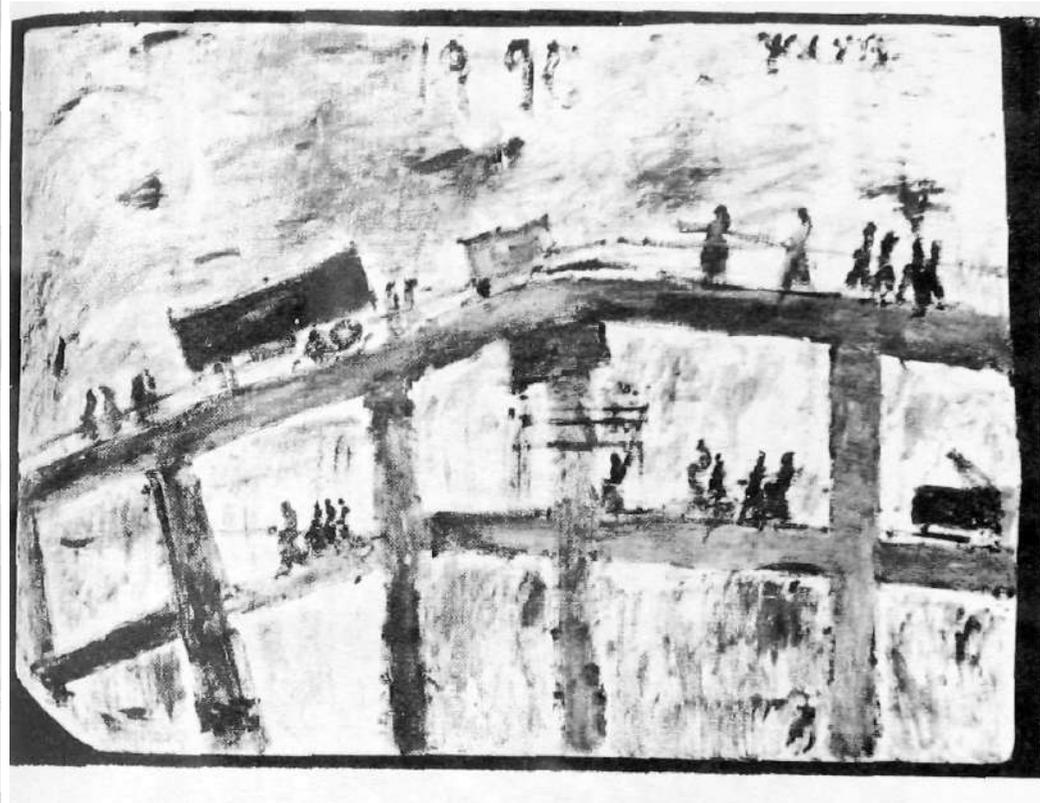
МОЛЬБА

Акрилик. Самодельные краски. Выполнено на доске, подобранной на улице.



ПЛАЧУЩИЙ АНГЕЛ

Самодельные краски. Фанера. Выполнено на доске.



МОСТ ПРИМИРЕНИЯ

Акрилик на оконной раме



ПРАЗДНЕСТВО
Акрилик на фанере



НАРОДЫ
Смесь красок на дереве

ВЛАДИМИР КАРЦЕВ. Родился в 1938 году в Самарканде. Окончил Ленинградский Политехнический институт. В 1966 году защитил кандидатскую, в 1982 году — докторскую диссертацию по истории науки. Одновременно занимался литературной популяризацией. Первая его книга в этом жанре — "Трактат о притяжении" — получила благословение А.Д.Сахарова, который написал к ней предисловие. По рекомендации Л.Разгона и Ю.Нагибина в 1979 году вступил в Союз писателей. Автор биографий Максвелла и Ньютона.

ИННА ЛЕСОВАЯ. Родилась в 1947 году в Киеве. Окончила факультет графики Московского полиграфического института. В 1975 году вступила в Союз художников. Занимается живописью, графикой, разрабатывает модели кукол для детей. В последние годы написала несколько повестей ("Вверх по Фроловскому спуску", "Верочка", "Четыре воспоминания о детстве", "Следствие") и роман ("Бессарабский романс"). "Вверх по Фроловскому спуску" и "Верочка" были опубликованы в журнале "Время и мы".

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА (ЮЛИЯ ДУБРОВКИНА). Поэтесса. Родилась в 1938 году в Москве. В 1961 году окончила сценарный факультет Всесоюзного кинематографического института. Писала сценарии для кино и телевидения, выпустила два сборника рассказов и очерков. В Советском Союзе опубликовано всего несколько стихотворений Лии Владимировой — в журналах "Молодая гвардия", "Юность", газете "Московский комсомолец". Репатрировалась в Израиль 1973 году. Поэтические произведения Лии Владимировой публиковались в "Континенте", "Новом Русском Слове", "Гранях", "Время и мы" и других эмигрантских изданиях. В 80 и 90-е годы в России и на Западе вышло несколько поэтических книг Лии Владимировой.

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН. Главный редактор журнала "Время и мы". Биограф. справку см. в ном. 118.

ЭРАСТ ГЛИНЕР. Родился в Киеве. С трех лет жил в Ленинграде. В 1940 году поступил в Ленинградский университет. Участник войны. Вернулся в университет в 1944 году. Вскоре после войны был арестован и сослан в сталинские лагеря. Специалист в области общей теории относительности. В 1975 году разработал вместе с друзьями математические модели общества, пытаясь понять,

был ли путь страны от Октября до развитого социализма неизбежен. В настоящее время живет в США.

ЮЛИЙ ШРЕЙДЕР. Родился в 1927 году, в Днепропетровске. В 1946 году окончил механико-математический факультет МГУ. В 1950 году защитил кандидатскую диссертацию по математике, а в 1980 году — докторскую — по философским проблемам науки. В 1970 году принял римско-католическое вероисповедание. В настоящее время главный научный сотрудник Института проблем передачи информации и профессор колледжа католической философии им. Св. Фомы Аквинского. Автор свыше 570 научно-философских и публицистических работ. Член редколлегии журнала "Новая Европа". С 1993 года — действительный член Академии естественных наук.

ЛЕВ АННИНСКИЙ. Родился в 1934 году в Ростове-на-Дону. В 1956 году окончил филфак МГУ. Автор пятнадцати книг, среди которых: "Ядро ореха" (1965), "Обрученный с идеей" (1971, 1986, 1988), "30-е — 70-е" (1978), "Лев Толстой и кинематограф" (1980), "Лесковское ожерелье" (1982, 1986), "Локти и крылья" (1990), "Билет в рай" (1989) и многие другие. Постоянно выступает в журнале "Время и мы".

ЛЕВ НАВРОЗОВ. Родился и вырос в Москве. Переводил на английский язык Достоевского, Герцена, Пришвина, Андрея Платонова, Фазиля Искандера. В 1972 г. эмигрировал в США, издал первую из семи своих книг, имеющих общее название "Воспитание Левы Наврозова: жизнь в закрытом мире, некогда называемом Россией". Отрывки из этой книги публиковались в журнале "Время и мы". Там же были напечатаны эссе и статьи Льва Наврозова: "Что знает советская разведка о России", "Посредственность и спасение Запада", "Запад выходит на прямую к гибели", "Где так вольно дышит человек" и др. Свыше двадцати его статей вошли как официальные материалы в протоколы конгресса. В настоящее время регулярно публикуется во многих российских газетах и журналах: "Известия", "Московские Новости", "Литературная газета", "Дружба народов" и др.

НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ. См. вступительную заметку к мемуарам.

SUMMARY OF "TIME AND WE" (VREMYA I MY) №120

VLADIMIR KARTSEV, "Regotmas". An excerpt from a book of the well-known Russian science writer. Contemporary prose that represents a mix of humor, subtle observations by the author, surrealist descriptions of events from the author's own life. "Regotmas" is a response of sorts to "A Brief History of Time" by Cambridge professor Stephen Hawkins.

INNA LESOVAYA, two short novels: "The Girl With the Dachshund" and "Til Come Tomorrow". As in Lesovaya's previous works, the writer offers masterfully written psychological genre prose. In her character studies, Lesovaya appears uninterested in social problems; yet in depicting relationships in families, in daily life, in a communal apartment, in a Ukrainian or Jewish neighborhood, she demonstrates the dreariness and squalor of people's lives, the personal disintegration of ex-Soviet people reared under socialism.

LEAH VLADIMIROVA, "You Seek the Mystery in All Things". Lyrical verses.

VICTOR PERELMAN, "Scapegoats in a Burning Forest". An essay on generational conflicts in modern Russia; the media campaign against the Russian "sixtieths generation".

ERAST GLINER, "Hope". An article on the warped character of Russia's market reforms and the efforts of yesterday's nomenklatura to occupy command posts in the market economy.

YULI SCHREIDER, "Postmodernist Baroque". A prominent Moscow Catholic philosopher/theologian looks at the latest trends in modern Russian literature.

LEV ANNINSKY, "Between Eurasia and Asiopo". A po-

litical essay by the well-known Moscow political commentator arguing with Italian writer and historian Vittorio Strada.

LEV NAVROZOV, "An article About Mozart, or the State of the Russian Democratic Press". The author uses an article in Izvestia to show how the post-perestroika press is taking on the characteristics of tabloids.

NIKOLAI LYUBIMOV, "Unfading Blossoms". An outstanding Russian translator reminisces about the people and events of the 1930s, '40s, and '50s.

FROM THE ARCHIVES: A previously unknown letter by Nikolai Bukharin.

"ФОНД ПОДДЕРЖКИ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

В СВЯЗИ С ТЯЖЕЛЫМ ФИНАНСОВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ РЕДАКЦИЯ ОБРАЩАЕТСЯ К СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ-ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМ С ПРОСЬБОЙ ПОДДРЕЖАТЬ ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ". В ЭТИХ ЦЕЛЯХ, НАЧИНАЯ С 120 НОМЕРА, УЧРЕЖДАЕТСЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ЖУРНАЛА. СРЕДСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ В ЭТОТ ФОНД, БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА ТО, ЧТОБЫ В НЫНЕШНИХ, ЧРЕЗВЫЧАЙНО СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ГАРАНТИРОВАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАШЕГО НЕЗАВИСИМОГО ИЗДАНИЯ.

Виктор Перельман „Грехопадение Цезаря“

Роман написан от лица бывшего московского журналиста, пережившего все прелести советской системы и оказавшегося на склоне лет в эмиграции Герои романа — выходцы из среды московской богемы, — оказавшись в Америке, мечутся в поисках места под солнцем: мы видим их в русских ресторанах Бруклина, в подозрительных, полууголовных бизнесах, погруженными в иллюзорные эмигрантские мечтания. То там то здесь мелькают знакомые лица, слышатся родные голоса... Другая сюжетная линия — жизнь самого автора, человека острого и умного и вечно униженного из-за неустойчивости жизни, из-за своего еврейства и к тому же из-за... своей сексуальной неполноценности — тайный недуг, который неизменно проходит через всю его жизнь. И вот в эмиграции он решает как бы взять реванш и обессмертить себя произведением, в котором выскажет всю правду о себе. О загубленной в сталинском лагере молодости, о жене, о своих несчастных связях с женщинами, об эмигрантском окружении. Родается горячая исповедь человека, неизвестно зачем прожившего жизнь и решившего эпатировать читателя выворачиванием самых темных, болезненных закоулков своей души: род мазохизма, который странным образом скрашивает его последние дни. Все остальное мы узнаем из самого романа, который, возможно, и введет читателя в тяжелые раздумья по поводу „проклятых вопросов“ жизни, но вряд ли оставит его равнодушным, когда он закроет последнюю страницу.

В книге 320 страниц. Цена - \$16. Заказы и чеки высылать по адресу:

**„Time and We“
409 High wood Avenue
Leonia, New Jersey 07605, USA**

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ

«УЗНИК РОССИИ»

По следам неизвестного Пушкина

Легальные и тайные попытки Александра Сергеевича Пушкина выбраться за границу сразу после окончания Лицея в качестве дипломата и путешественника, а затем из Кишиневской и Одесской ссылки (1817-1824). Решение бежать в Константинополь, а оттуда в Италию с помощью контрабандистов. Новый взгляд на известные факты психологической биографии поэта.

Antiquary Publishers, 1992, 254 с, \$ 25
594 Chestnut Ridge Rd. Orange, CT 06477

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ

«ДОСЬЕ БЕГЛЕЦА»

По следам неизвестного Пушкина

Настойчивое желание великого поэта добиться разрешения отправиться в Европу из ссылки в Михайловском и из Москвы (1824-1829). После отказов Николая I и Бенкендорфа - подготовка к побегу под видом слуги своего приятеля и для лечения болезни, которую он выдумал, подкрепив справкой ветеринара. История вербовки Пушкина в осведомители с обещанием выпустить в Европу. Путешествие поэта в Арзрум с целью нелегально перейти турецкую границу.

Hermitage Publishers, 1993, 271 с, \$ 15
P.O.Box 410 Tenafly, NJ 07670

На основе критического изучения огромной литературы, писем современников и архивов тайной полиции известный писатель и профессор русской литературной истории Калифорнийского университета впервые в пушкинистике исследует страстное желание поэта покинуть Россию, в которой, как Пушкин сам выразился, черт догадал его родиться с душой и талантом.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БРОКГАУЗА И ЕФРОНА

Объявляется подписка на репринтное издание единственной русской энциклопедии в 86 томах, получившей мировую известность и выходявшей в 1890-1907 годах. Юбилейное малотиражное переиздание осуществляет издательство «Терра» (Москва). Доход от продажи энциклопедического словаря пойдет на закупку одноразовых шприцов и других медикаментов для передачи советскому Детскому фонду.

Переиздание в точности воспроизводит оригинал и представляет собою тисненые золотом, богато иллюстрированные таблицами, цветными картами и литографиями тома. Издание будет осуществлено в течение 1990-1994 гг. Стоимость одного тома 28 амер. дол. Пересылка в США и Канаду 99 центов за том, в другие страны мира 1 дол. 99 центов за том. Оплата подписки может производиться поточно по мерс выхода книг в свет. Для оплативших подписку по получении первого тома предусмотрена более чем 30-процентная скидка. Стоимость ВСЕГО ИЗДАНИЯ в этом случае составит 1600 дол. плюс 56 дол. (в США и Канаде) или 113 дол. (в остальных странах) за пересылку. Для подписавшихся на адрес в СССР пересылка бесплатна.

Чеки за 1-й том в любой конвертируемой валюте нужно высылать по адресу: American Help Foundation, Inc., P.O. Box 501, Newton Centre, MA 02159, USA. Продажа этого издания производится только за конвертируемую валюту во всех странах мира, включая СССР. Американский фонд помощи получил исключительные права на продажу издания за пределами СССР для сбора средств на вышеназванные благотворительные цели.

ВРЕМЯ И МЫ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛА
ЗА 18 ЛЕТ ИЗДАНИЯ, С № 1 ПО № 118

На страницах журнала печатались такие выдающиеся современные писатели, как Сол Беллоу, Артур Кестлер, Олдос Хаксли, Эфраим Кишон, А.Б. Иошуа и многие другие.

Среди его авторов — известные писатели современной России и русского зарубежья: Василий Гроссман, Лидия Чуковская, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Семен Липкин, Инна Лиснянская, Юз Алешковский, Владимир Марамзин, Александр Зиновьев, Аркадий Львов.

В разделе публицистики выступают: Андрей Синявский, Ефим Эткинд, Дора Штурман, Лев Наврозов, Амос Оз, раввин Адин Штейнзальц, Борис Шрагин и др.

С именем журнала «Время и мы» связано появление в русской литературе целого созвездия талантливых имен: Фридриха Горенштейна, Бориса Хазанова, Зиновия Зиника, Юрия Карабчиевского, Феликса Розинера.

Большой популярностью у читателей пользуется раздел «Из прошлого и настоящего», где были опубликованы воспоминания о Бунине, мемуары Марии Иоффе (бывшего секретаря Л. Троцкого), Самуила Микуниса (в прошлом генерального секретаря компартии Израиля), письма Лескова, переписка Николая Милюкова, дневники Ольги Берггольц.

Журнал высоко ценится среди либеральной интеллигенции современной России, откуда редакция постоянно получает письма и рукописи.

Стоимость полного комплекта журнала — 1186 дол.

Для подписчиков — скидка 15%

Тот, кто приобретает комплект журнала,
в качестве подарка получает полный комплект книг
издательства «Время и мы».

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
409 Highwood Avenue.
Leonia, NJ 07605, USA

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНИ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА

Цена книги — 15 долларов.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

"TIME AND WE". 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605. USA
Tel.: (201) 592-6155

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АНТИКВАРИАТ"

- И. АКСЕНОВ. *Пикассо и окрестности.* — 12 долларов.
 М. БАХТИН. *Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса.* — 36 долларов.
 А. БЕЛЫЙ. *Христос воскрес.* — 5 долларов.
 К. ВАГИНОВ. *Труды и дни Свистонова.* — 10 долларов.
 Е. ДУМБАДЗЕ. *На службе Чека и Коминтерна.* — 10 долларов.
 П.П. ЗАВАРЗИН. *Работа тайной полиции.* — 10 долларов.
 А. КОТОМКИН. *О чехословацких легионерах в Сибири.* — 10 долларов.
 П.Н. КРУПЕНСКИЙ. *Тайна императора.* — 7 долларов.
 В.И. ЛЕБЕДЕВ. *Борьба русской демократии против большевиков.* - 12 долларов.
 Н. РЕЗНИКОВА. *Пушкин и Соборная.* — 5 долларов.
 А. РЕМИЗОВ. *Пляс Иродиады.* — 12 долларов.
 И. СЕВЕРЯНИН. *Колокола собора чувств.* — 5 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. *Ход коня.* - 12 долларов
 В. ШКЛОВСКИЙ. *Гамбургский счет.* — 15 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. *Сентиментальное путешествие.* — 20 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. *Техника писательского ремесла.* — 10 долларов.
 З. и О. ШТЕЙН (составители). *Чтобы Польша была Польшей.* — 9 долларов.
- Готовится к печати:
 В. КРЕЙД (составитель и автор комментариев). *Георгий Иванов — Несобранное.* Ориентировочная цена — 25 долларов.

Деньги и чеки присылать по адресу:

E.SZTEIN'S ANTIQUARY

594 Chestnut Ridge Rd.

Orange, CT 06477, USA.

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1993

УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 59 долларов; с целью экономической поддержки редакции — 69 долларов; для библиотек — 86 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США. Чеки высылаются по адресу: «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA

TEL: (201) 592-6155

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия

Имя

Адрес

Подписной период

Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» на год.
 Высылать с номера Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу:

.....

Подпись

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE

409 Highwood Avenue, Leonia, NJ07606
(201) 592-6155

OCR и вычитка — Давид Титиевский, октябрь 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На первой странице обложки коллаж Вагрича Бахчаняна.
На четвертой странице обложки: Парвис Янг "Моление у
подножья горы". Масло. Акрилик. Выполнено на доске.**



LCD Monitor Cleaner

This cleaning solution could be used to clean all kinds of LCD/CRT, office equipment, and household appliances, such as telephone, fax, printer, etc. You can spray the solution on the display directly or spray on the cloth to wipe the display, it includes:

- 1 .Cleaning solution *Ingredients: Distilled water, IPA, anti-static agent, antiseptic, essence, etc
- 2.Cleaning cloth * Material: Micro fiber. Could be reused after washing.